

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044



9 770131 604002 >

# РОМАН №11 ГАЗЕТА

Эльчин / Голова

90  
лет







## Эфендиев ЭЛЬЧИН Ильяс оглы

Выдающийся азербайджанский писатель Эльчин родился в 1943 году в Баку, в семье классика азербайджанской литературы XX века, Народного писателя Азербайджана Ильяса Эфендиева. Окончил филологический факультет Азербайджанского Государственного Университета. Работал в Институте литературы им. Низами. В 1975-м избран секретарем правления Союза писателей Азербайджана, а в 1987 году — председателем президиума Общества «Вэ-тэн», занимающегося культурными связями с соотечественниками за рубежом.

Доктор филологических наук, профессор, крупный представитель современного азербайджанского литературоведения. Автор более 100 книг, 400 научных трудов, многочисленных публицистических изданий, переводов классиков мировой литературы. Романы, повести, пьесы, рассказы писателя переведены на многие языки мира. По его сценариям сняты 10 художественных фильмов. Почетный доктор ряда зарубежных университетов.

Отмечен высшим орденом Азербайджанской Республики — «Истиглал» («Независимость»). Народный писатель Азербайджана, Заслуженный деятель искусств.



# «Человеку на Земле» — пять лет

«Н и в чем интересном себе не отказывать» — так был послыл главного редактора журнала «Человек на Земле» Татьяны Сургановой при выпуске пилотного номера в 2012 году.

Первое, что приходит в голову спустя пять лет: невероятное, но издание состоялось! Издание с безупречной репутацией, с широчайшей палитрой тем и мнений. Географические рамки с легкостью были преодолены изначально: Сурганова — известный переводчик, знаток ряда европейских языков. Впрочем, и дайджест на английском, и блог в Интернете ([www.map-on-earth.com](http://www.map-on-earth.com)) отнюдь не главное. Ценно то, что в абсолютно неблагоприятных условиях был реализован абсолютно безнадежный с коммерческой точки зрения проект: выпускать литературно-художественный журнал широкого профиля и с исключительно оригинальными, впервые публикуемыми произведениями. Так это было декларировано, так это и реализуется шестой год подряд.

Установка на публикацию ранее не изданного, поиск и открытие талантливых, неординарно мыслящих авторов, жанровая незашоренность, принципиальная беспартийность

(имеется в виду — никакой групповщины, никаких преференций т.н. «своим», критерий один — талант и «мысль народная»), последовательное расширение географических и временных (последнее, главным образом, в переводах поэтических шедевров) рамок, — всё это определяет место «Ч н/З» в текущем литературном процессе.

Из номера в номер (в работе уже № 10) ширится круг авторов: Валентин Курбатов, Юрий Милославский, Святослав Логинов, Борис Евсеев, Раиса Беляева, Алан Кубатиев, Евгений Витковский, Нина Окунева-Герра. Любовь Колесник, Дмитрий Конаныхин... Около двухсот имен в активе редакции!

Из номера в номер журнал представляет графиков и живописцев: Александр Кулемин, Владимир Галатенко, Николай Дронников, Татьяна Морозова... Всегда великолепно поэтическая рубрика издания.

Журналу пять лет. Он выстоял. Десятки встреч с читателями по всей России, включая Сибирь, и в ближнем Зарубежье убеждают: он нужен не только писателям.

«Роман-газета» поздравляет коллег с первым юбилеем и желает творческих успехов и стойкого тиража.

## Из публикаций в «Человеке на Земле»

Вера КУЗЬМИНА

### ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ

Нынче закат хорош —золотой, пунцовый. Надо на кладбище — сухо, зима прошла. Там Голошейкины, Бобины, Кузнецовы, вся Токаревка, Калуха и часть Угла. Столько родни и приятелей — дядя Коля, Танька-тюремщица, мент — капитан Кислов. С ними ушли голоса золотого поля, мёрзлые пайки опасных колымских слов. Столько ушло... На сегодня — конец работе. Входит приятель — хирург с погонялом Фет:— Верка, накатим? Задрали вконец отчёты. Слушай, моя-то богаче нашла — привет. Ей говорю одно — береги Манюрку. Да, забираю — суббота и полсреды. Верка, поможешь выбрать Маняшке куртку? Завтра в четыре? Дежурство сменю, лады. Вместе выходим, уборщица мрачно зыркнет, Фет засмеётся, засвищет лихой мотив... Жизнь вытекает — рассада, работа, стирка — между живыми и теми, кто вечно жив. Сколько осталось? Не ведаю — много, мало. В общем, привыкла, не парюсь — куда, зачем. Только никто не знает, как я устала. Даже чужой, что спит на моём плече.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

# РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор  
Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:  
Дмитрий Белюкин  
Юрий Бондарев  
Семен Борзунов  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Юрий Коннов  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

Ответственный  
редактор  
Елена Русакова

В оформлении  
использованы  
персидские миниатюры

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат

ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2017  
Все права защищены

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
[www.gazety.ru](http://www.gazety.ru)

Подписные  
индексы издания:

в каталоге агентства  
«Роспечать»

70782 на полугодие,  
71752 на год;

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге  
«Почта России»

P1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2017 №11 /1783/ Основана в 1927 г.

Эльчин

## Голова

Роман

*Автор посвящает этот роман памяти  
Ильяса Эфендиева*

*Жизнь моя болеет.  
Энвер Мамедханлы*

*Больше в этот мир — ни ногой.  
Ариф Абдуллазаде*

Часть персонажей этого романа исторические личности, но не стоит искать исторической достоверности в каждом эпизоде, да и в целом, на каждой странице произведения. Исторические личности в этом романе — всего лишь «герои автора», увиденные и оценённые им, будь то князь Павел Дмитриевич Цицианов или же юный персидский принц и наследник — Аббас Мирза Каджар.

Исторический колорит в этом произведении — отражение раздумий и всего прочувствованного автором по мере знакомства с историческими фактами, а исторические герои здесь тоже «свои», существующие лишь для автора неисторические персонажи.

Пусть историки не ведут поиски всех приведенных имен, писем, различных исторических эпизодов и ситуаций, так как в архивах они ничего не найдут. Пусть не обращают внимания и на штрихи и детали романа, не совпадающие с историей. С этой точки зрения автора утешает, что тут немало и моментов, по мысли автора совпадающих с историей, важных с позиции историзма, что тоже, вероятно, немало.

Эльчин

*Все ЕГО чувства находились внутри некой невесомости, пустоты, нет, эти чувства не были внутри невесомости, невесомость была в этих самых чувствах, ибо эти чувства не были внутри, не приходили извне, ибо извне тоже не было, как не было ничего физического; эти чувства просто разлились вокруг.*

Перевод А. Мустафа-заде.

Впрочем, здесь (где?) не было и окружности, окружностью было всё, во все стороны была лишь одна прозрачность, и эти чувства внутри этой прозрачности были повсюду, поэтому в том видимом измерении ОН видел вокруг всё.

Для НЕГО не существовало ни противоположности, ни тыла, по сути, не было и «сторон», была общая, не имеющая сторон прозрачность, и в НЁМ было такое ощущение, что ОН — посреди этой цельной прозрачности, но на деле здесь не было и середины, и казалось, ОН глядел отсюда (откуда?) на то видимое измерение за прозрачные маревые волны.

ЕГО ощущение сознавало, что никто ЕГО не видит, и в ЕГО как бы медленно начавшей пускаться ростки и с этими ростками пробуждавшейся памяти возникла паника: ведь если ОН глянет в зеркало — СЕБЯ не увидит, так как увидеть ЕГО невозможно... Впрочем, и паника исчезнет, потому что и ЕГО САМОГО — нет.

Но если ЕГО не было, то как ОН видел — даже то, что не мог до конца еще осознать? Не мог, словно те прозрачные чувства не позволяли ЕМУ прочувствовать все в целостности.

Кем, чем ОН был? — этого до конца ОН никак осознать не мог, и те чувства, как и ОН сам, были совершенно невесомы — прозрачно невесомы, между тем та ЕГО прозрачная и невесомая субстанция — та, что существует сама по себе, независимо ни от чего другого — состояла именно из этих чувств.

Сквозь эти прозрачные чувства ЕГО прозрачной и невесомой субстанции прошла так не согласующаяся с этой прозрачностью и невесомостью волна растерянности, и ОН был убеждён, что эта растерянность пройдёт, улетучится, это некая временная растерянность, что взгляды той Головы, что глядит на НЕГО с того видимого измерения, тоже временны, позже эта растерянность исчезнет.

Теперь волны марева понемножку таяли, и наконец ЕГО пробудившаяся память осознала, что та Голова, глядящая на НЕГО из того видимого измерения, — Голова ЕГО САМОГО, но эта внезапная информация не заставила ЕГО вздрогнуть, никоим образом не испугала, так как ЕГО субстанция была бесплотна и невесома.

ОН был, и ЕГО не было. И эти непостижимость, неведомость, родившиеся между этой субстанцией и небытием, были чужды ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

Это было всё ещё непостижимое ощущение: что-то случилось и что-то еще случится, но что случилось и что случится? — этого пока ещё понять, осознать ОН не мог, всё это пока ещё было непостижимым ощущением.

Какая-то сила влекла ЕГО, ОН сознавал, что должен уйти, улететь, но куда лететь? — этого не знал и не понимал, но должен был лететь, этот полёт был

абсолютно обязательным. ОН осознал эту абсолютную обязательность, убеждённость в абсолютной обязательности этого полёта разлилась по ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

ОН уже понимал, что удерживает ЕГО то видимое измерение, что пока ещё ОН не может, оторвавшись от этого измерения, полететь навстречу силе, что притягивает ЕГО. Отчего, почему? — ЕГО бесплотная и невесомая субстанция этого не была способна понять, осознать.

ОН наконец уяснил, что в этом видимом измерении для НЕГО нет ни близости, ни дали, нет прошлого и будущего. И в этот миг пронесшаяся сквозь ЕГО память информация напомнила, что глядящая на НЕГО с того видимого измерения Голова — ЕГО Голова — не имеет тела, но это ЕГО вовсе не беспокоило, так как вся ЕГО субстанция бесплотна и невесома.

ОН хотел лететь навстречу силе, притягивающей ЕГО, словно магнит, эта сила оторвёт, унесет ЕГО от всего, что ОН видит, но то видимое измерение и глядящая на него с того измерения Голова не отпускали ЕГО...

ОН больше не желал глядеть на Голову, чувствовал, что находится на пороге проникновения в абсолютное успокоение, но взгляды глядящей на НЕГО Головы словно не давали такой возможности. Поэтому ОН больше не хотел смотреть на Голову, но это от ЕГО желания не зависело...

## 1

Уже который год зима в Баку выдавалась умеренной, но 6 февраля 1806 года по христианскому летоисчислению сначала подул пронизывающий ветер, как будто природа отыгрывалась за прежние годы, затем пошёл мокрый снег, и Гусейнкули-хан, совершенно не переносящий холода, распорядился, чтобы принесли мангал и поставили его на середину зала. Пылающие угли мангала словно ещё больше нагнетали общую тревогу, страх, растерянность, и сидящие вкруговую, сложив под себя ноги на подушечках, брошенных на знаменитые ковры Гаджи Мухтара, члены дивана<sup>1</sup> — уважаемые беки, бакинские аксакалы, приглашённые с окрестных сёл духовные лица, ахунды, — молчали, устремив глаза на эти краснеющие угли.

Уже почти два часа шёл диван, и Гусейнкули-хан, человек по характеру нетерпеливый, своенравный, не любящий пространств речей, часто даже не вникающий в суть того, что говорилось, на сей раз нико-

<sup>1</sup> Диван — совет высших сановников при дворцах мусульманских стран.

го не обрывал; каждый, кто просил слова, высказывался, правда, мысли уносили хана вдале. Особо не задумываясь над тем, что говорилось, быть может, впервые с той поры, как вззошел на ханский престол, он ощущал внутри себя острую, как лезвие бритвы, насущную необходимость в дельном совете, предложении — и это было подобно тому, как тонущий непроизвольно хватается за соломинку — Гусейнкулихан и сам понимал это.

Члены дивана говорили на сей раз недолго, произнеся пару-тройку фраз, замолкали, паузы между высказываниями длились куда дольше; впрочем, о чём говорить, всё и без того ясно как белый день, смысла в речах не было, и даже Мешади Гасанага — начальник канцелярии дивана, всегда аккуратно и чётко выполняющий свои обязанности, не находил ничего, что мог бы набросать в лежащую перед ним тетрадь.

В тот день определялась судьба Баку.

В зале было тепло, пылающие в мангале угли порой потрескивали, и от этого треска, казалось, вздрагивали не только приближенные, а будто и сама осевшая на залу тишина.

Несмотря на тепло, сидящий на троне Гусейнкулихан по-настоящему мерзнул, и в этой тишине, дрожа, он думал, что ломит его кости не стужа, не пронизывающий ветер с дождём за окном, а то положение, в котором очутилось ханство: Наместник Цицианов вцепился в его горло сильнее пастушьей собаки, вцепившейся в шею волка.

Глядя на пылающие угли в мангале, Гусейнкулихан усмехнулся: о каком волке толкуешь, где тот волк, что осмелится противостоять такой псине? Подобно дикому животному, что, желая защититься, прячет, переносит с одного места на другое своих детёнышей, чтобы другие хищники, рыскающие день и ночь в поисках дичи, найдя, не разорвали их на куски, так и Гусейнкулихан пытался защитить своё ханство, но теперь это было просто невозможно. И кто знает, чем провинилось, что совершило несправедного Бакинское ханство, что Всемогущий вот так отвернулся, лишил его своих милостей?

Шесть столетий тому назад, в 1191 году, когда правитель азербайджанского государства Атабеков Султан Музаффедин Кызыл Арслан, незадолго до своей гибели в результате покушения, совершил нашествие на Ширван, захватил его столицу Шемаху, Ширваншах Ахситан перенёс столицу в Баку, возвёл в два ряда защитные крепостные стены. Но разве могли устоять эти стены перед русскими пушками, с моря и с суши нацеленными на крепость? Сейчас, когда Наместник Цицианов с более чем шестью тысячами солдат на подходе к городу, а корабли генерала Завалишина снова перекрыли вход в Бакинскую бухту, разве мог противостоять им Гусейнкулихан со

своими четырьмя сотнями и даже с сотнею конницы в придачу?

Те времена, когда бакинский люд, как говорится, смиренно опустив голову, преспокойно сеял и жал, тянул из колодцев нефть, занимался рыболовством, поставлял в города Золотой Орды, Московские княжества, в Европу ковры, шёлк, всё, начиная от сушёного инжира, кишмиша до олив, — тогда не только азербайджанские, но и купцы из соседних стран, расползшись подобно муравьям, вывозили из Баку в Туркестан, Аравию, Индию, Астрахань, на южные берега Каспия различные товары, привозя взамен другие, — нынче те славные времена остались в прошлом. Теперь, с одной стороны, Россия желает подмять под себя Баку, с другой стороны, Каджары, усилившись, берутся за мечи: нет, мол, Баку — наш!

Но разве и в те прежние времена мало было пролито на этой земле крови? Всемогущий создал эту землю благодатной, именно оттого чёрные тучи всё время нависают над ней.

И сегодня причиной безысходного положения является то, что Бакинское ханство вывозит за рубеж дублённые овечьи и козьи шкуры, из которых шьют тулупы, папахи и обувь, плотное, из овечьей и верблюжьей шерсти, сукно, хлопок, шёлк, потребность в коврах, вытканых в Сураханах, почти такая же, как в прославленных коврах Гаджи Мухтара, эти ковры также отправляются судами из бакинского порта в Энзели, а оттуда в Стамбул. Шувелянский шафран популярен во всем мире, трюфели, собираемые по весне в Новханах, считаются в Европе, особенно во дворцах королей Франции, самым лакомым продуктом, бакинская соль идет по цене золота, но главное конечно же нефть — словом, Бакинское ханство, как аппетитный курдюк, притягивает к себе ненасытные дьявольские взгляды.

Гусейнкулихан прикрыл воротом тулупа грудь, ему было по-настоящему зябко, в последние годы он постоянно стоял перед выбором: русские или Каджары, Каджары или русские? Ясное дело, ни один из вариантов ему не улыбался: он был словно муравей под приподнятой пятой этих чудищ — рано или поздно наступят, раздавят.

Сейчас именно таков и был расклад.

В свое время Ага Мухаммед-шах, создав государство Каджаров, решил подчинить себе, как он это сделал на Юге, все ханства Северного Азербайджана, ожидая беспрекословного подчинения. Гусейнкули не проявлял явной позиции, тянул время, пытался прикрыться заверениями дружбы, братства, религиозного единства. Шах же, известный своей жестокостью, равной уму, хорошо знал цену заискиваниям и двуличию хана. И чем это кончилось? Ага Мухаммед-шах, захватив, разорил Шемаху, а затем

обложил Баку такой данью, потребовал столько золота и драгоценностей, что прежде полная казна ханства оказалась опустошена.

Когда Ага Мухаммед-шах, пойдя походом на Карабах, тридцать три дня держал в осаде Шушу, но, так и не сумев одолеть шушинскую крепость, с присущей ему яростью двинул свои войска в Картли-Кахетию и в течение нескольких дней полностью подмял её под себя, именно тогда до слуха Гусейнкули-хана дошло, что на одном из сборищ Ага Мухаммед-шах в разорённом им дотла, превращённом в пепелище Тифлисе бросил по его адресу: «Среди этих карликовых ханов самый двуличный лис — Гусейнкули!» — да и сегодня отношение его племянника, Фатали-шаха, мало чем отличается от отношения его лютого дяди — Гусейнкули-хан это отлично знал.

Но какой смысл сейчас вспоминать всё это?

Пытаться разыгрывать какую-то шахматную партию не было надежды ни на грамм, Гусейнкули-хан хорошо знал Цицианова: это — конец, пощады не будет, Наместник дал только день, чтобы без кровопролития полностью подчиниться, принять российское подданство.

Глеющие в мангале угли понемножку покрывались тонкой плёнкой пепла, и Гусейнкули-хан, отведя взгляд от мангала, посмотрел на молчащего всё это время Молла Музаффар.

— Молла, — сказал он, — ты-то почему молчишь?

Молла Музаффар, всегда отличавшийся правдолюбием, и на сей раз не стал кривить:

— Ваше величество, я беспомощен что-то предложить...

— Видать, на этот раз вопрос решён окончательно, не так ли? — вымученно улыбнулся Гусейнкули-хан.

Молла Музаффар, вероятно, вспомнил тот, восьмилетней давности, разговор, но снова не произнёс ни слова.

Восемь лет назад в весеннюю пору — это были опасные времена — впрочем, когда они были не опасными?! — Ага Мухаммед-шах, выйдя из Тифлиса, снова ринулся на Карабах, на сей раз ему удалось захватить Шушу, а Ибрагим Халил-хан бежал в Белоканы. Шах был зол на Гусейнкули-хана за то, что тот вручил ключи от ворот Баку тогдашнему Наместнику Зубову; чем мог обернуться кадjarовский гнев, отлично знали ханы и именитые беки по обе стороны Аракса, в том числе конечно же Гусейнкули-хан. Отец нынешнего царя Александра, едва взойдя на престол, сразу же отозвал войска, и Цицианов убрался вместе с ними, русских в Бакинском ханстве не осталось, но это уже не имело значения. Ярость Ага Мухаммед-шаха отдавала кровью: шах дважды звал

его в Шушу, но Гусейнкули-хан под разными предложениями, не желая предстать пред голубыми глазами шаха, отнекивался. Но в третий раз тот прислал за ним специальную депутацию, не поехать на сей раз к Кадjarу было нельзя, это дорого бы обошлось Бакинскому ханству, и Гусейнкули-хан направился в Шушу — навстречу собственной гибели.

В то время Молла Музаффар тоже был среди провожавших, и хан, прощаясь с ним, сказал:

— Прощай, Музаффар! Знаю, обратного пути нет!..

— Доброго пути тебе, хан! Никогда нельзя предугадать волю Всевышнего!

— На сей раз воля Аллаха известна! — сказал Гусейнкули-хан.

— Не следует вмешиваться в дела Аллаха! — мягко оборвал его Молла Музаффар.

Через два дня хан добрался до Шуши, и в тот же вечер шах призвал его к себе. Голубые глаза шаха сверкали яростью, его безбородое лицо было перекошено ненавистью, и хотя с тех пор прошло восемь лет, но и сейчас, когда Гусейнкули вспоминал те голубые глаза, то перекошенное от гнева, без единого волоска, лицо, его всего пронзала волна страха. Визгливым, ставшим от ярости еще более тонким голосом Ага Мухаммед-шах кричал, что он, то есть Гусейнкули-хан, — предатель, утром шах казнит его, а всех его домочадцев вышлет в Тегеран, и тут же поручил, чтоб назавтра был готов указ о смещении Гусейнкули с ханского трона.

А той же ночью был убит сам Кадjar.

И Гусейнкули-хан, и Молла Панах — тоже ждавший своей казни визирь Ибрагим Халил-хана, знаменитый поэт, писавший стихи под псевдонимом Вагиф, не подверглись смерти по приговору Ага Мухаммед-шаха Каджара, а осчастливлены милосердием Аллаха. Молла Панах был не только замечательный поэт, но столь же умный и изворотливый государственный деятель, именно он отправил Екатерине от имени Карабахского ханства оправленную драгоценными камнями трость, позже даже поговаривали, что одним из организаторов убийства Каджара был и он, Молла Панах.

Но сейчас не было просвета даже в игольное ушко.

И внезапно Гусейнкули-хану вспомнилось одно стихотворение Моллы Панаха, и в голове зазвучали начальные строки этого стихотворения.

Я правду искал, но правды снова и снова нет:

Всё подло, лживо и криво — на свете прямого нет.

Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет,

Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.

Брось на людей надежду — решенья иного нет.

*(Перевод Константина Симонова)*

И хан еле сдержался — время поджимало, — чтобы не прочесть про себя до конца это длинное стихотворение.

Гусейнкули-хан снова устремил глаза на мангал, слой серого пепла понемногу накрыл краснеющие угли, — затем, отведя глаза от мангала, стал по одному обводить взглядом собравшихся: о чём задумались эти люди, о судьбе своей или судьбе ханства? Отчего удручён он сам, Гусейнкули, что его тревожит — собственная судьба, судьба ханства или будущее апшеронцев?

Хан заёрзал на троне.

Хватит, достаточно укорять себя.

Снова наступила тягостная тишина, в это время с места что-то хотел сказать Махмуд-бек, но Гусейнкули-хан, глянув в его кипящие страстью глаза, произнёс зло:

— Ты — помолчи! Известно, что ты нам скажешь!

Мангал постепенно остывал, и, казалось, с уходящим теплом улетучивались какие-то крохи — если и оставалось у собравшихся что-то из этих крох — надежд. Гусейнкули-хан прикрыл веки, стал привычно массировать челюсть, это означало, что сейчас будет озвучено окончательное решение.

— А может... Может, попросим русского Наместника, чтобы... — произнес кто-то совершенно убитым голосом.

Хан, не открывая глаз, оборвал его на полуслове:

— Наместник Цицианов не из тех, кто принимает просьбы. У него самого не бывает просьб, всё, что говорит, не просьба — приказ! — И хан, обратившись к интенданту Рзе, сказал: — Встань-ка! Сколько у нас людей?

Подняв интенданта и задав ему этот вопрос, Гусейнкули-хан снова внутренне усмехнулся: будто услышит другое число, да и был ли среди приглашённых на этот диван человек, кто бы не знал, что под ружьем во всём ханстве где-то порядка полутысячи человек.

— Пятьсот одиннадцать, — ответил интендант, поднявшись.

— И у меня четырнадцать всадников! — подал с места голос Махмуд-бек.

С явным, безнадёжным сарказмом в голосе Гусейнкули-хан сказал:

— Отлично!.. У него четырнадцать бойцов! Пойдёт и разнесёт в пух и прах почти десяти тысячную армию Наместника! Утопит его корабли! А все орудия сбросит в море! Молодец! Мои поздравления! Может, пойдёшь, захватишь и Петербург?! А взяв в плен царя Александра, привезёшь его сюда и, заточив в клетку, станешь показывать народу, будто цыган медведя, не так ли?!

Никто из собравшихся даже не улыбнулся, не только потому, что опасались Махмуд-бека — это са-

мо собой, — но и потому, что за этой издёвкой таилась внутренняя горечь и все ощущали её. Эта горечь, как прежде тепло мангала, охватила всю комнату, и серый пепел тлеющих углей будто тоже осел на эту горечь, ещё больше усугубляя чувство безысходности.

С тем же горьким сарказмом хан продолжил:

— Ну как?! Как мы поступим?

— Будь нация едина, могли бы замахнуться и на самого Александра! — сказал с болью в душе Махмуд-бек.

Махмуд-бек был племянником — сыном сестры Гусейнкули-хана, и то, что хан любил его даже больше своих детей, не было тайной ни для кого не только во дворце, но и во всём ханстве. Умеющий идти на компромиссы, не склонный к самостоятельности, всегда ищущий кружные пути, способный хитрить и интриговать, даже иногда, когда позволяло время, почитывающий стихи, Гусейнкули-хан видел в этом красивом пылком молодом человеке, уже достигшем тридцатилетия, то мужество, решимость, непреклонность, которых недоставало ему самому, о чём он переживал всю жизнь. И, видимо, оттого его любовь к племяннику была столь велика, что Гусейнкули-хан был абсолютно уверен, что если в этом продажном мире найдётся хоть кто-нибудь, включая всю дворцовую знать, и даже его собственных отпрысков, никогда не способный на предательство, то этим человеком явится именно Махмуд.

Говоря слово «нация», Махмуд-бек имел в виду не только жителей Апшерона и даже не весь Азербайджан со всеми его ханствами, а всех, живущих на свете тюрков, — пылкие пантюкистские убеждения этого молодого, именитого бека, разумеется, были хорошо известны всем собравшимся.

— Ладно, удадь твоей нации перед нашими глазами! — сказал Гусейнкули-хан. — Нам она известна! — редко когда Гусейнкули-хан был столь разгневан. — Это мы знаем, национальный безумец! А сейчас? Что ты будешь делать сейчас? Завтра Цицианов ждёт ответа! Завтра! Не через три, пять дней — а завтра! Скажи! Скажи, чтоб мы услышали, что ты предпримешь?

— Буду сражаться, как Джавад-хан, и погибну!

Никто из сидящих полукругом на коврах в зале людей ничуть не сомневался, что Махмуд-бек будет верен своему слову.

Окончательно выведенный из себя Гусейнкули-хан заорал:

— А потом? А потом что? Об этом ты подумал? Чтобы Цицианов превратил Бакинское ханство в такие же руины, как Гянджу? И, переименовав, назвал его именем очередного гяура?! Так?! Я тебя спрашиваю?

Махмуд-бек, вскочив, хотел было что-то ещё сказать, но Гусейнкули-хан буквально зарычал:

— Садись! Сиди и помалкивай! От тебя ещё молоком пахнет!

Не столько окрик, сколько внутреннее уважение к хану заставило Махмуд-бека, прикусив язык, сесть и замолчать.

Начальник канцелярии Мешади Гасанага был настолько удручен этой словесной перепалкой, что и теперь не занёс в тетрадь ни единого слова.

А Гусейнкули-хан, казалось, сам решил чуть смягчить напряжённую атмосферу:

— Хоть стой, хоть падай!.. Султан Селим не желает осложнять отношений ни с Россией, ни с Каджарами. Сейчас он занят реформами<sup>1</sup>, да поможет ему Бог, но Баку ему даже во сне не снится...

Хан снова устремил глаза на мангал.

Корабельные орудия Завалишина нацелены на крепостные стены, правда, и прошлым летом тот же Завалишин, по приказу Цицианова бросив якорь в Бакинской бухте, требовал от Гусейнкули-хана сдать город, однако тогда бакинцы смогли оказать сопротивление: Завалишин осыпал ядрами Баку, но в конце концов, видимо, ядра кончились, а отряд Гусейнкули-хана в четыреста всадников сумел опрокинуть русских пехотинцев, не позволив им пробиться в город. На сей раз положение было иным, Цицианов снова отправил Завалишина в Бакинскую бухту, а сам, возглавив шеститысячный корпус, угрожающе навис над Баку. Пушки превратят город в развалины, а в том, что Наместник поступит именно так, Гусейнкули-хан несколько не сомневался.

Намерения Цицианова были известны: после подчинения Ширванского и Бакинского ханств река Аракс превратится в чёткую границу между Русской империей и Каджарами, это конечно же было начальной целью. Аппетиты царя Александра простились намного дальше, и Цицианов был тем самым человеком, который сознавал значение для России планов государя, мог ценить по достоинству эти планы и проводить их в жизнь.

Условия Наместника были следующие: Баку обретает статус портового города, в нём размещается войсковая часть в тысячу человек — русские называли его гарнизоном, — ежегодно хану выплачивается зарплата в тысячу золотых рублей, словом, Бакинское ханство стирается с карты Южного Кавказа.

— Можно мне? — попросил слова Шариф-бек, толмач Гусейнкули-хана.

Все, в том числе и сам хан, отлично знали убеждения Шариф-бека, но, несмотря на это, кивком головы он дал согласие.

— Господа! — Шариф-бек поднялся. — Добро и зло — побратимы. Мы должны найти общий язык с русскими. Наше единение с русскими — сегодня это путь, ведущий в науку, просвещение. Я сознаю, условия ультиматума тяжёлые, но не следует погружаться в траур, править тризну. Таков ход истории. Одно время миром правили арабы, наука и культура были связаны с их именами. Затем пришли османы. Но сейчас мы должны видеть и знать, что мир уже принадлежит Европе, России. Санкт-Петербург, господа, может стать для нас окном в Европу... Россия состоит не из одних цициановых, важно понимать это... В России много здравомыслящих, прогрессивных людей, их авторитет в обществе никак не ниже влияния цициановых. Россия, господа, сегодня на пороге великого возрождения... В России прокладываются дороги, развиваются промышленность, строительство, торговля, осваиваются новые промыслы, что тоже привносит новое качество этому развитию. В России открываются университеты, гимназии, школы, идет подготовка переводчиков, перекладывающих на русский язык произведения европейских учёных, писателей...

Собравшиеся оторопело вслушивались в речь Шариф-бека, часть из них не понимала до конца, о чём твердит толмач, другие пребывали в таком страхе и смятении, что им было не до сентенций Шариф-бека.

А Шариф-бек продолжал:

— Россия сегодня оплодотворена большим просвещением и культурой, серьёзной наукой и литературой. Приняв российское подданство, при условии, что будем верны данному слову, мы тоже обретём пользу от движения России к просвещению и культуре. И наши дети, господа, получив образование в Петербурге, Москве, в Европе, вернутся назад и в свою очередь станут просвещать народ...

Шариф-бек распался всё больше и больше, но Махмуд-бек оборвал его:

— Лучше бы тебе, Шариф-бек, не возвращаться из Петербурга, мы сейчас гордились бы, что там есть наш земляк, охотно прислуживающий русским!

Свободно владеющий русским и французским, хранящий в своём доме множество книг на этих языках, толмач Шариф-бек, получив образование в Стамбульском университете, отправился в дальние края, поездил по Европе, побывал в том числе во Франции, задержался в Санкт-Петербурге и, проучившись какое-то время там, вернулся в Баку. Пять лет спустя — это было время, когда Наместником яв-

<sup>1</sup> Султан Селим III при помощи специально приглашённого французского генерала Себастьяна проводил в армии реформы на европейский лад, но османское общество того времени не поддержало Султана Селима, довести реформы до конца не удалось, Султан был сброшен с трона и задушен.



лялся Кнорринг<sup>1</sup>, — какая-то шпана ограбила, отняла все товары прибывших в Баку русских купцов, и специально прибывший по этому делу в Баку русский консул в Тегеране Ваксенберг вёл долгие переговоры с Гусейнкули-ханом, с тем чтобы украденные товары были возвращены хозяевам. Правда, из украденного немало перепало и самому хану — это само собой — и разве станут грабители возвращать украденное?

Переговоры Ваксенберга окончились ничем, Гусейнкули-хан, одарив его лстивыми обещаниями и личными подарками — обшитым изумрудами и сапфирами кисетом, ста фунтами соли и десятью золотыми монетами, отправил его обратно в Тегеран, консул с признательностью принял дары, даже попробовал на зуб каждый империал. Но как только Ваксенберг выбрался из Баку, он поднял такой тарарам, что по его настоянию командующий российской флотилией на Каспии Мочаков двинул корабль «Кизляр» в Бакинский порт, обстрелял город ядрами так, что пришлось-таки возвращать товары русским купцам. А Гусейнкули-хан, желая отвести от себя ещё большую беду, сперва отправил Шариф-бека в Тифлис к Кноррингу с извинениями, затем, поняв, что дело оборачивается совсем худо, послал всё того же Шариф-бека в Петербург с прошением к только-только вступившему на трон Александру «принять под своё постоянное и высокое покровительство Бакинское ханство».

В Петербурге Шариф-беку дал аудиенцию вице-канцлер Куракин<sup>2</sup> и вручил ему «Высочайший указ» Императора о принятии Бакинского ханства под своё покровительство, а также собственноручное письмо Гусейнкули-хану с сообщением о высочайшем указе царя. Его Величество Александр наказывал, чтобы бакинский хан строил отношения мира и дружбы с соседними ханствами, чтоб азербайджанские ханы тесно общались, заключали друг с другом дружеские союзы.

Когда Шариф-бек, читая, стал переводить царский указ и письмо Куракина, внимательно слушавший его Гусейнкули-хан сказал:

— Шариф-бек, ты, видимо, неверно переводишь...

— Ваше величество, — поразился Шариф-бек, — можете быть уверены, я перевожу точно, как изложено в указе и в письме!

Гусейнкули-хан усмехнулся:

— Ну и что с того, что так написано? Этого они хотят? Отнюдь!.. Как бы не так! Враждуйте друг с другом, а мы станем расклёвывать вас по зернышку. Этого он желает, а не того, что пишет! Понял, Шариф-бек?!

...И на том нелёгком диване Шариф-бек — один из родовитых и известных бакинских беков — резко оборвал Махмуд-бека:

— Я — не прислуга и не такой невежда, как ты, Махмуд-бек!

Махмуд-бек словно не поверил своим ушам.

— Что? Что ты сказал? — пораженно спросил он.

Гусейнкули-хан, угрожая пальцем, остановил Махмуд-бека.

— Ты — сиди! — и, закрыв глаза, словно обращаясь не к дивану, а самому себе, сказал: — Кончили!

Собравшиеся поняли, что хан наконец обнародует своё решение, хотя и без того все знали, каким будет оно, это решение; кто-то из духовных лиц — ахундов, не сдержавшись, расстроено произнёс:

— Конец нашей вере!

Тоска и горечь этих слов, казалось, повлияли на Махмуд-бека больше, чем надменная реплика Шариф-бека и окрик хана. Ударив рукой по колену, он отрезал:

— На земле сотни тысяч мусульман! Ты больше горюй о своём народе! Отчего горести собственного народа столь чужды вам, аксакал? Откроете рот, тут же толкуете о вере, исламе, а о бедах своего народа забываете, разве горести людей чужды исламу? Отчего вы об этом не думаете?

На сей раз Гусейнкули-хан, будто не слыша слов Махмуд-бека, скинул с плеч на спинку трона тулуп, приподнялся.

— Господа! — произнёс и замолчал.

Вдруг в его голове вновь зазвучали строки из стихотворения визиря Моллы Панаха:

Я правду искал, но правды снова и снова нет:

Всё подло, лживо и криво — на свете прямого нет.

И Гусейнкули-хан, с трудом изгнав из головы строки Моллы Панаха, нарушил тишину:

— Выбора нет. На одной чаше весов — унижающий нашу честь ультиматум Цицианова, на другой — гибель и разорение нашего народа. Я не вижу иного пути, чем, проглотив унижение, вручить ключи от Баку Наместнику... Иной возможности защитить жителей и сам Баку нет... Тяжёлые условия, но остаётся снова уповать на тех же русских... Во времена безумного Петра русские тоже брали Баку, а чем это кончилось? Сами ушли, убрались... Всего лет десять назад войска Екатерины захватили Баку, помните, тогда этот самый Цицианов стал комендантом города. Прошло совсем немного времени — Екате-

<sup>1</sup> Русский военачальник немецкого происхождения, генерал-лейтенант, барон Карл фон Кнорринг был до Цицианова главным командующим русской армии на Кавказе.

<sup>2</sup> Князь Куракин А. В. — русский государственный деятель и дипломат. За любовь к драгоценным камням его называли Бриллиантовым князем.

рина скончалась, а отец нынешнего Александра взял и отозвал войска. Даст Бог, может, снова доведётся увидеть день, когда русские сами уйдут отсюда.

Уже ломило не только в костях, боль пронизывала всё тело. Гусейнкули-хан, наклонившись, взял с небольшого столика рядом с тронем серебряный, с шёлковой кистью колокольчик, зазвонил в него. Тем самым диван завершился.

\* \* \*

*ЕГО память восстанавливалась.*

*И по мере восстановления эпизоды в том видимом измерении сменяли друг друга.*

*Кто это, что это, где это? — то, что осело на дне ЕГО памяти, даже то, что было вне пределов ЕГО памяти, то, чему ОН не был непосредственно свидетелем, и теперь стало возрождаться, отчего-то стало видимым и сразу же ИМ узнаваемым. Прошлое ли это или будущее? — одни эпизоды сливались с другими.*

*ОН не хотел видеть всё, что проявлялось в том видимом измерении, но воскресшая память не зависела от желаний ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.*

## 2

Лихорадка, схватившая на Ширване, не отпускала князя Цицианова, по несколько раз на дню приступы обострялись, тогда он отставал от своих, затем вместе с офицерами-порученцами догонял войска. То, что во время столь важного похода его подстерегла эта подлая, вероломная болезнь, изнуряло, выводило из себя, но, странное дело, в трёх-четырёх верстах от Баку он словно обрел какую-то лёгкость, и эта лёгкость придала ему заметную бодрость духа.

Восьмого февраля 1806 года по христианскому и второго месяца шубат 1220 года по мусульманскому летоисчислению, ранним утром, князь Цицианов в сопровождении адъютанта, подполковника князя Элизбара Эристового — второй адъютант полковник фон Грендфальд остался в Тифлисе, выполняя специальные поручения главнокомандующего, — и сержанта, едущего за ними, медленно приближался к знаменитым Двойным воротам Баку. Держа в левой руке уздечку, а правой поглаживая холку Пантеры, его любимого карабахского скакуна, он привычно думал, что Пантера обладает достоинством, не присущим большинству людей, — верностью, и с ещё большей любовью потрепал холку коня.

Три с половиной года назад князь Цицианов, прибыв в Закавказье в качестве главнокомандующего, выбрал из десятка предложенных отборных ко-

ней этого скакуна, с того времени между ним и Пантерой возникла взаимная любовь. Всякий раз, приближаясь к коню, князь трепал его холку, поглаживал шею, почёсывал живот, он почти физически ощущал радость и любовь коня, и ему думалось, что на этом свете единственно верное ему существо — этот конь. За свою жизнь князь не раз глядел в глаза смерти и знал, что если когда-то смерть вцепится в его глотку, Пантера не подпустит к нему никого, печаль и горечь сразят, убьют и коня — в этом князь нисколько не сомневался.

Среди коней карабахской породы белый конь — редкость, Пантера был из таких исключительных особей. В контраст окрасу князь Цицианов и назвал его Пантерой. Как это случилось, откуда возникла эта неожиданная кличка? — князь этому удивлялся и сам. Какая разница, и без того верность не имеет цвета, ибо верность — это дар, ниспосланный Создателем, и князь, поглаживая холку Пантеры, улыбнувшись, мысленно обратился к нему: «Не так ли, друг мой Пантера?»

Пантера словно ловил мысли, проносящиеся в голове своего седока, а князь, продолжая поглаживать холку коня, ясно чувствовал хмель и радость друга от этих прикосновений.

Чуть погода покажется Бакинская крепость. И князь, верхом на Пантере, в сопровождении Гусейнкули-хана, пройдя Двойные ворота крепости, окажется в Баку.

По сути, в лице князя Цицианова великая Российская Империя навечно входила в Баку.

Сама торжественность этих минут заставила князя подбочениться, он выпрямился в седле, глубоко вдохнул в себя воздух. Холодный, но чистый и лёгкий, дующий с моря бриз, казалось, изгнал из его тела болезнь, привнес чувство ещё большей гордости.

Бакинские улицы, базары, торгующие коврами и шёлком, чистые и горячие бани, один из шедевров мировой архитектуры — древняя Девичья Башня, кипящий, как муравейник, Бакинский порт, куда завозились товары со всех концов света, — ожили в памяти князя. Всё это — «Слышишь, друг мой Пантера!» — через несколько минут будет принадлежать его державе.

И всё это достигнуто по воле Его Величества императора, бессонных ночей князя Цицианова и меча — разящего меча князя Цицианова!

Он никогда не бахвалился собой и на сей раз, улыбнувшись, явно удовлетворённый, упрекнул себя: «Достаточно, князь, кажется, ты становишься слишком честолюбив», — но и в этом укор таилось доброе возбуждение.

Князь Цицианов не был человеком, что бьёт себя в грудь, удовлетворённый достигнутым, тычет им кому-то в глаза, но был спесив, гордился своими по-

бедами и не скрывал этого ни от кого. Он презирал самодовольных, особенно высокопоставленных, чиновников и генералов, но ему совсем была не по душе и ложная скромность.

Пару дней назад здесь прошла метель, и ещё не высох на земле мокрый снег, и грязь, смешанная с апшеронским песком, хрустела под копытами Пантеры. Князь хорошо знал эти места, не раз прежде вместе с Гусейнкули-ханом охотился на зайцев, а в камышах, чуть поодаль от дороги — на уток, гусей, кашкалдаков.

В том, 1796-м, году Цицианов впервые приехал в Баку, тогда он был просто комендантом города, 41-летним генерал-майором, сейчас ему пятьдесят один — пятьдесят два еще не исполнилось — а он уже генерал от инфантерии, владеец двух тысяч душ крепостных в Минской губернии, главнокомандующий. И теперь все царства Грузии-Кахетии и Имеретии, княжества Менгрелии и Гурии, по эту сторону Аракса, можно сказать, весь Северный Азербайджан — ханства Карабаха, Гянджи, Шеки, Ширвана, Джамаата Джар-Белокан уже в составе матушки-России. И в этот исторический день — 8 февраля 1806 года — и Бакинское ханство становится частью Российской Империи. Пройдёт совсем немного времени, все эти карликовые ханства и султанаты превратятся в губернию, быть может, эти исторические дни будут отмечены только лишь в работах историков, но даже это предположение князя Цицианова никоим образом не приуменьшало радость и значение, торжественность и славу дня.

В этот исторический день князь Цицианов был горд и доволен не только самим собой, может, ещё больше он гордился матушкой-Россией, и это была истина, идущая из глубины его души.

Это происходило будто вчера — хотя с той поры минуло десять лет, — Её Величество Екатерина II распорядилась о походе русской армии под командованием Валериана Зубова на Южный Кавказ; вступивший в Азербайджан Зубов выделил шеститысячный корпус для захвата Баку, тем временем и русский флот вошёл в Бакинскую бухту. Ханство без кровопролития приняло российское подданство, и главнокомандующий, хотя ему был не по душе молодой, заносчивый генерал-майор Цицианов, по указанию Её Величества назначил его комендантом города.

В те дни лютая жестокость Ага Мухаммед-шаха Каджара нагнала на Южный Кавказ такую волну страха и ужаса, что не только Бакинское ханство, но и все азербайджанские ханы (сопротивление оказало единственно Дербентское ханство) искали опоры, способную защитить их и их ханства. И такой силой обладала Россия. Даже Джавад-хан, вступивший в смертельную схватку с Цициановым и героически

погибший вместе с сыном, защищая Гянджу, в том, 1896 году, при приближении генерала Римского-Корсакова, не оказывая сопротивления, открыл настежь ворота города, и русский гарнизон вошёл в Гянджу, при том что сам хан тоже был из рода Каджаров.

В то время на Южном Кавказе из-за страха перед Каджаром даже самые никчёмные и неумелые русские генералы, часто не проливая ни капли крови, одерживали мелкие, местечковые победы, преподнося их Её Величеству как примеры героизма, и тем самым добивались высоких чинов и наград. Тогда сам страх перед умным, талантливым, смелым и в той же мере деспотичным Ага Мухаммед-шахом Каджаром, по сути, являлся невидимым союзником России на Южном Кавказе. Но как использовала империя это благоприятное стечение обстоятельств? — сразу после смерти Её Величества несчастный Павел неожиданно отозвал войска.

Сам того не желая, князь отвесил на шею Пантеры пару мягких шлепков. Всякий раз, вспоминая это непостижимое решение, непростительную ошибку Павла, а вспоминал это Цицианов часто, он раздражался, предельно сожалел о потерянных десяти годах, особенно теперь, когда в Европе объявился Бонапарт. Через год, в 1797 году, Павел отправил его — талантливого, но оппонирующего генерал-майора в отставку по состоянию здоровья — на здоровье он конечно же ничуть не жаловался — и князь Цицианов узнавал о происходящих на различных фронтах событиях из газет и от военных, прибывавших с этих полей сражений. Те четыре года вынужденной отставки князь считал «чёрными днями отдыха», если и имелось что-то чуждое его природе и убеждениям, это был такой вот отдых — без дела и применения простой.

А теперь главнокомандующий Кавказской армией князь Цицианов вступал в Баку.

И самые удивительные воспоминания приходят, как правило, неожиданно. Приближаясь к Баку, в эти торжественные мгновения Цицианов внезапно вспомнил Бабуа<sup>1</sup> Арчила и, подняв непрочно голову к небу, улыбнувшись, спросил про себя:

«Ну, как там, Бабуа?»

Кто знает, быть может, Бабуа на самом деле сейчас глядит на него? Кто на это может ответить — «да» или «нет»? Никто! В том измерении нет никакой разницы между «да» и «нет», утверждением или отрицанием.

«Во всяком случае, Бабуа, если ты там, прими привет от Пааты!..» — снова улыбнулся князь.

Паата? Уже который год это имя — Паата — не вспоминалось Цицианову, и в эти минуты, приближаясь к Баку, он вспомнил ещё одно: Бабуа усердно

<sup>1</sup> Бабуа — дед (груз.).

заставлял его, маленького Паату, вызубрить какое-то слово. Что это было за слово? Какое слово? Что оно означало? — этого князь вспомнить никак не мог.

И, не вспомнив то слово, Цицианов решил в подобный замечательный день не утруждать себя — Паата навсегда остался в прошлом, ныне речь может идти о генерале от инфантерии, князе Павле Дмитриевиче Цицианове, слышишь, Бабуа Арчил, генерале от инфантерии Павле Дмитриевиче Цицианове!

Дальше воспоминания унесли его в сентябрь 1802 года — это было три года назад, когда, отправленный Павлом в отставку, он мог лишь вспоминать о войнах и сражениях, в которых участвовал три десятка лет. После смерти несчастного Павла, нет, не смерти, а убийства — всё следует называть своими именами и признать реальность убийства — взошедший на престол император Александр I сразу же вернул его на военную службу, дал звание генерал-лейтенанта и, освободив от должности барона Карла фон Кнорринга, назначил его, Цицианова, военным губернатором Астрахани, командующим Кавказской армией, Наместником царя на Южном Кавказе.

«Ты хоть что-то знаешь, Бабуа, об этих постах, званиях?»

Его Величество — этот молодой, образованный, самый миловидный в Европе правитель, встав из-за стола, остановился напротив Цицианова, улыбнувшись, обхватил обеими руками руки князя, пылко сжал их.

— Я желаю вам, князь, — сказал он, — только здоровья! Ибо убеждён: удачи России на Кавказе будут связаны с вами! И ещё: я заклинаю вас, берегите себя! Я знаю, куда вас направляю! — и император повторил: — Берегите себя!

Новый главнокомандующий знал, что его направление на Южный Кавказ — одновременно своеобразная подготовка к схватке с Каджарами: подстрекаемый Англией Фатали-шах ввяжется в войну с Россией — дело только в сроках.

В те мгновения, когда он стоял напротив Его Величества, всем своим существом ощущая теплоту и сердечность этого двадцатипятилетнего молодого человека, вознесённого на вершину власти огромной страны, его переполняло чувство радости, даже гордости, он гордился своей державой, своим императором, даже самим собой; за все долгие годы военной службы, быть может, впервые он боялся расслабиться. К горлу подступил предательский комок и, боясь задохнуться, собравшись с силами, он постарался подавить свои чувства.

— Я стану молиться за вас... — сказал на прощание Александр и в третий раз повторил: — Берегите себя!..

И эти слова Его Величества «Берегите себя!» князь Цицианов воспринял как солдат, и, вероятно,

благодаря молитвам императора, его покровителем в этом кровавом и коварном мире был Всевышний. Бог сам оберегал его.

\* \* \*

*В том видимом измерении неспешно продвигались трое всадников, двое впереди, рядышком — ноздря в ноздю, третий, чуть отставая.*

*И в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции словно из самой этой бесплотности и невесомости подняло голову желание: ОН хотел почувствовать запах того самого белого коня, что шёл впереди, но это было невозможно, внутри той бесплотности и невесомости не существовало запахов.*

*И ОН возжелал хотя бы вспомнить те радостные, вдохновенные и любимые чувства, связанные с этим запахом, но и это оказалось невозможно, ибо ОН пребывал внутри такой идиллии свободы и покоя, что даже эти чувства были чужды здешним (каким?) измерениям.*

*ЕГО память выхватывала и того белого коня, и его кличку — Пантера, а тем человеком, что восседал в седле Пантеры и чьи золотые погоны сияли под лучами солнца, был ОН сам...*

*Пантера, любя ЕГО, сидящего в седле, счастливыми шагами направлялся к Баку...*

\* \* \*

Едущий рядом с князем молодой подполковник Элизбар Эристов часто поглядывал на главнокомандующего, он ни разу прежде не видел главнокомандующего столь улыбчивым. Князь Цицианов в эти мгновения был абсолютно счастливым человеком, и это явное счастье, как никогда раньше, разливалось по его лицу. Это был удивительный, поразительный для подполковника Эристова момент, словно счастье тех мгновений князя отпечаталось и на удивлённом, изумлённом лице Элизбара Эристова; это было радостное удивление и изумление — Элизбар Эристов всей душой любил своего главнокомандующего, откровенно гордился им.

Вот и она, Бакинская крепость...

Пётр Великий считал Баку ключом к путям, ведущим к тёплым морям, и вспомнивший это князь Цицианов, глянув на Элизбара Эристова, мысленно обратился к нему: «Ну что, молодой русский офицер! Слышишь?! Я — князь Павел Дмитриевич Цицианов, горжусь тем, что воплощаю в жизнь мечту Петра Великого!»

Не далее чем вчера Каджары получали немалую долю таможенных пошлин Бакинского порта, вывозя в свою страну нефть и соль, не только обеспечивая себя, но какую-то часть ещё и экспортируя.



Наконец кончилось все это.

Его Величество император Александр I смог мастерски воспользоваться войной между Францией и Англией, всеобщей смутой в Европе, ослабленностью Османов и как настоящий, масштабно мыслящий государственный деятель почувствовал и понял: нельзя упускать момент поставить точку в отношениях с царствами Грузии и ханствами Азербайджана — у Англии и Франции не было ни сил, ни времени активно вмешиваться в события далёких Грузии и Северного Азербайджана.

Не было времени пока, и Его Величество сумел оценить это «пока» и использовать эту возможность.

Южный Кавказ в истории России будет связан с именем Александра — так и должно быть, ибо это правда, и, наверное, в той истории будет упомянуто и имя генерала Цицианова.

Князь снова приосанился, выпрямился в седле, словно хотел встать навытяжку перед одержанными за эти три с половиной года державой победами.

После тяжёлого поражения под Аустерлицем Его Величество император конечно же был весьма расстроен, задеты его честь и гордость, и именно в такой час следовало поддержать Его Величество, не дать впасть ему в уныние. И князь Цицианов очень надеялся — по сути, в этом можно было не сомневаться — взятие Баку принесёт во внутренний мир императора умиротворение, положительные эмоции, станет для него новым весомым стимулом.

Князь Цицианов добился присвоения Гяндже имени Елизаветы Алексеевны — Елизаветполь, а Баку будет назван в честь Александра — не Баку, а Александрополь! — вероятно, Его Величество станет противиться, но Цицианов обязательно добьётся этого, как добился переименования Гянджи. Тогда князь Цицианов писал: «Если Его Величество сочтёт достойным одобрения мою нижайшую просьбу, осмелюсь предложить украсить это самое место — Гянджу — именем Её Величества, благословенной Елизаветы Алексеевны — Елизаветполем».

Точно так как князь получил добро Его Величества на переименование Гянджи, точно так же он добьётся согласия и на название Александрополь, и это желание, мечта засели в мозгу Цицианова. «Александрополь...» — по мере того, как это слово, название звучало в голове князя, казалось, его сердце обдавала радостная, тёплая волна, и он чувствовал себя бесконечно счастливым, что было редким случаем в его жизни.

Александрополь станет самым развитым и замечательным портом на Каспии. Когда-то Цицианов распорядился: тот, кто назовёт Елизаветполь, как прежде, Гянджой, будет оштрафован на один серебряный рубль, подобное распоряжение он применит и здесь. Это — во-первых, а во-вторых, прикажет,

чтоб и в Александрополе, и во всех мечетях Апшерона во время намаза произносились молитвы в честь Его Величества императора Александра Петровича и всей императорской семьи.

Вот так-то!

Азербайджанцы — люди гордые, но опасаться этой гордыни не стоит. И если, подобно некоторым русским дворянам, не ведающим, что творится на белом свете, придавать этой гордыне романтические краски, уважать её, то ничего путного не достигнешь. Напротив, следует в назидание другим растоптать, сломить эту гордыню.

И в эти минуты, приближаясь к Двойным воротам Баку, князь вспомнил юного хана Дербента: в том самом 1796 году Валериан Зубов осадил с моря и с суши Дербентскую крепость — Дербентское ханство являлось воротами Северного Кавказа, — подвергнув жесточайшему обстрелу из пушек этот древний город, несмотря на яростное сопротивление восемнадцатилетнего хана — Шейха Али. Потеряв одиннадцать офицеров и 107 рядовых — число раненых перевалило аж за 300, — Дербент бы наконец Зубов покорил: осознав бессмысленность дальнейшего сопротивления, хан, в знак капитуляции повесив на шею меч, один, без всякого сопровождения, вышел из крепостных ворот к русским войскам.

Не нужно быть особенно проницательным человеком, чтобы представить моральное состояние юного хана, и, хотя с тех пор прошло немало лет, напряжённое и мученическое выражение его лица навсегда запечатлелось в памяти князя Цицианова.

И в эти мгновения, приближаясь к Баку, князь Цицианов отчего-то и вспомнил вдруг мученическое лицо юного хана, напомнившее ему лик Христа на пути к Голгофе. Разумеется, юному хану Дербента было куда легче покончить с собой тем самым мечом, чем, повесив его на шею, выйти навстречу осаждавшим, и, чтобы увидеть, понять это, тоже особой проницательности не требовалось.

Конечно же, необходимость, повесив на шею саблю, выйти к строю солдат, русских офицеров, генералов, распластанных в сёдлах своих коней, словно в мягких креслах кабинетов, потрясла гордость, честь и достоинство Шейха Али. Тогда, глядя на приближающегося к ним тяжёлыми шагами Шейха Али, князь Цицианов подумал, что этот короткий отрезок пути — из ворот Дербента до строя солдат и офицеров — для юного хана долгий, никогда не завершающийся, несущий страшные нравственные муки путь. Но что делать, иного выхода нет, так и должно случиться; именно так в первую очередь и можно было растоптать и сломить гордыню самодовольных азербайджанских ханов, чванливых беков; князь Цицианов поступал именно так, ломал и крушил азербайд-

жанских ханов и спесивых грузинских принцев и князей, не чувявших под ногами землю.

Адам Чарторыжский — министр иностранных дел России, родом из польских шляхтичей, поднял вопрос: дозволить азербайджанским ханам приезжать в Санкт-Петербург, чтобы лично вручать подарки Его Величеству, мол, это ещё больше приблизит их к России. Но что возьмёшь с Адама Адамовича: он считает, что ханы подобны польским вельможам. В Санкт-Петербург азербайджанских ханов пускать нельзя, ибо они должны всегда сознавать, что Санкт-Петербург — столица такой империи, где проживает сам царь, порог которого эти коварные, двуличные люди не достойны переступать; Его Величество столь велик и возвышен, что лицеизреть его им не дано, как не дано простому смертному лицеизреть самого Бога. Так и должно быть всегда.

Нет слов, Джавад-хан был достойным врагом — Цицианов писал ему: «Россия — империя, благословенная самим Создателем», но хан не понял этого, и судьба его вам хорошо известна, господин Чарторыжский!

Эти ханы — временщики, их подданные тоже должны знать своё место, и вы, господин Чарторыжский, поймите: нельзя управлять Южным Кавказом законами Российской империи, эти правители легко дают слово, клятвенные обещания, но принимать всерьёз их слова, обещания, клятвы — глупость, господин Чарторыжский, их следует давить, давить и ещё раз давить. И не стоит действовать согласно кодексу нравственности, опасаясь оскорбить и унижить таких, до мозга костей двуличных, людей, уважаемый господин Чарторыжский, ведь порой эти оскорбления, унижения для них более смертельны, чем пули. Князь Цицианов писал султану Илису — этому карликовому правителю: «Ты — пёс по духу и осёл мозгами, тебе ли обманывать меня своими лживыми обещаниями? Знай, пока ты не станешь тем, кто выплачивает моему правителю дань, я твёрд в решении обмыть свои сапоги твоей кровью».

Вот именно так!

Возможно, князь поступал и писал так ещё и потому, что сам не был русским по крови, а тем же кавказцем: хотел, как говорится, быть святее Папы Римского?

В 1800 году опасавшиеся Каджаров ханы Северного Азербайджана — Баку, Дербента, Кубы, Ленкорани, с присущей им вечной восточной хитростью, совершив очередной манёвр, вместе с хакимами Дагестана, направили свои депутации в Петербург, прося заступничества. По поручению бедолаги Павла их принял лично министр иностранных дел Растопчин и передал им дословный наказ императора: «Прежде уж вы сами определитесь меж собой, только после этого можете вступать с нами в союз».

Несчастный Павел... Вместо того, чтобы призывать к союзу, единству этих падких до власти грузинских принцев, князей, честолюбивых азербайджанских ханов, кавказских хакимов — разбойников, следовало использовать их исконное неприятие друг друга. Так необходимо поступать и сегодня. Со дня прибытия на Кавказ князь Цицианов повторял сам себе мысль, которой постоянно придерживался: Южный Кавказ лишь тогда будет полностью покорён, когда эти дикари, обладающие богатой историей, древней культурой, будут враждовать друг с другом, тянуть каждый в свою сторону, хватать за горло друг друга, и главное, чтоб эта неприязнь и вражда никогда не прекращались.

Князь Цицианов снова мягко шлёпнул по холке коня: «Такие вот дела, друг мой Пантера!» — и снова улыбнулся.

В тот спокойный зимний погожий февральский день чистый и лёгкий бриз с Каспия несколько не мешал тишине, опустившейся на степь вокруг Баку, и прекрасное настроение князя Цицианова словно придавало этой тишине знаковый смысл: будто сама эта тишина в этом вечном краю ветров — он хорошо помнил ураганные бакинские ветры — говорила: «Добро пожаловать, матушка-Россия!» Матушка-Россия — в лице главнокомандующего

Князь снова подбоченился, выпрямился в седле.

Пантера, будто почувствовав доброе расположение седока, на мгновение придержал шаг, подняв морду, легко фыркнул, затем снова осторожно, но уверенно двинулся в сторону Двойных крепостных ворот Баку.

Иринарх Иванович<sup>1</sup> конечно же человек хороший — поэт, писатель, к тому же друг незабвенного Александра Васильевича<sup>2</sup>, но он не удержал в руках Баку, вот этого ему никак простить нельзя. Куда поэту, писателю до ратных дел? — пусть сидит дома, пописывает прекрасные, и не очень, стихи. И сейчас, покачиваясь в седле Пантеры, двигаясь по направлению к Баку, князь Цицианов окончательно решил, больше тянуть не следует: как только обустроится в Баку, отправит, за постыдное для русского воинства поражение, этого генерала-поэта в отставку. Дух Александра Васильевича на него не обидится, — князь улыбнулся, — Суворов привечал и его, недаром в одном из приказов войскам писал: «Сражайтесь столь же решительно, как доблестный генерал Цицианов!» — и эти слова запомнились генералитету — кто воспринял их с завистью, кто одобрительно, а кто даже с иронией:

<sup>1</sup> Имеется в виду русский военный деятель генерал И. И. Завалишин.

<sup>2</sup> Имеется в виду прославленный русский полководец, генералиссимус А. В. Суворов.

как известно, Суворов славился своими неповторимыми приказами.

Дело было в том, что 12 августа прошлого года, по приказу князя Цицианова, шеф Астраханского гарнизонного полка генерал-майор Завалишин, имея двенадцать кораблей, оснащённых четырьмя орудиями и с семьями десантниками на бортах, вошёл в Бакинскую гавань.

Гусейнкули-хан снова принялся за свои хитроумные манёвры, давал всякие обещания, но так и не подчинился. Завалишин подверг Баку артиллерийскому обстрелу, выбросил на берег десант, но десант с позором был рассеян конницей Гусейнкули-хана, к тому же кончились и ядра беспорядочно стрелявших корабельных пушек. А тут пришло известие, что вернувшийся на дербентский трон Шейх Али-хан совместно с Сурхаем, сыном кызылкумского хана, объединённым конным отрядом спешат на помощь Гусейнкули-хану, и генерал-майору Завалишину не оставалось иного выхода, как 9 сентября, после бесславной экспедиции, вывести флот из Бакинской бухты.

Никогда прежде князь Цицианов не был столь разгневан, он обрушил на генерала Завалишина самые жёсткие упреки и принял решение самому повести войска на Баку, но всё же прежде отправил того самого Завалишина в сторону города, тому хотя бы известен вход в Бакинскую бухту — и, выдвинувшись к порту, он сможет нацелить орудия на крепость, что посеет панику в рядах Гусейнкули-хана.

И Гусейнкули-хан принял российское подданство.

Цицианов, указывая пальцем в сторону бакинской крепости, сказал подполковнику Эристову:

— Князь, ты — свидетель исторического момента, и этот момент никогда не будет забыт тобой!

За эти три с половиной года главнокомандующий впервые обратился к своему адъютанту не привычно — «подполковник», а «князь», причём не на «вы», а на «ты», что совершенно стёрло ещё не до конца пережитое Элизбаром Эристовым прежнее огорчение. Величие переживаемого момента, сердечность и тепло подобного обращения принесли приятную слабость, и Элизбар Эристов, подавив предательский комок в горле, сказал чуть дрожащим голосом:

— Я горжусь этим моментом, Ваше сиятельство!

Дело в том, что вчера вечером, когда князь Цицианов, спустившись с перевала Джанги, стал лагерем на границе Бакинского ханства, он получил сообщение, что Гусейнкули-хан решил капитулировать. Уговорились, что завтра, то есть сегодня, Гусейнкули-хан встретит его в трёх верстах от Бакинской крепости, на небольшой площадке перед колодцем, и вручит ему символический ключ от ворот города.

Сегодня утром князь Цицианов в сопровождении двухсот всадников прибыл в обговоренное место, но

его встретили хлебом и солью лишь Молла Музаффар и несколько бакинских аксакалов, именно они хотели вручить Цицианову ключ от Двойных крепостных ворот Баку.

Князь Цицианов счёл подобную церемонию вручения неуважительной к великой Российской Империи и, вернув шкатулку с ключом, глядя на аксакалов, выразил своё недовольство толмачу Шарифбеку, потребовав, чтоб Гусейнкули-хан лично вручил ему ключи...

Представители хана, забрав шкатулку, поскакали прочь.

Князь, оставив сопровождающих его всадников, вместе с подполковником Эристовым, верхом на Пантере направился к городу, чтобы там, на равнинной площадке перед Двойными крепостными воротами, лично принять от Гусейнкули-хана ключи. Теперь их сопровождал лишь один сержант.

На этой враждебной равнинной местности подполковник Эристов, опасаясь за безопасность командующего, не удержавшись, сказал:

— Ваше сиятельство, может, приказать всадникам следовать за нами?

— Вы что, подполковник? — спросил главнокомандующий, улыбнувшись, и тон, которым был произнесён вопрос, звучал: «Неужто боитесь?» — Элизбар Эристов почувствовал, что краснеет, — он не был трусливым офицером, Цицианов не раз являлся свидетелем тому.

Сейчас, в эти минуты, с приближением к Двойным воротам Бакинской крепости, Элизбар Эристов переживал чувство поистине несравненной гордости. Главнокомандующий прав: память об этих минутах будет сопровождать его до конца жизни.

Казалось, князь Цицианов видел в этом умном и смелом офицере свою молодость, он был совершенно уверен, что молодой человек в будущем станет отличным генералом. Эристовы-Ксанские тоже происходили из древнего грузинского княжеского рода, их деды переехали из Грузии в Россию даже раньше Цициановых. Подполковник Эристов был верным присяге, преданным императору русским офицером.

И князь Цицианов снова вдруг вспомнил Бабуа Арчила: «Я знаю, Паата, ты станешь большим генералом!»

Князь улыбнулся и, мысленно произнеся: «Эй, Бабуа!..» — поднял голову к небу и с улыбкой удовлетворения на лице махнул рукой вверх.

Подполковник Элизбар Эристов с удивлением, которого не скрыть, тоже глянул на небо: что или кого приветствовал главнокомандующий в этой безоблачной выси? Удивление адъютанта не ускользнуло от внимания Цицианова, он еле сдержался, чтобы не расхохотаться.

Князь Цицианов строил свои отношения даже с самыми близкими генералами, офицерами строго официально, совершенно не интересовался их личной жизнью, но в это февральское утро он словно превратился в совершенно иного человека, с радужием в голосе спросил:

— Я даже не знаю, подполковник, сколько тебе лет?

В подчинении князя Цицианова было немало князей, графов, офицеров из родовитых семей, но главнокомандующий даже в неофициальной обстановке обращался к ним только по званию. И на этот раз было точно так же, но сейчас в его вопросе ощущалось тепло, и, чувствуя это радушие и явную приязнь, расположение, на этом совместном коротком отрезке пути пребывающий в состоянии пьянящего счастья Элизбар Элистов ответил:

— Двадцать девять, ваше сиятельство!

Двадцать девять... Красивый и расторопный подполковник мог по возрасту быть его сыном, и в этот миг в душе князя Цицианова поднялась так не соответствующая его нынешнему утреннему настроению ноющая, саднящая, глухая боль. И тотчас снова в голове князя, строка за строкой, зазвучало письмо маркизы де Лафонжен.

Закрыв глаза, он взял себя в руки.

Когда они добрались до выровненной площадки перед крепостью, Двойные ворота отворились — видимо, люди хана глядели на них из-за бойниц крепости — и впереди появились Гусейнкули-хан, рядом держащий на весу флаг ханства знаменосец, за ними Махмуд-бек, толмач Шариф-бек и ещё несколько человек. Подскакав, они встали лицом к лицу.

— Здравствуй, хан! — Это приветствие князь Цицианов произнёс на ещё не забытом за десять лет азербайджанском.

— Добро пожаловать, Ваше сиятельство! — ответил Гусейнкули-хан.

Хан явно постарел, во всей его фигуре ощущалась усталость, и князь Цицианов, внимательно разглядывая его острым взглядом, чувствовал, что эта усталость не одного—пяти дней, это усталость, накопившаяся, наслоившаяся за годы. И на какой-то миг словно тоже глянул на себя в зеркало и тотчас отвёл от этого мысленного зеркала взгляд.

Толмач Шариф-бек прыгнул с коня и под полным сарказма и ненависти взглядом Махмуд-бека протянул Гусейнкули-хану инкрустированную перламутром шкатулку из орехового дерева. Хан взял шкатулку — большой, с нежными узорами серебряный ключ лежал на зелёной шёлковой подушечке. Хан, всё так же сидя на коне, подъехал ближе к князю Цицианову, протянул ему шкатулку.

И в этот момент те двое, что стояли рядом с Махмуд-беком, мгновенно выхватили приторочен-

ные к седлам ружья. Два выстрела прозвучали один за другим.

Подполковник Элизбар Эристов с мгновенно застывшим на лице изумлением сполз, опрокинулся с коня на землю.

Всё это произошло столь неожиданно, что Гусейнкули-хан застыл как был в седле с протянутой вперёд рукой со шкатулкой, затем, придя в себя, во всю мочь, так что выступили синеватые сосуды на его тонкой шее, крикнул:

— Эй, стойте! Что вы творите, сучье отродье?!

Поначалу князь Цицианов ничего не понял, удивлённо подумал, откуда же прозвучали выстрелы, и с тем же удивлением посмотрел на распластавшегося на земле адъютанта, но после истерического крика Гусейнкули-хана понял, что произошло что-то непредвиденное, он непроизвольно потянулся рукой к висевшей на боку сабле. Но схватиться за рукоятку не смог и медленно свалился набок, чуть в стороне от коня.

Сопровождавший князя и его адъютанта сержант, очнувшись раньше всех, в явном ужасе повернул своего коня вспять и усакал прочь.

Толмач Шариф-бек, крича: «Князь!.. Князь!..», подбежал к князю, вся грудь которого была в крови.

Князь услышал этот доносящийся откуда-то издалека крик, и ему почудилось, что это Бабуа Арчил зовёт его откуда-то из небытия своим ласковым голосом.

Его щека касалась земли, и в эти стремительно проносящиеся мгновения князь почувствовал во рту вкус грязи, и в его угасающем сознании пронеслось: «Как невкусна земля...»

И князь Цицианов внезапно вспомнил слово, которому его учил Бабуа Арчил: «Паата, повторяй: Хмерти!<sup>1</sup> Повторяй!»

В последний миг своей жизни князь Цицианов прошептал: «Хмерти!»

Но ему недоставало времени осознать значение этого слова.

\* \* \*

*Для НЕГО не было границ движения, и ОН уже знал, что в этой видимой ЕМУ субстанции нет и границ времени, ибо тут (где?) не было и самого времени.*

*ОН мог наблюдать каждый миг своей жизни в той видимой субстанции, даже миг своего рождения.*

*Вдруг ОН увидел того кричащего младенца, только что покинувшего материнское чрево, тем малюткой был ОН сам, а нервно вышагивающий в смежной комнате — князь Дмитрий Павлович Цицианов — ЕГО отец.*

<sup>1</sup> «Хмерти» — по-грузински означает «Бог».



Сидевший в мягком кресле, дымя трубкой, Бабуа Арчил говорил: «Успокойся Дмитрий, всё будет хорошо!..», и в это время, осторожно держа на руках только что рождённого младенца, в комнату вошла мадам Женон, сказала на русском, но с французским прононсом: «Елизавета Михайловна осчастливила вас сыном, Дмитрий Павлович!», затем, приподняв ЕГО, кричащего младенца, показала отцу — ЕГО отцу.

ЭТОТ малютка конечно же не знал, не мог знать, что ждёт ЕГО в той видимой субстанции, но самое главное, не мог ведать о такой вот идиллии будущей свободы, покоя, независимости, о такой бесплотности и невесомости, которые будут поджидать ЕГО после бесчисленных событий и катаклизмов в той видимой субстанции.

И в сравнении со свободой и независимостью этой бесплотности и невесомости сменяющие друг друга эпизоды той видимой субстанции внезапно, в этот последний — в какой последний? — момент показались ЕМУ бессмысленными.

Все ЕГО чувства говорили, что это не конец, здесь нет ни начала, ни конца, что всё ещё впереди...

...Но что такое «впереди» и где оно?..

### 3

В тот самый день, 8 февраля 1806 года по христианскому и 2 месяца шубат 1220 года по мусульманскому летоисчислению, был полдень, когда Гусейнкули-хан созвал чрезвычайный диван.

Весть об убийстве Цицианова разнеслась столь стремительно, что о нём прознали даже в отдалённых бакинских сёлах, словно эту весть разносили птицы — вороны, голуби, воробьи, не покидающие Баку даже в зимнюю пору.

Гусейнкули-хану не сиделось на троне. Раздражённо перебирая ярко-красные камни коралловых чётков, привезённых ему в дар Гаджи Мухтаром из священной Мекки, он прохаживался взад и вперёд по залу, мимо сидевших на коврах, сложив под себя ноги, погруженных в молчание сановников — членов дивана, и в этот момент хан внезапно слышал доносящиеся откуда-то издали звуки музыки. Но на самом ли деле играли на чём-то, или эти звуки возникли в его натянутых будто струны нервах — хан этого не понял, даже не мог определить мелодию, и ему снова на ум пришли строки стихотворения визира — Молла Панаха.

Я правду искал, но правды снова и снова нет:

Всё подло, лживо и криво — на свете прямого нет.

И вдруг произошло непостижимое: в самый тяжёлый, напряжённый момент жизни в душе Гусейн-

кули-хана родилось желание слагать стихи, будто в одно мгновение в его душу — душу человека, никогда прежде не писавшего стихи, даже не помышлявшего об этом, лишь иногда, когда позволяло время, любившего почитать стихи и благодаря исключительной памяти запоминавшего многие из них, вдруг пришло вдохновение, и внутри его начали слагаться строки, как бы стихи — посвящения Молла Панаху.

Внутренне поражённый, он едва сдержал себя, чтобы громко не выплеснуть на головы членам дивана эти произвольно пришедшие на ум строки. Вглядываясь в окно на установившуюся после позавчерашнего урагана спокойную, ласковую погоду, он подумал, что «та метель бушует не за окном, а в моём сердце», и почувствовал, что всё его существо наполняется строками, стихами именно этого содержания, и вот-вот они извергнутся наружу.

Вероятно, желая отрешиться от этого безумного наваждения, Гусейнкули-хан торопливо сел на трон и, ударя кулаком правой руки по подлокотнику трона, крикнул на Махмуд-бека:

— Знаю, это всё твои дела! Закую руки и ноги в кандалы, посажу в клетку и вместе с трупом Наместника отправлю тебя к русским!

Махмуд-бек, как всегда сидевший на привычном месте, прямо напротив Гусейнкули-хана, отвёл глаза и, глянув в сторону дверей, словно собираясь встать и уйти, сказал:

— Отправляйте! Отправляйте, чтобы русские вздёрнули меня на виселице! Чем жить под пятой русских, в сто раз почётней висеть над их головами!

Зал для заседаний дивана был переполнен таких страхов, мысли придворных были столь растерянными и паническими, что никто не обратил внимания на подобную запальчивость Махмуд-бека по отношению к хану.

А в душе Гусейнкули-хана рождалось новое стихотворение, связанное с ложью и двуличием людей в этом бренном мире, на деле героем этого стихотворения был он сам — Гусейнкули-хан: сейчас он признавался самому себе, что в глубине души знал, чувствовал, что Махмуд на встрече с Наместником обязательно что-то выкинет, но всё же взял его и нескольких его всадников, и в стихах, клокочущих в его душе, было и то: стой, погоди, кого ты хочешь обмануть? — ты не только предчувствовал, ты этого желал.

Человека называют жемчужиной всего сущего на земле, но самое страшное, самое коварное и ненасытное на свете существо — это сам человек, ибо на деле людьми управляет не Аллах, а сатана. Боже, прости меня!.. Что это за грязные, подлые мысли посещают, Гусейнкули, твою голову, когда отправишься в Божье царство, разве сможешь ответить за

нечестивые мысли, что роятся в твоём мозгу? Откуда они в такой момент, и что это за низкая страсть к стихам?

С одной стороны, растерянность, с другой — стыд перед самим собой не давали хану собраться с думами, и этот человек, вся жизнь которого прошла в мире политики, в повседневной борьбе за удержание трона, власти, боялся, что вдруг встанет, убежит, найдёт какую-нибудь нишу, дальнюю комнату, наглухо заперётся в ней, чтоб никого не видеть, отрешиться от всего на свете, стереть из памяти полные страхов страницы жизни, день и ночь писать стихи — но теперь не о бренности существования, лжи, коварстве, интригах, предательстве, а о розах и соловьях, свечах и мотыльках, любимых и возлюбленных...

Чтобы спастись от нового, кинжалом вонзившегося в его мозг наваждения — стихотворения-жалобы, он обвёл покрасневшими от напряжения глазами сидящих перед ним приближённых, спросил:

— А где толмач?

— Нет его... — ответил начальник канцелярии Мешади Гасанага.

— Как это его нет? — рявкнул Гусейнкули-хан.

Всякий раз, когда хан в гневе срывался на крик, начальник канцелярии Мешади Гасанага, за свою культуру и обходительность уважаемый во всем Апшероне, краснел и путался, но совершившееся утром покушение так подействовало и на него, что он не растерялся, ответил:

— Искали повсюду, ваше величество, Шарифбек исчез.

— Наверное, убежал вместе с русскими, — не сдержался Махмуд-бек.

Гусейнкули-хан снова прикрикнул на племянника:

— Я же приказал тебе — помолчи! Клянусь единым Аллахом, я сам велю тебя повесить! — Хан снова ненадолго замолчал, затем сказал: — Или ты думаешь, что русские больше не вернуться?

...После покушения на князя Цицианова русскую армию охватили страх и растерянность, войска отступили к Ширвану, а флот, по приказу генерал-майора Завалишина, снялся с якоря, направился к острову Сара, близ Ленкорани. Жители Баку, высыпав из крепости на берег, следили за военными кораблями, пока они окончательно не скрылись с глаз, и впервые за все эти дни вздохнули спокойно.

Невежественный люд... Думают, что беда, словно ветер, прошлестела стороной, им даже и не приходит в голову, что настоящее начнётся только теперь. И на сей раз Гусейнкули-хан обратился к Молла Музаффару:

— Что посоветуешь? Что предпринять? Каким пеплом посыпать нам головы?

Молла Музаффар сидел, устремив глаза на узоры ковра Гаджи Мухтара, и различные краски этих узоров — синие, красные, зелёные — в тот момент сообщали лишь о чёрных и смутных делах этого света. Всё так же не отводя глаз от узоров, какое-то время он молчал.

Преследующие друг друга, доносящиеся будто откуда-то из небытия, полные жалоб и горестных нот строки заставили Гусейнкули-хана вторично, уже дрожащим голосом переспросить:

— У тебя нет никакого предложения, Музаффар?

Как ни озабочены были собравшиеся в зале, они ощутили надтреснутость в голосе хана и отнесли это к тягости ситуации, сложившейся с покушением на Наместника. Гусейнкули и сам ощутил дрожь в своём голосе и с горестной иронией подумал: кто же, кто же поверит, что в такой момент внутри него извергаются строки стихов и он всеми силами старается подавить это извержение? Судьба насмехается над ним, что ли?

Молла Музаффар наконец отвёл глаза от красочных узоров ковра Гаджи Мухтара.

— Есть, — сказал он, и этот его ответ словно вывел собравшихся из полного смятения и оцепенения, все устремили глаза на Моллу Музаффара, и даже атаки поэтических строк, бушующих в груди Гусейнкули-хана, казалось, притихли.

— Я беру на себя большой грех... — сказал Молла Музаффар, — но сказать должен: это как-то может спасти людей... — Молла Музаффар сделал паузу, затем продолжил: — Россия стала нашим вечным врагом, рано или поздно нам придется ответить за это злодейство... Следует как-то защитить народ. В этой ситуации надежда лишь на Аллаха и ещё на Каджаров, иного выхода и опоры у нас нет...

Слушавший с забрезжившей было надеждой Молла Музаффара Гусейнкули-хан сразу же встретился:

— Музаффар, неужто ты запаматовал, — огорчённо спросил он, — какие беды насылал на наши головы Ага Мухаммед-шах Каджар?

— Нет, не забыл, — ответил Молла Музаффар.

Гусейнкули-хан, быть может, впервые в жизни, с явной издёвкой в голосе спросил Молла Музаффара:

— Так что ты думаешь, Баба-хан<sup>1</sup> ни с того ни с сего вдруг станет поглаживать нас по головке?

— Нет, я так не думаю. Следует, не теряя времени, наладить дружеские отношения с Баба-ханом... А затем — на всё воля Аллаха!..

— Дружеские отношения? — усмехнулся хан. — Как наладить дружеские отношения в подобной ситуации — между молотом и наковальней?

— Отправим ему подарок...

<sup>1</sup> Так звали Фатали-шаха до его восшествия на престол.

Когда Молла Музаффар произнёс, что у него есть предложение, стремительность рождения стихотворных строк несколько угадала, но предложение о подарке вновь оживило стихотворные строки, и хану подумалось, что Музаффар, старея, глупеет: сколько мы надавали обещаний и Аббасу Мирзе, и его отцу, ни одно из них не выполнили, приняли российское подданство, и теперь за один какой-то подарок столь злопамятный человек, как Фатали-шах, поверив, станет водить с нами дружбу?!

Тем временем строки становились всё стремительнее.

— О чём ты говоришь, Музаффар? — Голос Гусейнкули-хана вновь задрожал. — Какой подарок? Если собрать всё, что у нас есть, это не составит и половины цены даже короны на голове Баба-хана. И из-за какого-то подарка он вдруг изменится, станет водить с нами дружбу? Будет гладить нас по головке?

— Давайте отправим ему совсем иной подарок...

Гусейнкули-хан счёл безнадежным продолжать этот разговор:

— Какой такой подарок, Музаффар, о чём ты говоришь?

Молла Музаффар прочёл про себя какую-то молитву, провёл ладонями по лицу в знак её окончания, сказал:

— Отправьте Фатали-шаху голову Наместника...

Атака стихотворных строк в груди Гусейнкули-хана осеклась — это безумное желание слагать стихи вдруг ушло, — и хан, выпрямившись на троне, явно изменившимся взглядом окинул собравшихся.

Зал дивана погрузился в такую тишину, что, казалось, никто даже не дышит, боится перевести дыхание, словно некие дервиши-колдуны, заворотив, превратили людей в каменных истуканов.

Начальник канцелярии Мешади Гасанага за всё это время ни разу не склонялся над лежащей перед ним тетрадкой, теперь же стал что-то стремительно записывать, и скрип гусяного пера на сей раз звучал в зале громче, чем когда-либо.

Предложение Молла Музаффара оказалось неожиданным и столь же неожиданно привлекательным. Как бы там ни было, Гусейнкули-хан словно глотнул свежего воздуха, и строй стихотворных строк в его мозгу на сей раз обратился в сменяющие друг друга суждения, предположения, надежды. Мосты с Россией сожжены напрочь, Россия никогда не простит убийства Цицианова, здесь уже ловить нечего. Но это подношение могло заставить хоть ненадолго изменить настроение Фатали-шаха, усмирить его гнев. Войска Аббаса Мирзы уже на этом берегу Аракса, Фатали-шах, воспользовавшись моментом, пока русские ещё не оправались, мог двинуть войска на Баку, а дальше — всё в воле Аллаха!

Вместе с головой Цицианова можно послать Фатали-шаху и письмо с заверением, что Гусейнкули-хан вместе со своей конницей в 600 человек, пушками, ружьями, порохом — словом, всем, что у него в наличии — может выступить из Баку, переговорив с Мустафа-ханом, вне зависимости, получит ли его согласие или нет, направиться в Ширван, чтобы встретить Аббаса Мирзу. Правда, Мустафа-хан уже подписал договор с Наместником, принял российское подданство, но если узнает, что к нему приближается со своей армией Аббас Мирза, что ему остается, как не нарушить договор? А если русские скоро придут в себя и двинут войска на Баку раньше Аббаса Мирзы, то он, Гусейнкули-хан, всё же сможет, собрав своих домочадцев, бежать в Тегеран и найти там убежище.

Гусейнкули-хан повернулся к Махмуд-беку:

— Ты организовал убийство, вот ты и отвезёшь в дар Фатали-шаху голову. — Затем обратился к Молла Музаффару: — А тебя, Молла, я прошу поехать вместе с ними, в знак уважения, да и для присмотра! С этим делом, Музаффар, тянуть нельзя!..

И Гусейнкули-хан поднялся с трона и поспешно покинул зал.

Как правило, когда завершались собрания, хан звонил в серебряный колокольчик и приглашённые начинали покидать зал. Но на сей раз Гусейнкули-хан, встав с трона, спешно вышел первым, так как внутри его уже складывались стихи — подражания визирю Молла Панаху, говорящие о чёрных деяниях этого брэнного мира; они были готовы извергнуться из груди, и преодолеть это извержение он был не в силах.

#### 4

В 1797 году Ага Мухаммед-шах Каджар предпринял второй поход на Карабах и наконец смог взять неприступную Шушинскую крепость. И, подобно несчастному Павлу в своей спальне, в Шуше той же ночью был убит ближайшими соратниками. Поговаривали, что один из заговорщиков перерезал монарху кинжалом горло, в последнее время это событие часто вспоминалось князю Цицианову — отчего? разве покушения на правителей были столь уж редким делом, что о них следовало помнить? Князь и сам поражался этому, однако, особенно по ночам, когда вспоминалось это событие, как и тридцать лет тому назад у прежнего молодого офицера, так и у нынешнего Наместника Кавказа, пятидесятилетнего генерала от инфантерии Цицианова содрогалось тело, к горлу подступала рвота. Всякий раз, когда это видение вставало перед его глазами, оно

было столь же сокрушительным, почти как в первый же день, это видение отложилось в его памяти и чувствах.

...Когда палач, схватив за волосы, поднял вверх упавшую на эшафот голову разбойника, ещё не сгустившаяся кровь по капле сочилась из перерезанного горла, и, видимо, навсегда отложившаяся в его памяти именно эта картина вставала пред глазами Цицианова. Иногда ему казалось, что эти кровавые капли стекают не на деревянный настил, а прямо под его ноги.

В прошедшие с того январского дня тридцать лет жизнь князя Цицианова была полна событий и воспоминаний, едва ли вмещающихся в эти тридцать лет, но тот день, 10 января, имел особое, отчетливое, памятное во всех подробностях место среди них.

Морозный зимний день 10 января 1775 года резал будто бритва. Молодого офицера, направляющегося к Лобному месту по засыпанной снегом улице, охватило такое волнение, что трескучий мороз не мог пробить наст, броню этого волнения.

Улицы были столь многолюдны, полны горожан, что проехать к Лобному месту на санях или верхом было немыслимо, и в тот зимний день Павел Цицианов шёл пешком, проваливаясь почти по колено в снег, чтобы увидеть казнь донского казака — разбойника Емельки Пугачёва. Большинство служащих с ним в полку офицеров — все эти молодые князья, графы, просто дворяне — не желали присутствовать при казни, с юношеским максимализмом считали, что стоять лицом к лицу со смертью можно лишь на поле брани или на дуэли, но лицезреть казнь как театральное представление вместе с трактирщиками, завсегдатаями кабаков, шинков — значит уподобиться этой черни, трактирщикам и пьяни.

В то время — впрочем, даже и сейчас — Павел Цицианов так не думал, ибо Емельян Пугачёв был не просто злодеем и разбойником, он совершил преступление против государства, поднял нищих и обездоленных люмпенов на борьбу против страны, направил оружие на великую Русскую империю, и каждый, кто дал присягу защищать с оружием в руках отчизну, должен увидеть казнь негодяя — это его долг.

И юный князь Цицианов пробивался в наступающей на ноги, толкающейся, прижимающейся плотной толпе, где и женщины, и мужики ругались площадным матом и изо ртов несло дешёвой водкой, самогоном, вином, чесноком, солёным огурцом, запахами корчмы, — всё это словно кричало о мерзости самого Емельки Пугачёва. Но он, двадцатилетний Павел Цицианов, присягнувший на верность государству и Её Величеству императрице, гордящийся этой верностью русский офицер, дол-

жен был увидеть собственными глазами казнь предателя.

Хруст снега под ногами сливался с людским гулом, и позже, когда князю Цицианову вспоминался этот гул, ему казалось, что в нём была ненасытность набрасывающейся на падаль гиены.

— Надо четвертовать этого негодяя!..

— Надо искромсать его живьём на куски!..

— Всех, всех! Изрубить всех на куски! — кричали мужчины и женщины так, что проступали жилы на их шеях, в большинстве своём они были такие же, как Пугачёв, люмпены — отбросы общества, толкая друг друга, они двигались к Лобному месту с такой страстью, будто там, на месте казни, им станут разбрасывать монеты или бесплатно разливать водку.

Пугачёв совершил преступление против государства, и такие же, как он, окружавшие его разбойники, как только Емелька дал слабину, самые близкие его сообщники, желая сохранить свою гнусную жизнь, совершили предательство, тотчас связав по рукам и ногам своего предводителя, выдали властям.

И этот самый предводитель — Пугачёв, как только во время следствия граф Панин отвесил ему пару тумаков, сполз, как пёс, на колени и тотчас признался во всех своих злодеяниях. Емелька объявил себя Петром III, и те, кто принимал его за Петра III, кто примкнул к нему, проводил в жизнь его преступные замыслы, вилял хвостом перед ним — теперь эти людишки, проклиная, требовали четвертовать, изрубить его на куски.

— Везут!..

— Везут!..

— Везут!..

Толпа, пришедшая в возбуждение от радости, интереса перед казнью, словно выполняя чей-то приказ, торопливо расступившись, открыла проход. Вначале появился отряд кирасиров, затем сани, на которые была водружена железная клетка. За санями отряд всадников, за ними — закованные в кандалы, босые осуждённые пугачёвцы, и в первом ряду их — правая, разящая рука Пугачёва — Афанасий Перфильев.

Закованный в кандалы Пугачёв сидел на скамье внутри той железной клетки. Голова его была непокрыта, волосы и борода всклокочены. В каждой руке он держал по жёлтой свече, свечи горели, расплавленный воск капал на его ладони, но он не обращал на это внимания, его сверкающие то ли от страха, то ли от ненависти чёрные глаза были устремлены на сидящего напротив в той же клетке духовника.

Под гул толпы сани продвигались к Лобному месту, и после пьяного, рассекающего этот гул выкрика: «Сначала надо воткнуть в его ж... кол!» — раздал-



ся пьяный хохот, а в это время, поднявшись со скамьи, отвешивая во все стороны поклоны, Пугачёв стал хриплым голосом кричать:

— Прости меня, православный народ!.. Прости!..

Раздался ещё больший гул, и этот гул совершенно не прощал, напротив, проклинал его:

— Да чтоб твою мать!..

— Отрежьте ему и язык!..

— И уши тоже!..

А этот негодяй, не обращая внимания на проклятия, словно даже не слыша их, всё так же отвешивал во все стороны поклоны, выкрикивая те же слова:

— Прости меня, православный народ!.. Прости меня, православный народ!

Глядя на этого каналью, на лице которого запечатлелась вся низость его жизни, Павел Цицианов думал о том, насколько же надо быть лишённым самого простого понятия человечности, обладать столь первобытным мышлением, чтобы, признав это существо Божиим помазанником, примкнуть к нему и, идя за ним, вступить в схватку с самим государством, дабы посадить на трон такой империи, как Россия, подобного мерзавца.

Вокруг высоко возведённого эшафота были выстроены солдаты, офицеры в длиннополых, надетых поверх мундиров шубах, а поджидавшие Емельку два палача — эти люди трудной и столь же неуважаемой профессии, сидели на эшафоте и, то ли желая отречься от тягости своей судьбы, то ли в честь долга, который они вскоре исполнят, пили сладкое вино — палачам накануне церемонии казни позволялось пить вино.

У этой площади, именуемой Болотной, была своя чёрная, вошедшая в историю Российской Империи традиция: именно здесь была отрублена голова предшественника Емельки, такого же государственного преступника — Стеньки Разина, и молодой офицер Павел Цицианов считал эту показательную казнь выражением нравственного величия и могущества Российской Империи как государства.

Рядом с эшафотом также были выстроены три виселицы, на них вздёрнут наиболее жестоких сподвижников Пугачёва, а самому ему и Афанасию Перфильеву сначала отсекут руки и ноги, затем голову.

Сани с Пугачёвым въехали на Болотную площадь, и гул бежавшей за ними толпы, облепившей дома, лабазы, харчевни, слился на площади с запахами сивухи, вина, чеснока.

Не столько чтобы лучше видеть казнь негодяя, а чтобы хоть немного отстраниться от тошнотворного пара, исходящего из ртов зевак, Павел Цицианов, не обращая ни на что внимания, с ненавистью расталкивая стоящих рядом людей, двинулся вперёд.

Сани остановились рядом с эшафотом, и внезапно, словно толпе снова был отдан приказ и она тот-

час исполнила его, на площадь опустилась тишина — канун замечательного представления.

Солдаты, поднявшись на сани, открыли клетку, вытащили Пугачёва, и он, в сопровождении двух дьяков и духовника, поднялся на эшафот. Вслед за ними, освободив от общей цепи других приговорённых, подняли, толкая в спину, на эшафот и Перфильева, и каждый раз, когда босые, закованные в кандалы ноги Перфильева ступали по снегу, был ясно слышен кандалный звон.

В те мгновения Павлу Цицианову думалось, что вина этих преступников перед Создателем и государством столь велика, что церковные колокола не станут провожать их в иной мир, где они будут гореть в адской геенне, их сопровождает в тот мир звон кандалов на ногах Перфильева.

На плечи Пугачёва был накинута белый барашковый тулуп, из открытого ворота тулупа виднелся малинового цвета кафтан, под хлопьями снега тулуп казался белее, а малиновый цвет кафтана сгушался ещё больше, обретая цвет крови.

Затем был отдан приказ «Смирно!», и военные вытянулись во фронт. Один из дьяков стал читать манифест, и, когда было названо имя этого мерзавца, стоявший внизу полицмейстер с густыми бакенбардами и приплюснутой, будто блин, физиономией, глядя снизу вверх на Пугачёва, грохочущим басом — видимо, во всей Москве нашли полицейского именно с таким голосом, спросил:

— Ты — донской казак Емелька Пугачёв?

— Да, господин!.. — ответил Пугачёв все тем же хриплым, уже начавшим дрожать голосом. — Донской казак станицы Зимовейской Емелька Иванович Пугачёв — это я...

Разумеется, эти вопросы и ответы произносились для того, чтобы у толпы не осталось никаких сомнений, что этот негодяй, которого сейчас будут четвертовать, никакой, как он объявлял, не Пётр III, а жалкий, нищий донской казак, и чтобы через какое-то время эта самая толпа не составила героическую трагедию, что Емелька Пугачёв был настоящим императором, и, передавая это из уст в уста, не превратила его в святого.

По мере того, как читался манифест, Пугачёв, крестясь и отвешивая поклоны, что-то шептал сквозь зубы, и в какое-то мгновение его взгляд словно столкнулся со взглядом Павла Цицианова. И у Павла родилось такое чувство — оно преследовало его по сей день, все эти годы — что тот кланяется лично ему, двадцатилетнему офицеру, прося прощения за преступления перед великой Российской Империей.

В этом ощущении, чувстве была явная гордость: отъявленный разбойник, совершивший измену, преступление против империи, накануне казни просит

в лице юного русского офицера прощения у империи и Её Величества.

Рябой, высокий, уродливый, с выступающим кадыком, Афанасий Перфильев явно был не в себе, не воспринимая происходящего, этот мерзавец, погубивший столько невинных душ, уже еле стоял на ногах, один из палачей поддерживал его за локоть. Перфильев, не моргая, устремил выпученные глаза на свои босые, в кандалах, ноги. Даже со стороны было видно, что тело негодяя содрогается от страха.

Как только был прочитан манифест, площадь снова загудела, духовник явно поспешно что-то сказал Пугачёву и Перфильеву, затем и он, и дырки сошли с эшафота, и Емелька, часто, чуть ли не до земли кланяясь, снова стал кричать хриплым голосом:

— Эй, православный народ, прости мои грехи!.. Эй, православный народ, прости мои грехи!..

Да, в нескончаемом гуле площадной ругани и проклятий Павел Цицианов с трудом разбирал слова разбойника:

— Прости мои грехи, православный народ!..

Стоящий на площадке напротив эшафота экзекутор наконец подал знак, и оба палача, с явным нетерпением ожидавшие этого знака, набросились на Пугачёва, сорвали с него белоснежный тулуп, с тем же остервенением разорвали ворот его малинового кафтана.

На площадь вновь опустилась тишина, и в этой ужасающей тишине Пугачёв присел перед плахой, вернее, его тело, словно растаяв, превратившись в жидкую массу, разлилось по эшафоту. Один из палачей, схватив за волосы Пугачева, подтянул его голову к плахе, второй поднял над собой топор, что держал в правой руке, и в тот же миг голова Емельки скатилась на пол эшафота. Всё тот же палач, словно опасаясь, что напарник опередит его, наклонился, схватив левой рукой за волосы, высоко поднял голову мерзавца и, явно гордясь своим умением, обошёл вокруг эшафот, демонстрируя голову окружившей со всех сторон Лобное место толпе.

Люди, в жажде увидеть голову Емельки, напирая, стремились пробраться поближе к эшафоту, создавшие руками цепь солдаты еле сдерживали возбуждённую массу.

Россия обещала за эту жалкую голову тридцать тысяч золотых рублей, теперь она не стоила и ломаного гроша.

Палач, держа в правой руке окровавленный топор, левой же высоко поднимая голову Емельки, с той же гордостью сделал ещё несколько кругов по эшафоту, стекающая с головы кровь обагрила его ладонь. Наконец палач положил отрубленную голову на плаху, теперь сочившаяся из горла кровь уже про-

ливалась на пол эшафота. В этот момент второй палач, тоже, видимо, желая продемонстрировать свою значимость, схватил за волосы голову Емельки и, подняв брошенную в угол пику, воткнул её в рыхлое горло казнённого и, подняв, словно зная, стал крутить над собой.

Но желание толпы увидеть отрезанную голову сменилось яростным недовольством: женщины и мужчины, старики и парни стали освистывать палачей, ругая их самым отборным матом, ибо по приговору палачи поначалу должны были отрубить руки и ноги Пугачёву и только после этого отделить топором голову от тела. Не увидев расчленение живого Пугачёва, толпа пришла в неистовство:

— Палачам всучили взятку!..

— Палачи — воры!..

— Палачи получили взятку!..

И только после того как палачи, подтянув труп Пугачёва к плахе, усердно и добросовестно разрубили его останки на четыре части, по толпе прошёл гул удовлетворения.

Казнь Пугачёва была победой дворянства, она должна была стать его праздником, торжеством, но отчего на Болотной происходило нечто противоположное? Отчего казнь люмпена Емельки превратилась в праздник самих люмпенов?

Палач крутил над своей головой нанизанную на железную пику голову Емельки, и Павлу Цицианову казалось, что капли крови, всё ещё стекающие с горла казнённого, сейчас брызнут и на него — на его глаза, щёки, губы, и юный офицер, которого мутило и по телу которого бежали мурашки, более не стал дожидаться казни Перфильева, воля Всевышнего и указ августейшей императрицы и об этом мерзавце конечно же будут выполнены — повернувшись, стремительно расталкивая людей, князь наконец смог выбраться из зловонной толпы.

По мере того как он скорыми шагами отдалялся от толпы, воздух очищался, стали улетучиваться тошнотворные запахи корчмы — сивухи, вина, чеснока, дешёвой колбасы, и в это время неожиданно Павлу Цицианову вспомнились увлекательные и пугающие рассказы Бабуа Арчила, и, как прежде, в том далёком детстве, перед его глазами встали две бледные, глядящие друг на друга головы — женщины и мужчины. Эти головы были рядом, в большой заспиритованной колбе, сам он их не видел, но зримо представлял, они пугали, приводили в трепетный ужас его детское воображение. Именно тогда, в первый и последний раз, Елизавета Михайловна — мать Павла — пожарила Бабуа Арчила:

— Дядя Арчил, прошу вас, не рассказывайте при ребёнке подобные страшилки.

Но всегда приветливый, улыбчивый Бабуа Арчил нисколько не обиделся на Елизавету Михайловну:

— Не беда, Лиза! Пусть уже сейчас познаёт жизнь, — сказал он. — Пусть знает, что может происходить на свете!

Полвека назад, в 1725 году — в то время хозяйкой трона Российской Империи была Екатерина I — дед Павла, грузинский князь Паата Цицианов вместе с Вахтангом VI покинул Тифлис, отправился в изгнание в Россию. В то время друг детства Пааты, Арчил, был одним из тех, что сопровождал их, после переезда в Россию Паата Цицианов стал Павлом Цициановым, был принят на военную службу и погиб вблизи Вильманстрада, во время Русско-шведской войны. Но и после гибели друга Бабуа Арчил оставался самым близким, доверенным человеком семьи Цициановых. Арчил не был женат, жил один, но поговаривали, что в своё время он пользовался известной благосклонностью московских прелестниц, и по тем же самым пересудам, среди детей тех ныне постаревших московских красавиц было немало смуглых отпрысков и самого Бабуа.

Лишь Бабуа Арчил называл Павла грузинским именем Паата и с детских лет говорил ему:

— Тебя назвали в честь деда. Поэтому ты не Павел, а Паата. И меня называй дед — Бабуа Арчил.

По тогдашней дворянской традиции, Павел с семи лет был записан на военную службу и уже являлся капралом знаменитого Преображенского полка.

С явной любовью и гордостью в глазах, глядя на маленького капрала, Бабуа Арчил говорил:

— Я знаю, Паата, ты станешь большим генералом! Тогда я забудусь тебе, но не беда, я стану глядеть на тебя оттуда — сверху.

Столь убеждённые слова Бабуа Арчила: «Ты станешь большим генералом» — наполняли душу семилетнего Павла гордостью, он уже мнил себя настоящим генералом, но одновременно удивлённо рассматривал потолок их московского дома.

— Сверху? — указывал он пальцем на потолок. — Отсюда?

— Нет, — смеялся Бабуа. — С неба. В то время я буду на небе.

Беседы с Бабуа Арчилом были куда более запоминающиеся и интересные, нежели прочитанные маленьким Павлом книги, они вели его в таинственный мир, и в том таинственном мире оживали пересказанные Бабуа Арчилом события. Дед Арчил и вправду словно находился на небе, среди звёзд и планет, Павел и сам входил в калейдоскоп происшествий того таинственного мира, становился их участником, порой тот таинственный, загадочный мир превращался в мир устрашающий.

И история, рассказанная в тот день Бабуа Арчилом, была событием того пугающего мира, и несколько ночей Павел со страха и ужаса от услышан-

ного не мог сомкнуть глаз. Ему даже хотелось вскочить с постели, побежать в спальню своей гувернантки, мадам Женон, обняв её, заплакать, но этого он не мог себе позволить — генерал не должен ничего бояться! — заставляя себя оставаться наедине с этим устрашающим миром.

В тот самый день, когда Елизавета Михайловна в первый и последний раз одёрнула Бабуа Арчила, он, попивая чай, густо заваренный в знак к нему особого расположения, рассказывал:

— Знаете, в Петербурге в кунсткамере, в колбе содержатся две головы. Одна из них принадлежит мужчине, другая — женщине. Они оба были преступниками, им обоим отрубили головы. Эти головы хранятся в заспиртованной колбе, чтобы грядущие поколения знали, какие в России встречались преступники, так как в будущем на свете не станет преступников. Их глаза в колбе раскрыты, они глядят друг на друга, рассказывают, что по ночам в темноте слышны их голоса, они переговариваются меж собой.

Бабуа Арчил, рассказывая всё это, покручивая кончики всегдашних длинных усов, смеялся, и его смех казался Павлу столь же ужасным, как и сам рассказ, — как можно смеяться над подобным?

Эти две головы, хранившиеся в заспиртованной колбе, ввергли Павла в такое волнение, даже истерику, что ему словно стали доноситься голоса переговаривающихся голов; Павел никоим образом не хотел слышать их слов, ему казалось, что их речи страшней отрубленных голов.

И только став тринадцатилетним подростком, Павел узнал, что рассказ Бабуа Арчила совсем не миф, не выдумка: на самом деле, в кунсткамере Российской Академии наук, в заспиртованной колбе хранятся две головы: одна из них принадлежит брату Анны Монс<sup>1</sup> — Виллиму Монсу — по слухам, одному из фаворитов Екатерины I, казнённому за взяточничество, вторая — Марии Гамильтон, камерфрейлине той же Екатерины I, которая, так же по слухам, была возлюбленной Петра Первого и обезглавлена за то, что задушила своего незаконнорождённого ребёнка.

А однажды, придя к ним, всегда улыбчивый, не оставляющий своих солёных шуток дед Арчил, как никогда прежде, был предельно серьёзен.

— Паата, — сказал он, — повторяй: «Хмерти».

— Что? — спросил Павел.

— Хмерти!

— Что означает это слово?

— Ты повторяй: Хмерти!

Павел повторил:

<sup>1</sup> Немка по происхождению, Анна Монс более десяти лет была возлюбленной Петра I.

— Хмерти.

Бабуа Арчил, как и мадам Тереза — преподавательница музыки Павла, внимательно слушали его.

— Скажи еще раз: Хмерти!

— Хмерти! — сказал Павел.

— Произноси внятней! Хмерти!

На сей раз Павел громко, как говорится, от души, выпалил:

— Хмерти!

— Вот так! — одобрительно кивнул Бабуа Арчил. — Помни, Паата, «Хмерти» на грузинском означает «Создатель», «Бог». Ты должен произносить имя Создателя так, как его произносили твои предки. Слышишь, Паата: «Хмерти!»

Но слово «Хмерти» совсем не нравилось девятилетнему Павлу, оно было не только чуждо, оно казалось смешным — то есть как это «Хмерти»? — и через какое-то время мальчик совершенно забыл это слово.

Дед Арчил был единственным человеком, посещавшим их дом, что говорил на русском языке с грузинским акцентом; он рассказывал о Тифлисе, его базарах, о кинто, о замечательных харчевнях квартала Шайтан-базар, где проживали азербайджанцы, исполнявшей в них прекрасной музыке, о реке Куре, перерезающей Тифлис, о горах и садах Грузии, и эти рассказы сообщали семье Цициановых о теперь уже совсем далёком и столь же сказочном мире.

Бабуа Арчил рассказывал, что одно из самых вкусных блюд в Тифлисе называется «Келле-пача» и готовили его именно на Шайтан-базаре. «Келле» — означало голову овцы, «пача» — конечности. Посещавшие Тифлис иностранцы — русские, англичане, французы — досыта наедались этого блюда, затем, выпив холодной воды, страдали поносом.

Рассказывая всё это, Бабуа Арчил заливался смехом, но перед глазами впечатлительного Павла возникала окровавленная голова зарезанной овцы, и его охватывало удивление: как можно есть эту окровавленную голову, и разве можно смеяться, как Бабуа, рассказывая это?

В тот холодный зимний день 10 января 1775 года, удаляясь быстрыми шагами от Лобного места, молодой офицер Павел Цицианов подумал о том, что для человека без разницы, голова ли это человеческого существа или овцы. Но в тот же миг сия примитивная мысль не понравилась ему самому: Пугачёв не был человеком, он совершил предательство по отношению к государству, Её Величеству, и именно так должна быть отрублена голова Емельки, воткнута на пику, более того, эта голова была достойна большей пытки.

Павел поразился своей жестокости, но по мере того как он шагал, утопая в снегу, это чувство пора-

жённости прошло, растаяло, словно вокруг был не зимний, а жаркий летний день..

Позже Павел Цицианов узнал, что Екатерина Великая, как всегда, проявила человеколюбие, втайне приказала, чтобы прежде были отрублены головы Емельки Пугачёва и разбойника Афанасия Перфильева и только потом четвертованы тела.

Об этом после казни негодяев рассказал своим приближённым московский губернатор — князь Михаил Никитич Волконский<sup>1</sup>, и признание в течение дня разнеслось по всей Москве.

Услышав это, Бабуа Арчил сказал:

— Волконский — человек осторожный... И эту информацию он распространяет по поручению самой Екатерины... Пусть все видят, насколько Её Величество — мягкосердечна...

Семья Цициановых, и в первую очередь молодой офицер Павел, не любила подобных крамольных разговоров, которые порой вёл Бабуа Арчил, но тот не обращал на это внимания, говорил первое, что приходило на ум.

— Ну и дела творятся на свете! Михаил Никитич — один из тех, кто отправил на тот свет и настоящего Петра Третьего и лже-Петра, — это тоже говорил Бабуа Арчил.

Четвертованное, без головы, тело Пугачёва возили по всем улицам, а голову, теперь уже водружённую не на пику палача, а на кол, тоже несколько дней таскали по городу, а затем, собрав вместе останки, сожгли, развеяв пепел над Москвой-рекой.

Одиннадцатого марта всё того же 1775 года императрица подписала особый манифест: предательство Пугачёва «должно навечно быть стёрто с памяти и никогда не упоминаться». Пугачёв был арестован на хуторе Яицкого городка, на берегу реки Яик, и, чтобы навсегда предать забвению эти названия, она приказала переименовать городок в Уральск, а реку — в Урал.

Всякий раз, когда Бабуа Арчила спрашивали о возрасте, он отвечал «семьдесят девять», словно боялся перехода в восьмидесятилетие, и через четыре месяца после казни разбойника Емельки, в середине мая, в один из редких погожих солнечных московских дней, сидя в кресле у окна своего дома, глядя на улицу, он спокойно испустил дух.

Дом, в котором проживал Бабуа Арчил, был по соседству с Цициановыми, и как только Елизавета Михайловна и Павел услышали эту горестную весть, они тотчас поспешили к нему и обнаружили деда сидящим в кресле у окна. Павлу подумалось, что Бабуа Арчил в эти последние свои мгновения глядел не на московскую улицу, а на горы Кавказа.

<sup>1</sup> Князь М. Н. Волконский — один из организаторов дворцового переворота, убийства Петра III, в результате чего императрицей была объявлена Екатерина II.

\* \* \*

*...Поначалу ЕМУ показалось, что одетый в форму курсанта, в том видимом измерении, — это сам Элизбар Эристов, юношеские годы подполковника.*

*Позже ОН понял, что юноша — молодой курсант — не подполковник, а его сын.*

*А та красивая блондинка, ещё не растерявшая свежести молодости, — вдова подполковника Эристова и мать того юноши.*

*Анна, обхватив руками локти сына, срывающимся от волнения голосом говорила: «Дай слово!.. Дай мне слово, что ты никогда не отправишься на Кавказ! Дай мне слово! Поклонись, что твоя нога никогда не ступит на землю Кавказа!.. Поклонись!..»*

## 5

Девятого февраля 1806 года по христианскому и 20 зульгада 1220 года по магометанскому летоисчислению, в безветренный, безвьюжный, спокойный, но режущий, будто кинжал, морозный вечер крупные хлопья снега накрыли белым полотном лагерь, разбитый Аббасом Мирзой в степи Харамы, на северном берегу Аракса. Ядрёный вечерний мороз и окутавшая всё вокруг белизна словно говорили об изначальном спокойствии, вековой безопасности степи Харамы, и конечно же никому стороннему и в голову не могло прийти, что в еле различавшихся друг от друга армейских шатрах в этой белизне писалась будущая судьба сотен и сотен людей — русских, персов, азербайджанцев, грузин, лезгин, аварцев, кумыков, ведущих войну не на жизнь, а на смерть на Южном Кавказе: кто-то будет убит, кто-то уцелеет в шаге от пропасти, кто-то на всю жизнь останется калекой, кто-то на пороге смерти станет проклинать русских солдат, а другие — сарбазов Каджаров, кто-то в тот последний миг своей жизни, истекая кровью, обрушит проклятия на Александра I, а кто-то — с той же ненавистью — на Фатали-шаха.

Аббас Мирза в своём шатре, устланном коврами, паласами, заткнутом кое-где кошмой, чтобы не проникла стужа, обсуждал со своими приближёнными то, что русский Наместник — генерал Цицианов двинул свои войска на Баку, и Наследник<sup>1</sup> нисколько не сомневался, что русские легко подчинят себе Бакинское ханство. У Гусейнкули-хана не было ни серьёзных сил, ни достаточного, как у покойного Джавад-хана, мужества, и Аббас Мирза был совершенно убеждён, что после того, как уплывёт и Ба-

кинское ханство, выбить русские войска из Северного Азербайджана станет делом сверхсложным.

А дела и вправду складывались непросто: Англия и Франция воевали друг с другом, обе противоборствующие стороны старались перетянуть на свою сторону Баба-хана, обещали оружие и снаряжение, на деле ничем существенным не помогли, присланное несколько лет назад оружие куда-то исчезло, устарело или было выведено из строя, и Аббас Мирза понимал, что теперь, когда Бонапарт превратил Европу в пороховой склад, ни от англичан, ни от французов серьёзной помощи, чтобы сразаться с русскими, не дожидаться.

Разумеется, и англичане, и Бонапарт хотели руками Баба-хана ослабить Россию, пресечь активность России на южном направлении — это яснее ясного, но Баба-хан, вне зависимости от желаний англичан и французов, так же был вынужден противостоять России, ибо её южные амбиции касались, угрожали непосредственно интересам Каджаров. И подобно тому, как Европа хотела привлечь Каджаров к противостоянию с Россией, так и Фатали-шах, и Наследник хотели использовать европейцев в этом противостоянии, но в результате Цицианов вслед за Грузией покорил самые большие и авторитетные ханства Азербайджана — Карабах и Гянджу, ушло и Ширванское ханство, и было ясно как божий день, что не сегодня-завтра падёт и Бакинское.

И в это время в шатёр ворвался евнух Абдул Рахман. Не обращая ни на кого внимания, энергичными шагами, так не соответствующими его рыхлому, мясистому телу, подскочил к Аббас Мирзе. Подобной прерогативой — врываться без доклада к Фатали-шаху и Наследнику и что-то нашёптывать им — обладал только скопец. И на сей раз он, приблизив свои толстые губы к уху принца, что-то торопливо прошептал ему.

По тому, как мгновенно изменился в лице Аббас Мирза, приближённые поняли, что произошло нечто сверхважное. Аббас Мирза, какое-то время глядя в зелёно-жёлтые, напоминающие кошачьи, глаза евнуха Абдул Рахмана, молчал, затем, переведя взгляд на собравшихся, сам положил конец этой напряжённой тишине:

— Вчера утром Гусейнкули-хан... — Аббас Мирза на мгновение умолк, будто сам не верил словам, что сейчас произнесёт... — организовал покушение на прибывшего на встречу с ним Цицианова... — затем, помолчав еще какое-то время, произнёс: — Слава Аллаху! — и снова, после напряжённого молчания, добавил: — Но надо поглядеть, чем всё это кончится?!

И тут же Аббасу Мирзе подумалось, что Гусейнкули-хан изначально был человеком двуличным и нечестным: то лебезил перед Баба-ханом, то заигры-

<sup>1</sup> Фатали-шах Каджар официально назначил своего сына Аббаса Мирзу наследником.

вал с Наместником, но что удивляться: честь и политика никак не сопрягаются друг с другом, это Аббас Мирза осознал с тех самых юных подростковых лет, когда стал видеть себя после отца мужественным — да, мужественным! — полководцем и справедливым шахиншахом.

## 6

Небесный свод был полон ярко сияющих звёзд. В ту морозную февральскую ночь 1806 года подобное предрассветное, усеянное звёздами небо было в этих местах весьма редким явлением.

Группа сопровождения вместе с немим Лал Кафароглу ехала впереди, а Молла Музаффар и Махмудбек — чуть поодаль; уставшие за ночь кони иногда останавливались, оглядывались по сторонам, словно раздумывая, много ли осталось до конца пути.

Гусейнкули-хан, чьи нервы после вчерашнего тяжёлого заседания дивана были на пределе, хотел было поручить отрезать голову Цицианова самому Махмуд-беку, но у него не повернулся язык, и, как только завершилось заседание, он тотчас удалился в свои покои и, в отличие от всегдашнего, заперевишись, остался один. Заправленная нефтью<sup>1</sup> лампа в опочивальне горела до утра, и чем там занимался Гусейнкули-хан, было известно только Аллаху и ему самому, но утром, когда он вышел из комнаты, это был будто совсем иной человек. Кроткий, приветливый, улыбочивый, он внезапно изменил своё решение, счёл, что не стоит превращать племянника, Махмуд-бека, в мясника, и, не доверяя никому другому, поручил отрезать голову Наместника Лал Кафароглу.

Известный бакинский мясник Баларза вместе со своим подмастерьем, толкая впереди себя большую колоду для рубки мяса, выкатили её с начала базара до самых Двойных крепостных ворот, а охранники приволокли по земле труп Цицианова и подтянули его головой к колоде. Мясник Баларза, всю жизнь занимавшийся тем, что разделял туши рогатого скота и овец, вместе со своим подмастерьем стоял в стороне, увидев, что его ученик с напряжённым интересом смотрит в сторону колоды, крикнул:

— Эй ты, отвернись, не гляди туда! — и вместе с оставшимся недовольным подмастерьем отвернулся и сам, чтобы не видеть, как отрубают человеческую голову: Наместник был гяуром или ещё кем-то, но как-никак — человек.

<sup>1</sup> На территории Азербайджана с древнейших времен добывали так называемую белую (лёгкую) нефть, не нуждающуюся в перегонке, используемую как топливо и осветительный материал.

Лал Кафароглу схватил Наместника за волосы, так, чтобы выпрямилась шея, и, подняв секач, что держал в правой руке, одним ударом отсёк голову князя Цицианова от тела.

Голову Наместника сунули в мешок, а останки погрузили в запряжённую двумя волами арбу, и, после того, как арба тронулась, Баларза схватил своего подмастерье за локоть.

— Ты куда? — спросил он, видя, что тот хочет двинуться в сторону колоды.

— Надо же забрать колоду.

— Куда забрать? — сказал Баларза с явным огорчением. — Разве стану я теперь разделять на ней мясо и продавать людям?

И крупный, толстый мясник Баларза, чуть покачиваясь из стороны в сторону, стал удаляться от Двойных крепостных ворот. Ученик поплёлся за ним, как ягнёнок за овцой.

Баларза лишь один раз придержал шаг, глянул назад, на колоду, не один год служившую ему, и сказал, будто сам себе:

— Жаль её! Отличная была колода! Пропала!..

Через много-много лет, доживший до девяносталетия тот самый подмастерье иногда вспоминал зимнее утро, когда у крепостных ворот была отрезана голова Цицианова, и слова огорчённого мясника Баларзы: «Жаль её!.. Отличная была колода, пропала!..»

А колода так и осталась лежать у крепостных ворот, пока в один из зимних дней откуда-то не прилетела чёрная ворона и, сев на нее, не стала расклёвывать стусившуюся, стёкшую на колоду кровь...

...Махмуд-бек в сопровождении своего небольшого, в четырнадцать человек, отряда из особо доверенных, удалых всадников в тот же вечер, не теряя времени, вместе с Молла Музаффаром и Лал Кафароглу отправился в путь в Тегеран.

До Сальян оставалось совсем немного; кони Молла Музаффара и Махмуд-бека шли рядом.

Всю дорогу Молла Музаффар часто закрывал глаза, моля в душе Аллаха, чтобы тот простил ему его грех, но, открывая глаза, снова непроизвольно глядел на мешок, притороченный к седлу коня Махмуд-бека, и ему казалось, что он сам отрубил ту Голову, что покачивалась в мешке. Эта мысль, это чувство пронзали, заставляли содрогаться Молла Музаффара, который за всю свою жизнь не отрезал голову даже курице. Он смежал веки, сжимал оставшиеся здоровыми зубы и снова принимался за молитву, хотя уже уверовал, что его мольба не будет услышана, но другого пути не было: Молла Музаффар считал себя истинно верующим человеком и продолжал молить о прощении.

У него не было ни крохи сомнения, что хозяин этой Головы сейчас пребывает в аду. «Аллах — тот,



кто быстро сводит счёты»<sup>1</sup>, — учит Коран, но эта убежденность несколько не уменьшала охватившее его всего чувство вины: с того момента, когда он предложил отрезать голову русского Наместника, это чувство не покидало его. Ни горечь вины, ни холод предрассветного зимнего утра, сковавший его тело, не действовали на Молла Музаффар: он не ощущал стужи, только слезились глаза, и всякий раз, когда, прикрыв веки, он молил Аллаха о прощении, по его щекам стекали две слезинки, и Музаффару казалось, что эти слёзы не от мороза, а от чувства совершённого греха.

На том диване, куда он был приглашён самим Гусейнкули-ханом, Музаффар видел в создавшемся для Баку тяжёлом положении единственный выход в том, что и предложил: отрезать голову Наместника и отправить её Фатали-шаху. Быть может, сердца одного из этих чудищ — русских или Каджаров — хоть немного остынут, и один из них, пусть временно, станет относиться к Бакинскому ханству дружелюбней. Не забота о ханстве или каком-то служении династии и даже личности бакинского хана руководили Молла Музаффаром, — речь шла о чёрных тучах, нависших над Баку, о судьбе жителей Апшерона. Но предложение отрезать, отделить голову от тела и, стало быть, предать земле безглавым тело человека, ушедшего в мир справедливости и там держащего ответ пред Всевышним за свои деяния, тоже было греховно и никак не красило Молла Музаффара.

Молла Музаффар всегда высоко ценил «Тагву», вобравшую в себя основные запреты, нравственные ценности, постулаты Священного Корана, и уже с самой юности избегал поступков, что могли разгневать Создателя. И конечно же очень страдал от того, что именно он смог предложить подобное. Молла Музаффар был уверен и в том, что Всевышний никак не сможет простить грех сего лютого предложения. Смешно, советуя предать земле безглавое тело, надеяться, что Всевышний закроет на это глаза. Молла Музаффар был полностью убеждён, что, предложив подобное, он сбился с предначертанного Аллахом пути, и его охватывал озноб — не от стужи Муганской степи, по которой они неслись на конях в это зимнее утро, а именно от этой мысли.

Убеждённый, что не будет прощён, Молла Музаффар продолжал тем не менее молить Аллаха о прощении.

Молла Музаффар уже перешагнул семидесятипятилетний рубеж и, считая неподобающим жить более шестидесяти трёх лет, отпущенных и самому Пророку, был личностью, известной не только в Ба-

кинском, но и в соседних, Кубинском и Ширванском, ханствах, воспринимался людьми как истинно праведный человек в Ленкоранском, Карабахском, Гянджинском и Шекинском ханствах. И, бывало, даже заносчивые отпрыски ханских династий, что бахвалились: «Я не ем плова, боясь измазать усы в масле!», то есть «не размениваюсь на пустячное!», не считали для себя зазорным прибыть перед свадьбой в Баку, чтобы именно Молла Музаффар заключил их брачный договор. И само участие, по приглашению именитых беков подобно Гаджи Мухтару, в случавшихся траурных церемониях, ведение им этих печальных процессий приносили убитым горем родным усопших не только утешение, но и дополнительную славу и честь.

Конечно, Музаффар всей душой верил в единоначалие Аллаха и, в то же время, проводя всю свою жизнь в молитвах, плотью и кровью был связан с Апшероном, в земле которого покоились его предки. В его сознании служение авторитетом и советами Бакинскому ханству было богоугодным делом, это радовало дух и память ушедших, чьи кости слились с землёй Апшерона. И у него было такое ощущение, что он нёс на своих плечах в последний путь всех усопших за долгие века на земле Апшерона. И в эти далеко не простые времена безопасность и благополучие бакинцев для Молла Музаффара были важнее всего, и не было дня, чтобы он не молился и не творил намаз, прося у Всевышнего заступничества...

Молла открыл глаза и, подняв голову, глянул на небо: да, на фоне подобной отдалённости и от земли, и друг от друга звёзд, которых было не счесть, перед лицом такого величия Вселенной, прегрешение одного человека неожиданно показалось ему совершенной малостью. Но в тот же миг он подумал, что могущество Всевышнего, создавшего всё — от муравья до бесконечной Вселенной, — настолько бесконечно, что позволяет воздать каждому за его деяния.

Аллах — всемогущ, и если не дал бы согласия, то он, Молла Музаффар, никогда бы не озвучил своё предложение — Молла вздрогнул от этой мысли: с одной стороны — ты молишь Аллаха, с другой — оправдываешь себя, значит, ты — Молла Музаффар — в числе тех, кто, совершив дурное, хочет призвать в союзники самого Создателя? Ты совершил такой грех, которому нет отпущения, изначально это такое падение, что чёрной чертой перечёркивает все твои прежние благодеяния, поэтому ты и не жди от Аллаха прощения!

И в этот миг Молла Музаффару почудилось, что кто-то глядит на них, кто-то следит за ними, это Молла ощутил почти физически, он даже выпрямился в седле, огляделся: в такое время можно ожи-

<sup>1</sup> 4-й стих суры «Аль-Маида» (Скатерть) Корана.

дать всего чего угодно — предательство, продажность, алчность, словно затаившись, поджидали их и, как только пробил час, вышли наружу из засады? И Молла Музаффар иногда подумывал, что нынешнее время — именно то, когда Всемогуший подвергает испытанию своих слуг.

Несмотря на годы, Молла Музаффар в общем-то был человеком здоровым, Аллах сохранил ему остроту зрения, что была и пятьдесят лет назад. И Музаффар внимательно огляделся вокруг: в эту звёздно-лунную ночь в Муганской степи, которой, казалось, никогда не будет конца, кроме них не было ни единой живой души, но беспокойство не отпускало, он почти кожей ощущал на себе какие-то чужие взгляды — на сей раз ему показалось, что кто-то глядит на них сверху, и Музаффар, подняв голову, снова вперился в небо. В эту звёздно-лунную, тихую зимнюю ночь свод неба был чист — без единого облачка; кто, как не Аллах, в этой ясности и чистоте мог зреть с неба?

Прошло ещё какое-то время, и Молла Музаффару показалось, что и кони, что-то почувствовав, встревожились — навестили уши, фыркали, перекатывали удила во рту, и он посмотрел на мешок, притороченный к седлу коня едущего рядом Махмуд-бека.

Голова русского Наместника, известного своей жестокостью и деспотичностью всему Азербайджану, могла сорваться с седла, стать в этой чужой Муганской степи, вдали от родной обители, пищей для птиц и зверей, всякой живности. И ввергло её в нынешнее состояние не предложение Молла Музаффара, а воля Аллаха. «Что с тобой, Молла? Прости меня, Господи! — и сейчас ты снова перекладываешь свою вину на Всевышнего?» Испугавшись собственных мыслей, он повторно прошептал: «Прости меня, Господи!»

Хозяин Головы сейчас горит в огненной геенне — в этом не могло быть сомнения, это результат твоих злодеяний, ведь, оставив свой дом, свой очаг, свой кров, ты являешься, проливаешь кровь на земле другого, осыпаешь снарядами города и сёла, лишаешь людей — слабых и сирых — куска хлеба и не в ответе за содеянное? Это же невозможно, ведь есть на небе НЕКТО, кто видит и оценивает всё, — мир покоится не на произволе.

Кони шли рысью, и Молла Музаффар, поглядывая на мешок, проносил все эти мысли через себя, но в то же время и беспокойство не оставляло его — какие-то взгляды сопровождали их — и беспокойство не исчезало, Молла никак не мог подавить в себе это чувство: словно они ехали, преследуемые чьими-то незримыми взглядами.

И вдруг, совершенно неожиданно, его охватило страстное желание: ему захотелось услышать пение

азана<sup>1</sup> служителем, обладающим очистительным голосом, далёким от всякой греховности, будто весь он, Молла Музаффар, погружён в какие-то нечистоты, а этот азан смоет, очистит его.

Ещё не рассвело, и на сей раз Молла Музаффар посмотрел не на мешок, притороченный к седлу коня Махмуд-бека, а на него самого. Молчавший всю дорогу Махмуд-бек наконец, тоже отведя взгляд от какой-то далёкой неведомой точки, посмотрел на Молла Музаффара.

— Не устали? — уважительно спросил он.

— Нет, не беспокоюсь, бек, — откликнулся Молла Музаффар.

— Вам не холодно? — снова задал вопрос Махмуд-бек.

— Нет, всё в порядке, — ответил Молла Музаффар и, наверное, чтобы избавиться от докучливых мыслей, спросил: — А как ты?

Казалось, всё существо Махмуд-бека было переполнено, и этот вопрос позволил ему выплеснуть всё, что накопилось у него на душе:

— Дал бы Аллах мне такой меч, чтоб я одним ударом расправился со всеми — русскими, французами, англичанами в Европе и иными на свете. Да и с персами!.. С арабами!.. И эфиопами!..

Молла Музаффару были известны убеждения и бескомпромиссность этого молодого человека, но, несмотря на это, он непроизвольно поднял голову, глянул на небо. Перед величием Вселенной, ярко освещённой мириадами звёзд в этот холодный предзвездный час, слова Махмуд-бека показались ему намного более незрелыми и пустыми, чем прежде.

Скосив слезящиеся от холода глаза на Махмуд-бека, он сказал:

— Значит, ты хочешь предать мечу всех людей на свете, чтобы на земле оставались одни турки?

— Да! — с той же бесшабашностью выпалил Махмуд-бек и повторил: — Да, уважаемый, да! Ибо весь мир — враги нам!

Слабая улыбка скользнула по лицу Молла Музаффара, и он спросил:

— Но разве сами турки дружны меж собой? Когда ты предашь мечу всю массу людей на земле, разве турки больше не станут уничтожать друг друга?

Махмуд-бек посмотрел на своего спутника и, ничего не ответив, отвел от него взгляд.

После этого они ещё какое-то время молча ехали рысью, молчание нарушил сам Молла Музаффар:

— Аллах никогда не вручит тебе подобный меч, Махмуд-бек. Всех, кого ты хочешь уничтожить, сам Всевышний обратил в себе подобных. И у тебя нет

<sup>1</sup> Азан — призыв служителя с минарета мечети к богослужению, намазу.

таких полномочий, чтобы стереть их с лица земли. Эти рассуждения — большой грех, сын мой... Святой Имам Али ибн Абуталиб говорил: «Значимость чело- века равна его прекрасным деяниям. Пролитая кровь, ты ничего не добьёшься, только будешь по- срамлён...»

И Молла Музаффар произнёс один из стихов Священного Корана, который знал наизусть: «Тот, кто безгрешен, будет храним милосердием Аллаха и навсегда останется в раю!»

Махмуд-бек снова ничего не ответил, казалось, он даже не слышал, что говорил Музаффар, сказан- ные моллой прежде слова: «А что, турки больше не станут уничтожать друг друга?» — застряли у него в мозгу, бились в висках, застилали пеленой глаза.

Почти достигший тридцатилетия Махмуд-бек посвятил свою жизнь изучению истории тюрков, стремился всем существом следовать её назидатель- ным урокам. На Апшероне и стар, и млад придержи- вались убеждения, что Гусейнкули-хан посадит по- сле себя на трон не собственного сына, а племянни- ка, что славился мужеством и отвагой, был с наро- дом в радости и беде. Но сам Махмуд-бек не только не мечтал о заветном для иных ханском престоле, больше того, даже не помышлял об этом, так как для него, в первую очередь, не было иной цели, чем со- здание общего тюркского государства, единение двух тюркских колен — Османов и Каджаров, — пре- кращение их нескончаемой вражды, больших и ма- лых войн.

Ирония Моллы Музаффара, едущего рядом в этот предрассветный холодный зимний день, по- пала точно в цель: «Чья была кровь, что лилась с двух сторон во время сражения при Чалдыране<sup>1</sup>? Тюрки! А кто при этом выгадал — Европа! Османы при Чалдыране нанесли поражение Шаху Исмаи- лу, а на деле только ослабили самих себя. Те триста орудий Султана Селима, что были нацелены при Чалдыране на Сефевидов, могли разнести всю Ев- ропу. Турки добрались до самой Вены, и, если по- сле сражения с Сефевидами при Чалдыране они не отвели бы свои войска из пуповины Европы, сей- час история писалась бы совершенно иначе, вся Европа оказалась бы в руках тюрков и сейчас не бы- ло бы места ни английскому коварству, ни фран- цузской пронырливости. И посмела бы после этого русская императрица Екатерина прибрать и присо- единить к себе Крым? Или же отнять у Султана Се- лима весь северный берег Чёрного моря и выйти к предгорьям Кавказа? Европейские короны спасли не европейцы, а Сефевиды. Разве хан Тохтамыш не

был тюрком? Захватил, сжёг дотла Москву<sup>2</sup>, а что предпринял позже? Вместо того, чтобы, уни- чтожив, стереть русских с лица земли, ввязался в войну с таким же, как он сам, тюрком Амиром Ти- муром.

Но разве это единственная чёрная страница в истории тюрков? Поэтому ныне ситуация и приняла такой оборот. Османы вынуждены, боясь потерять оставшиеся земли, приняться за реформы; если и остальные земли будут потеряны, то вчерашние подданные превратят тюрков в свою прислугу.

Каджары надеются получить от Европы оружие и снаряжение, иначе судьба их династии завершится господством русских, и Махмуд-бек ещё раз поду- мал, что всё это — результат того, что турки разоб- шены, отчуждены, сражаются друг с другом.

Три года тому назад Махмуд-бек вместе с не- сколькими молодыми людьми, которых считал идейными друзьями, отправился в Стамбул — он хо- тел разъяснить ситуацию, призвать османских тю- рок к единству, мечтал, чтобы Османы возглавили это единение, ждал помощи от них, чтобы защитить Азербайджан от русских, но Султан Селим даже не принял его.

Но чего было ждать, если Султан не чистый тю- рок, если его мать — дочь европейского гяура<sup>3</sup>? Тю- рок должен быть чистокровным, иначе он не станет служить тюркам. Речь идёт о великом служении, о могущественном тюркском государстве, таком госу- дарстве, где все остальные народы — русские, англи- чане, французы, персы, арабы, эфиопы — подчиня- лись бы тюркам.

Хотя разве Амир Тимур не был чистым тюрком? Что он сотворил с Баязитом, даже добился, чтобы пленённого султана привезли к нему в железной клетке<sup>4</sup>. А кем был сам Султан Баязит? Тюрки! Разве Узун Гасан, заключивший союз с Венецией<sup>5</sup>, не был настоящим тюрком? Борясь с османами, воспользо- вался помощью Иоганна<sup>6</sup>, даже женился на его доче- ри. А тюрки Мираншах и казнивший его сына Кара

<sup>1</sup> Имеется в виду знаменитое сражение между империями Осма- нов и Сефевидов 23 августа 1514 года на Чалдыранском поле близ города Маки.

<sup>2</sup> Правитель Золотой Орды хан Тохтамыш в 1382 году захватил и сжёг дотла Москву, затем во время сражения под Тереком с Тиму- ром в 1395 году потерпел поражение. Тогда и начался упадок Золотой Орды.

<sup>3</sup> Родина матери Султана Селима — Валиды Султан Мехришах — Генуэзская республика, её настоящее имя — Агнеш.

<sup>4</sup> В 1402 году Тимур, одержав победу в войне против Османской империи, захватил в плен Султана Баязита.

<sup>5</sup> В 1472 году в войне с османами правители династии Аккоюнлу заключили союз с Венецианской республикой.

<sup>6</sup> Правитель государства Аккоюнлу Узун Гасан в войне с Султа- ном Мехметом Покорителем заключил союз с греческим импе- ратором Трабзона Иоганном Хомменем и женился на его доче- ри Феодоре. Его дочь от Феодоры — Дессичне-хатун — Алемшах Бегим (Марта) была матерью Шаха Исмаила.

Юсиф<sup>1</sup>? А кем были Ибрагим и Сеид Ахмед<sup>2</sup>, вступившие в союз с царём Константином, против того же Кара Юсифа? Настоящие турки!

Надир-шах пошёл войной на Азербайджан, сжёг дотла такой райский уголок, как Шеки, а всё потому, что Гаджи Челеби<sup>3</sup> не подчинился ему! Кем были Надир, Гаджи Челеби и все остальные? Чужаками или турками?!

Почему?

Отчего турки изничтожали друг друга?

Махмуд-бек снова отвёл глаза от какой-то далёкой неведомой точки, посмотрел на Молла Музаффар:

— Уважаемый, прошу простить меня, чуть раньше вы напомнили, что турки сами уничтожают друг друга. Разве Аллах сотворил тюрков врагами друг другу?

— Конечно же нет, — сказал Молла Музаффар. — Аллах — справедлив, он наказывает тех, кто ступил на кривую дорожку. Аллах желает, чтоб его создания испытывали друг к другу любовь, были опорой друг другу.

Махмуд-бек внимательно слушал своего спутника, помолчал какое-то время, затем сказал:

— Значит, необходимо помочь Всевышнему!

Поначалу слова Махмуд-бека в этот холодный предраассветный час прозвучали богохульно, и священнослужитель вспомнил ещё одно изречение Священного Корана: «...Мы создали вас (вашего праотца Адама) из земли, плоти, свернувшейся крови, затем принявшего определённый, целостный вид (рождённого вовремя) куска мяса (или рождённого раньше времени), чтобы явить своё могущество...»<sup>4</sup>. Что означает желание раба Божьего оказывать помощь обладателю такого могущества — не иначе как потуже приравнять себя Всевышнему, как стремление стать даже выше Его?

И в это же время Молла подумал, что Всемогуший призывает рабов Божьих к истине, справедливости, милосердию, и, если не все следуют этому завету, старание, желание направить их на путь истины не означает ли само по себе и помощь Создателю?

<sup>1</sup> В 1406 году правитель государства Аккоюнлу Кара Юсиф нанёс поражение в войне Абубакру, сыну Мираншаха, назначенного Тимуром правителем Азербайджана. Абубакр был убит. В битве с Мираншахом через два года Кара Юсиф одержал победу, Мираншах также был убит.

<sup>2</sup> Ширваншах Ибрагим I вместе с кахетинским царём Константином II и шекинским ханом Сеидом Ахмедом образовали союз против Кара Юсифа.

<sup>3</sup> В 1744 году Надир-шах совершил поход на Азербайджан и Дагестан. Шекинский хан Гаджи Челеби оказал ему яростное сопротивление у горной крепости «Гелерсен—гёрьярсен» («Придётся—увидишь»). Какое-то время Надир-шах осаждал крепость, но, так и не сумев захватить её, предал разорению город Шеки.

<sup>4</sup> Сура «Аль-Хасс», 5-й стих.

— Но только без кровопролития! — произнёс Молла и после некоторого молчания добавил: — Пусть Аллах одарит мудростью твою веру, сынок!..

Ушедший мыслями далеко, Махмуд-бек, казалось, даже не слышал слов спутника — его взгляд был устремлён вдаль, а сдвинутые на переносице брови, суровое выражение лица свидетельствовали о сотне преград, почти заставляющих впасть его в безумие изнуряющих грёз.

И Махмуд-бек вновь вспомнил свою поездку в Стамбул. Когда он вместе со своими вроде бы идейными друзьями добрался до столицы, то выяснилось, что для них, этих «друзей», было куда предпочтительней восхищаться танцем живота гречанок, арабов, эфиопок, армянок, потягивая кальян, попивая раки<sup>5</sup>, тратить всё, что было в наличности, на этих девушек, нежели приведшие их в Стамбул бессмысленные и ложные идеи. Затем, оставив Махмуд-бека одного, они пропали — уйдя кто куда, и один Аллах ведает, где они ныне обитают, Стамбул засасывает подобных, вероятно, засосав уже, проглотил...

Внезапно — почему? — Молла Музаффару вспомнился Шариф-бек — в отличие от многих духовных лиц, он относился к толмачу с уважением, считая его образованным, просвещённым человеком. И в это самое время, поразительно! — до его ушей в этой Муганской степи внезапно донёсся колокольный звон. Молла явственно слышал этот звон. Он содрогнулся — что это было? На что намекало? Что предвещало?

И Молла Музаффар снова непроизвольно посмотрел на мешок, притороченный к седлу коня Махмуд-бека, и, всё ещё ощущая на себе преследующие его безадресные взгляды, закрыл глаза, и то самое желание вновь подняло голову в его душе — быть может, впервые за всю свою долгую жизнь в этот день ему столь страстно захотелось услышать азан, призыв к молитве.

Молла снова стал про себя молить Аллаха — как-никак, Аллах может слышать то, что у тебя на сердце, и Священный Коран призывает не сомневаться в милосердии Аллаха. И ты не теряй надежды, Музаффар...

А рассвет всё не наступал.

\* \* \*

*...Скачущие по дороге всадники — это люди Гусейнкули — бакинского хана, и Он уже знал, что в том мешке ГОЛОВА, но это нисколько не сказывалось на ЕГО бесплотной, невесомой субстанции.*

<sup>5</sup> Раки — турецкая водка.

Память напомнила ЕМУ едущих впереди двух всадников — старого моллу, встретившего ЕГО хлебом-солью, чтобы преподнести ЕМУ ключи от Баку, и молодого бека, стоявшего рядом с ханом у Двойных ворот крепости.

И в мешке, свисающем с седла коня молодого бека, покачивалась ГОЛОВА, и ОН был совершенно равнодушен к тому, что Голова — ЕГО Голова — отсечена от тела.

Но в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции стало рождаться и понемногу расти такое чувство, что Голова не хочет отпускать ЕГО, Голова подавляет страсть и желание лететь навстречу силе, притягивающей ЕГО к самому СЕБЕ.

А тот, другой, глупый молла в этот момент глядел на звёзды, поражаясь, сколь много их на небе и как необъятно мироздание.

Несчастный и невежественный человек, откуда тебе ведать, что такое много и что такое необъятное?

В том видимом измерении не существует чисел и слов, отражающих эту множественность, и никогда не будет существовать.

Какая бы мысль ни проносилась в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции, в каждой была абсолютная убедительность.

В сравнении с этой множественностью, глупый, старый молла, любое видимое измерение меньше даже разделённой на бесконечные числа крупинки апшеронского песка!

Однако откуда сам ОН получил эту информацию?

Что такое подобная бесконечность и подобная малость?

Когда это выяснится?

Но... в этой бесплотности и невесомости ведь не было времени.

он почувствовал ледяной холод стали и тотчас проснулся — его лоб покрылся испариной.

Как правило, князь Цицианов не видел снов, впрочем, может, и видел, но, проснувшись, ничего не мог вспомнить. Словом, у него не было проблем со сновидениями, с тем, чем занимались на досуге петербургские шарлатаны, пытающиеся разгадывать сны, но тот, обдавший его посреди ночи холодом, подействовал-таки на князя Цицианова. Что это? Что за сновидение накануне военного похода на Баку? Что оно означало, может, это некий знак, связанный с судьбой, занесшей его в этот далёкий и дикий край? Может, и его ждёт такая же, холодная как лёд, участь генерала Лазарева?

Князь рассердился на самого себя: что за глупые и пугающие мысли? — кажется, Кавказ превращает его в гадалку-цыганку, и он этого не сознаёт?

Князь Цицианов ощущал внутри какое-то смешанное с тревогой беспокойство — казалось, это было беспокойством и тревогой кануна какого-то несчастья, невезения; за всю свою жизнь он не переживал подобного состояния. В его жизни — даже на этом самом Южном Кавказе — было немало тревожных минут: ожидание вестей от армейских частей, ввязавшихся в бой, беспокойное ожидание ответа какого-то твердолобого правителя на требование сложить оружие, сдаться, не проливая крови... Но они приходили вместе с гневом, раздражением и вместе уходили, но... паники никогда не было.

И именно в эти мгновения князя Цицианову привиделся кинжал, что во сне вонзился в живот, — тот самый, которым царица Мария ударила генерала Лазарева, и князь, в объявшем всего его чувстве одиночества, подумал, что земля Закавказья, в целом Кавказа, жаждет человеческой крови, эта земля любит кровь, этой земле присущ некий вампиризм, здесь даже солнечная система может вращаться вспять.

Да, здесь, на Кавказе, даже солнце может вращаться вспять.

В мае 1804 года, в то время, когда эта земля-вампир буйно раскрасилась, распригожилась цветами и кустами, князь Цицианов с двадцатитысячной армией, готовясь к наступлению на Эриванское ханство и не желая бессмысленного кровопролития, написал письмо тамошнему хану Мухаммеду, требуя полной капитуляции: «Клянусь Создателем, солнце может повернуть вспять, испарится, исчезнет Каспий, но ничто не в силах отразить моё наступление».

Наместник и правда бросился-таки в наступление, окружил и осадил Эриванскую крепость, осада длилась три месяца, однако отвергнувший все требования о капитуляции Мухаммед-хан вместе с жителями города вынес все лишения и потери, но кре-

*«Для народов, проживающих в этой местности, единственная политика — сила».*

Из письма князя П. Д. Цицианова  
императору Александру I

Всё вокруг было черным-черно, и в этой темени разлилось ощущение какого-то движения, кто-то двигался в этой чёрной черноте — кто это был? что это было? — этого во сне князь различить не мог, только сознавал, что темень и ощущение каких-то шорохов — не наяву; он спит, видит сон. И вдруг блеск выхваченного из ножен кинжала в той непроглядности сна и проникновение этого кинжала в живот князя произошли одновременно: всё ещё во сне,

пость не сдал. На грозные, полные оскорблений письма князя хан отвечал не оскорблениями, а с достоинством. Не сумевший одолеть крепость, Цицианов ощущал себя не столько побеждённым, сколько униженным; во время Эриванского похода, казалось, даже судьба отвернулась от князя — наступившая жара, не виданная прежде в этих местах, косила солдат, из-за неё же запаздывали подводы, доставляющие провизию, к тому же часть её портилась по дороге; и ещё — одна дурная весть преследовала другую: Аббас Мирза решил расположить свою штаб-квартиру вблизи Эривани. Не желая допустить этого, князь Цицианов отправил туда часть своих сил во главе с генерал-майором Портнягиным. Но Аббас Мирза опередил Портнягина, выдвинувшись первым, одержал верх, Портнягин был вынужден отступить; в одну из ночей Аббас Мирза, совершив налёт, окружил находящийся в рядах русской армии отряд грузинской конницы, захватив его в плен, отправил в Тегеран. Всё тот же Аббас Мирза неожиданно обрушился и на сторожевой пост русских в ста верстах от Эривани, перебил всех защитников поста во главе с майором Монтрезором. Не имея средств и возможности достойно ответить на всё это, князь под грузом досады был вынужден в сентябре снять осаду крепости. Князь никогда и ничего не скрывал от императора. И на сей раз в своём рапорте Его Величеству писал: «Когда я думаю о себе, у меня болит в груди. За тридцать лет службы я впервые был вынужден отступить, не одолев осаждённую крепость».

...Князь непроизвольно провёл рукой по груди, над сердцем — ну и что с того? Какой смысл в этот поздний час вспоминать всё это? Если при каждой неудаче, потере инициативы солнце станет вращаться вспять, на свете не останется камня на камне. Но солнце, как всегда, утром восходит, а вечером заходит.

Что за детские мысли? Не зря ли полвека обходили тебя пули и ядра, щадили сабли, и всё для того, чтоб сейчас тебя прошиб холодный пот и ты погрузился в подобные бредовые мысли?

Но в глубине души чувствовал, что Эриванское фиаско просто повод, не это заставило его проснуться среди ночи, не это удручало, не от этого щемило сердце... А что же?

На сей раз князь Цицианов уже не мысленно, а шёпотом сказал себе:

— Достаточно! — и сразу усмехнулся: в полночь главнокомандующий отдаёт приказ самому себе — рядовому.

«Всё это от одиночества», — внезапно пришедшая мысль снова обдала его холодным потом.

Князь Цицианов никогда не чувствовал себя одиноким, чувство одиночества было для него абсолют-

но чуждо, и внезапно пришедшая на ум мысль — «от одиночества» — заставила его по-настоящему вздрогнуть. Что за настрой? Что за слабости? Он даже вспомнил оставшуюся там, где-то вдали, «Юлию». Отчего вдруг вспомнил переведённую им с французского в 19 лет повесть «Юлия, или Счастливое огорчение». Неужто 51-летний генерал от инфантерии, всесильный Наместник Кавказа впал в сантименты? Подростком князь пописывал и стихи, ему захотелось вспомнить и их, но ни одна, даже завалившая строка не вспоминалась. Он чувствовал, что эти мысли, подобный настрой уведут его в какую-то неведомую даль, о которой он нисколько не хотел думать. И его чёткий, всегда работающий как заведённые часы мозг, чтобы не уходить в эти дали — утопающий хватается за соломинку, — снова напомнил ему об Эриванском ханстве.

Фиаско похода на Эривань, по сути, было небольшим уроком, и князь Цицианов не скрывал полученные уроки, больше того — умел делать из них выводы. Сейчас готовился поход на Баку, и у князя не было никаких сомнений, что он захватит его. Совсем скоро — после Баку — придёт черед и Эриванского ханства, на сей раз и Эривань войдёт в состав державы, в этом князь тоже нисколько не сомневался. Южный Кавказ, как и весь Кавказ, навечно станет частью, провинцией России, и кровь, пролитая на этой земле русским воинством, не будет напрасной.

Да, он, князь Цицианов, мечом и штыком привёл в Закавказье Россию, но придёт время, и этот край узнает и другую — просветительскую Россию! Россия сама, приобщаясь и вбирая в себя культуру и просвещение Европы, принесёт их и сюда, и тогда аборигены Южного Кавказа, снявшие с себя кинжалы и надевшие галстуки-бабочки, даже не вспомнят, что фраки и сюртуки, в которые они так гордо облачились, принёс в Закавказье меч князя Цицианова.

Цицианов протянул руку к стоящей у кровати тумбочке, найдя небольшой колокольчик, встряхнул его.

Тотчас распахнулась дверь, вошёл дежурный офицер:

— Слушаю вас, Ваше сиятельство!

Слабый свет заправленного нефтью светильника в смежной комнате осветил спальню, и казалось, этот свет немного смягчил беспокойство и смятение, охватившие князя.

— Подайте мне воды.

Дежурный офицер принёс воды, и князь, присев на край кровати, выпил, вернул чашку стоящему на вытяжку дежурному.

Офицер вышел из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь, и комната погрузилась в такую же, как прежде, темноту.



И вдруг из этой темноты, глянув на князя Цицианова, улыбнулась царица Мария.

Князь был человеком далёким от мистики, не только не воспринимал, но вообще не интересовался ею, и вера в мистику некоторых аристократов Петербурга и Москвы, даже того же несчастного Павла, внутренне раздражала, корбила его. Подобный интерес людей в первую очередь к собственной персоне оценивался им как равнодушие к судьбам России.

В ту полночь перед глазами князя Цицианова замелькала цифра четыре: царствование Павла длилось ровно четыре года четыре месяца и четыре дня. Эти три четвёрки словно были зашифрованными кодами судьбы, эту дату Павел ждал ровно тридцать четыре года — он должен был вступить на трон ещё тридцать четыре года назад.

Сказывали, что Её Величество Екатерина в своём завещании назвала наследником внука Александра, но, когда императрица была на смертном одре, Павел нашёл и сжёг это завещание.

— Проклятье дьяволу! — прошептал князь Цицианов. — Теперь уже и ты поддаёшься дворцовым сплетням? Сказывают... Сказывают... С каких пор, Ваше сиятельство, господин главнокомандующий, тебя стали занимать пересуды обывателей?

И в тот момент, когда он иронизировал сам над собой, князю вдруг показалось, что на число 444 указывает ему царица Мария.

— Что такое?! — с выплескивающимся изнутри гневом прошептал он. — Князь Павел Дмитриевич Цицианов! Что это? Ты что, превратился в одинокого дряхлого старика?

Наваждение!

Вместо того, чтобы гордиться, вспоминая такого воина, как генерал Лазарев, он позволяет, чтобы его глазам предстала, желая утратить его, эта мегера, Мария?!

Со всей страстью князь Цицианов осерчал сам на себя, и переполняющие его чувства одиночества, подозрения, смешанные со смятением в предвещии какого-то кануна, будто испугавшись этой ярости, улетучились в один миг.

Генерал-майор Лазарев был достойным солдатом Империи; прожив славную жизнь воина, он пал жертвой кавказского коварства.

Два года тому назад — тогда тоже только что наступил новый, 1803 год — генерал Лазарев, имеющий особые заслуги в переселении большинства грузинских династий в Россию, тот самый тифлисский полицмейстер, генерал-майор Иван Петрович Лазарев, получив сведения от созданной им же в городе агентурной сети, рапортовал главнокомандующему, что группа грузинских аристократов готовит переворот, чтобы посадить на трон Багратионов, и что среди готовящих переворот есть и князья Цициановы,

имеющие родственные связи с главнокомандующим. Генерал Лазарев был не из тех офицеров, кто поостерёлся бы сообщать подобные сведения, он чётко назвал Наместнику поимённо всех заговорщиков. Подобная прямота, откровенность и добросовестность были по душе князю, он высоко ценил эти качества генерала, относился к нему с подчеркнутым уважением.

После тщательного расследования главнокомандующий убедился в точности информации генерала Лазарева и, разъярённый предательством грузинских аристократов, с особой жестокостью расправился с заговорщиками, не пощадив, разумеется, и своих родственников. Сумевшие улизнуть, унося с собой несбывшиеся мечты, кое-как сохранили себе жизнь, а те, кому не удалось бежать — эти чванливые, высокомерные грузинские князья, — по приказу Цицианова были заточены в Метехскую крепость как обыкновенные воры и мошенники. После этого случая князь Цицианов лишний раз убедился, что, если не выслать с Кавказа всех отпрысков грузинских царей, князей, порядка и спокойствия в Грузии не будет; иначе не справиться с амбициями тех, кто и сегодня мечтает о царском троне. Следовало убедить императора Александра, чтобы тот дал ему полномочия лишать всех членов царских, княжеских семей права проживания в Грузии. Цицианов решительно обратился с этим предложением к самому императору и добился своего.

После высокого монаршего разрешения по приказу и под непосредственным контролем Цицианова началась повальная высылка всё ещё остававшихся в Грузии принцев, членов царских семей. Среди тех, кто не желал переезда, особо сопротивлялся этому, была близкая родственница князя Цицианова — царица Мария, и отправку этой негодницы вместе с детьми он поручил лично генералу Лазареву.

Жаль Лазарева, такой доблестный офицер погиб от рук мегеры, грузинской Бабы-Яги столь дешёвой, не красящей его смертью.

Такие вот дела, Бабуа...

И вдруг князь Цицианов опять вспомнил Бабуа Арчила.

\* \* \*

*...В том видимом измерении вдоль берега Каспия медленно ехал всадник.*

*И он конечно же узнал Пантеру.*

*Сидящий на коне молодой азербайджанский бек порой гладил, почёсывал гриву Пантеры, и нежная радость, исходящая от коня, волнами разливалась вокруг.*

*В эти мгновения Пантера был, вероятно, самым счастливым конём того видимого измерения.*

Тифлисский полицмейстер, генерал-майор Иван Петрович Лазарев происходил из обедневших польских шляхтичей, переехавших в Казанскую губернию в начале прошлого века. Он был направлен в Кахетию в 1799 году, тремя годами раньше князя Цицианова.

Постаревший кахетинский царь Георгий XII, желая противостоять с Юга — Каджарам, а с Севера дагестанским хакимам, обратился к императору Павлу с просьбой о военной помощи, и служивший в то время в Моздоке и только недавно получивший чин генерал-майора Лазарев по указанию императора вместе со своим полком направился в Закавказье. Перевалив ровно за тридцать шесть дней заснеженные, завьюженные Кавказские горы, добрался до Тифлиса, и тогда-то ему стало ясно, что хаос и неурядицы в Кахетии объясняются не столько военными нашествиями Османов и Каджаров, страхом внезапных набегов лезгин и аварцев, сколько бесконечной борьбой, которую вели, строя козни и интригуя друг с другом, желая завладеть тронem, грузинские принцы.

У известного жизнелюба, грузинского царя было несколько взрослых сыновей от разных жён, слабый здоровьем и безвольный Георгий XII никак не мог справиться со своими сыновьями, откровенно опасаясь, не решался объявить ни одного из них наследником.

...Несколько лет назад в жизни генерала Лазарева произошла не способная зарубцеваться трагедия — за короткое время совершенно неожиданно скончалась его шестнадцатилетняя дочь Татьяна, не прошло и года, ушла из жизни не смирившаяся с этой утратой супруга Зохра. После смерти Зохры — крещёной татарки, оставшись совсем один, он ещё больше, чем прежде, отдался работе; все его интересы, мечты и желания, симпатии и увлечения сфокусировались на армейской службе.

Расположив в Тифлисе свой полк, генерал Лазарев в первую очередь занялся тем, что обезвредил грузинских принцев — одних откровенным давлением, других посулами, заставляя переехать в Россию; в этом нелёгком деле он опирался на силу своего полка, вес и влияние империи, а также личный авторитет, хотя, известно, завоевать авторитет на Кавказе штука нешуточная!

Дело в том, что через некоторое время после прибытия в Тифлис (это был уже 1800 год — наступило новое столетие, и начался XIX век) аварский хан Омар с пятнадцатитысячным отрядом, в сущности настоящей армией, пересёк границу Грузии: это известие привело в ужас всю Кахетию — царя и враждующих друг с другом принцев, сельских жителей и

именитых князей. Омар-хан пользовался большим авторитетом не только среди аварцев, но и во всём Дагестане, этот решительный, смелый человек был популярен на всём Южном Кавказе, о его доблести и одновременно жёсткости ходили легенды, сложенный ашугами дастан «Омар-хан Аварский» рождал чувство восхищения отвагой этого правителя, но одновременно же вселял в людей страх.

Нашествие на Кахетию Омар-хана и его правой руки Искендер-бека с огромным отрядом предвещало большую беду, оно являлось для генерала Лазарева серьезным испытанием, но оно же и позволило укрепить позиции империи в регионе. Генерал оказался достоин этого вызова, вместе с дополнительными силами, прибывшими с Севера, — семью батальонами, подкреплёнными артиллерией, выйдя из Тифлиса, он встретил Омар-хана на берегу реки Иора. В том сражении на помощь Лазареву пришли и конные отряды грузинских принцев — Баграта и Иоанна, и русские войска, не боящиеся ни пуль, ни сабель, благодаря решительному и тактически верному командованию Лазарева, нанесли поражение Омар-хану: получив ранение, хан вернулся в Дагестан, а Искендер-бек оказался в плену.

За эту победу генерал-майор Лазарев был удостоен Командорского креста Святого Иоанна Иерусалимского, а грузины в знак особого уважения и почёта отрезали голову Искендер-беку и, сунув её в мешок, принесли к дому, где проживал генерал. Генерал, держа за волосы голову бека, вышел на балкон второго этажа дома, где проживал, и под горячие приветствия грузин показал её собравшимся.

Вот так утверждался авторитет генерал-майора.

С тех пор даже царица Мария иногда принимала в своей резиденции генерала Лазарева, делилась непосредственно с ним своими мыслями, и подобное отношение супруги Георгия XII — той самой Марии! — ещё больше нагнетало злобу и ненависть к Лазареву врагов Марии. В то же время приносило ещё больше уважения со стороны её сторонников, как бы там ни было, во время встреч Лазарева с царицей создавалась какая-то особая атмосфера и настрой. Со дня прибытия на Южный Кавказ регулярные рандеву, встречи с царицей Марией — обо всём следует говорить честно — стали лучшими мгновениями жизни Лазарева последних лет.

Жёсткой, упрямой и красивой царице Марии ещё не исполнилось и сорока, но в этой женщине была такая властность, что даже её злейшие враги — принцы от других жён Георгия — терялись при встрече с ней, боялись попасть в раскинутые ею сети.

Можно сказать, почти каждый день перед сном генерал Лазарев вспоминал и Таню, и Зохру и был совершенно уверен, что они обе в том праведном мире — рядом с ангелами, так как они были чисты и

непорочны как ангелы. Но в следующую, после того как он впервые увидел Марию, ночь ему подумалось, что, будь на месте Зохрана царица, она никогда бы не ушла, оставив его одного. В тот миг в его душе проскользнуло почти телесное ощущение: в том, что Зохран улетела к ангелам, оставив его одного, был некий эгоизм, даже элемент предательства, правда, тут же он подумал, насколько несправедливо это чувство, и сам был поражён, потрясён этим. Царица Мария смогла бы пережить смерть Тани, не оставила генерала Лазарева одного, а вот Зохран не пережила этого и вслед за дочерью улетела в небеса — что это? — верность или предательство, измена по отношению к оставшемуся в одиночестве Лазареву? Конечно же, верность. Но после той первой встречи с царицей Марией в мыслях и чувствах Лазарева она виделась ему той женщиной, что, пережив смерть дочери, не оставила бы его одного, и это явилось бы не предательством, а свидетельством большой и стойкой верности.

Царица Мария даже близко не подпускала мысль об отправке в Россию её сына и дочери, больше того — мечтала посадить девятнадцатилетнего Джебраила на кахетинский трон. Сколько ни повторял Лазарев, что и в Санкт-Петербурге Джебраил и Тамара сохраняют титулы принцев, получают хорошее образование, им будет отписана земля вместе с крепостными крестьянами, всё это не возымело успеха. Уговорить Марию было невозможно, а её влияние в грузинском аристократическом обществе таково, что применение насилия могло ещё больше ослабить и без того не очень популярные пророссийские настроения; с другой стороны, Лазарев никоим образом не способен был говорить с Марией языком ультиматума, и Мария отлично это сознавала.

После кончины в декабре 1800 года Георгия XII началась смертельная схватка принцев за кахетинский трон, и, когда вражда различных сил, поддерживающих или отрицающих права того или иного принца, достигла пика, внимательно отслеживающие события Османы и Каджары стали пытаться использовать создавшуюся ситуацию для укрепления своих позиций в Закавказье. Именно тогда заветная мечта царицы Марии — корона Кахетии должна принадлежать Джебраилу! — ещё более усилилась, превратившись в неодолимую страсть.

Генерал Лазарев, ожидая решения императора, опираясь на силу оружия и на свой авторитет, не допускал, чтобы кто-то из принцев захватил трон. Высочайший манифест Павла таков: Грузия присоединяется к России! — и генерал Лазарев распорядился зачитать его во всех грузинских церквях и азербайджанских мечетях. Грузинские принцы, продолжая интриговать и плести сети заговоров, приняли этот манифест с яростью. А что делала, с присущей ей на-

стойчивостью, к каким средствам прибегала, какие комбинации выстраивала царица Мария? — даже половины того генерал Лазарев, имеющий платных и добровольных доносчиков во всех слоях грузинского общества, не знал.

Два года прошли в подобном противоборстве, наконец в августе прошлого года Его Величество император Александр назначил князя Павла Дмитриевича Цицианова главнокомандующим войсками на Кавказе; и уже после первой встречи между князем и генералом Лазаревым установились равные, деловые отношения, ведь оба они были людьми служивыми. Главнокомандующий стал освобождать Грузию не только от принцев, но и от всех, кто имел хоть малейшее отношение к царской фамилии, и, столкнувшись с упрямством и непреклонностью царицы Марии, вечером 17 апреля 1803 года вызвал к себе генерала Лазарева.

В тот апрельский вечер в Тифлисе по-настоящему ощущался приход весны, князь Цицианов широко распахнул окна, в кабинете тоже запахло весной. Хотя дни становились все длиннее, кабинет понемногу погружался в полумрак, но князь не приказывал зажечь светильники, заправленные нефтью, — их запах был бы абсолютно чужд наполнившейся комнате аромату весны.

Сидевший за просторным письменным столом, заваленным многочисленными рапортами, сообщениями, даже доносами, глянув на вытянувшегося по стойке «смирно» генерала, князь поднялся, пройдя вперёд, встал лицом к лицу с ним. Генерал-майор являлся истинно русским офицером, верным отечеству и императору, они явно испытывали друг к другу уважение и симпатию. Генерал Лазарев был одним из редких старших офицеров, что служил не ради высоких чинов и званий, а интересам родины и империи: Цицианов гордился именно такими русскими генералами. Наместник глядел на вытянувшегося перед ним сравнительно молодого генерала, и память унесла его в те далекие времена — почти двадцать лет назад — когда он полковником служил в Санкт-Петербурге, командуя гренадёрским полком. Иногда он точно так же стоял навтыжку перед командующим, генерал-фельдмаршалом графом Салтыковым, они тоже питали друг к другу взаимную симпатию. Просто сегодня в роли фельдмаршала Салтыкова был он сам, а в роли полковника Цицианова — генерал Лазарев.

— Генерал, — произнес князь Цицианов. — У меня нет желания потворствовать чьим-то капризам! В том числе капризам царицы Марии. Я поручаю вам завтра утром вывезти Марию и её детей за пределы Тифлиса и отправить в Петербург.

Приказ главнокомандующего не оказался для Лазарева неожиданным, он был убеждён, что чело-

век характера Цицианова не станет долго терпеть упрямство Марии, рано или поздно этому будет положен конец, Наместник отправит в Россию не только отпрысков Марии, но, ради общего спокойствия и стабильности, и саму царицу. Генерал знал и то, что царица Мария является близкой родственницей Цицианова, но для князя не имело никакого значения близкое или дальнее родство, даже само существование тех грузинских аристократов, которые, будучи родственниками или нет, выдавали себя за таковых, не говоря уже о тифлисских прошельгах, каковые тоже были не прочь примазаться к имени князя. Но для главнокомандующего, как уже было сказано, это не имело ни смысла, ни значения. Цицианов устроил такую головомойку князьям Цицишвили, враждебно относящимся к России, что предпринятые им кары показались сверхсуровыми даже для непосредственного, активного исполнителя этих наказаний — генерала Лазарева; в рамках своей компетенции он написал рапорт, представив главнокомандующему несколько смягчающих предложений, но Цицианов отверг их.

И после приезда князя в Тифлис в качестве главнокомандующего генерал Лазарев ожидал подобного указания и в отношении царицы Марии. И, думая об этом по ночам, по-настоящему волновался, в его воображении возникала жуткая картина: схватив за волосы, он волочит царицу Марию по полу и сдаёт конвою, в подобные минуты у этого не знающего страха генерала от волнения сводило всё тело. Но, несмотря на это, он докладывал главнокомандующему в ряду других секретных донесений и сведения об антироссийской деятельности царицы Марии — это находилось вне личных пристрастий Ивана Петровича, являлось долгом перед государством для тифлисского полицмейстера — генерала Лазарева.

В те дни до слуха генерала Лазарева дошло, что царица Мария ведёт тайную подготовку к побегу вместе с детьми в Стамбул, решив уже оттуда продолжать борьбу за выход Кахетии из состава России, а следующим шагом усадить на трон Джебраила. Но ввиду того, что информация была не до конца уточнена, генерал не стал до времени докладывать о ней главнокомандующему.

Вечером 17 апреля 1803 года князь Цицианов сказал:

— Прошу исполнить приказ и завтра до обеда доложить об исполнении!

— Слушаюсь, Ваше сиятельство, — подчинился генерал-майор Лазарев, и всегдашняя решимость в его интонации не оставляла ни грана сомнения, что приказ будет неукоснительно выполнен.

У князя Цицианова промелькнула мысль, как было бы славно, если бы все его генералы, как истинно военные люди, были столь же смелы, реши-

тельны и исполнительны, как Лазарев — статный, высокий, чьи неподатливые рыжие волосы падали на белый лоб, а взгляд голубых глаз был всегда ясен и прозрачен. Но князь Цицианов был не из тех, кто говорит всё, что пришло на ум, и только добавил:

— Свободны!

После смерти дочери и жены генерал-майор Лазарев остался совсем один, по утрам, ещё в полудрёме, он непроизвольно ожидал пробуждения птиц и, услышав их щебет на ближних деревьях — Тифлис был зелёным городом, — окончательно открывал глаза и тут же вскакивал с постели. И 18 апреля 1802 года, рано утром, птичий гомон заполнил комнату, сообщив о наступившем рассвете и начале замечательного весеннего дня.

Но в этот замечательный весенний день он был вынужден отправлять царицу Марию в ссылку.

Через два дня генералу Лазареву должно было исполниться сорок лет, это был порог — так считал генерал — когда следует отчитаться перед самим собой за прожитую сорокалетнюю жизнь, но у него не было на это ни времени, ни желания, ни соответствующего настроения: ему необходимо отправить Марию в изгнание.

Чтобы своевременно выполнить приказ главнокомандующего, ещё до ночи он поручил окружить резиденцию царицы Марии, отправил туда двоих офицеров, подготовил для царицы, её детей и слуг кареты, наметил офицеров, которые станут их сопровождать, лично проверил конвой. Был приказ главнокомандующего, отданный ради интересов государства, приказ должен быть выполнен неукоснительно; Лазарев знал, что так и произойдёт и уже до обеда он доложит князю Цицианову об исполнении.

Этот приказ породил в душе генерала тоску и стеснение, но даже в мыслях он не мог допустить, что повеление не будет выполнено; конечно, придумав какой-то повод, можно отойти в сторону, сказать, к примеру, больным.

Главнокомандующий мог поручить это дело кому-то другому, к примеру, подполковнику Серебрякову по прозвищу Мясник. Этот человек с удовольствием справился бы с поручением, мог даже, схватив царицу Марию за волосы, волочить её по земле. Но генерал Лазарев не мог позволить себе манкировать солдатским долгом. Он получил приказ, обязан выполнить его и выполнит. Пусть Мария его воображения станет вечно презирать его, пусть генерал Лазарев будет вечно страдать — приказ должен быть выполнен. Лазарев был солдатом, русским воином, а воин обязан беспрекословно выполнять приказы.

И в то весеннее утро генерал Лазарев сам отправился в резиденцию царицы Марии.

Царица полулежала при параде на софе в своих покоях, откинувшись на мутаку<sup>1</sup>, лишь набросив на себя лёгкую шаль. И генерал Лазарев, войдя, как всегда учтиво поклонился ей, и на мгновение в его голове пронеслась мысль, что необходимость поднять эту властную, деспотичную и прекрасную женщину с софы, чтоб отправить в Петербург, — самое печальное, горестное приказание, подобное которому он не получал ни разу в жизни.

Принц Джебраил и его сестра принцесса Тамара восседали посреди комнаты в мягких креслах, двое офицеров стояли рядом по обе стороны.

Не поднимаясь с софы, не позволив Лазареву даже раскрыть рот, царица Мария спросила по-русски, который знала отлично, но с грузинским акцентом:

— Генерал, вы хотите насильно отправить меня в Петербург, не так ли?

— Ваше величество... — начал Лазарев, но царица оборвала его:

— Смотрите мне прямо в глаза, генерал!

Генерал взглянул в глаза царицы, и на миг ему показалось, что в её серых глазах, вместе с бесконечной яростью, в глубине этой ярости затаилась и любовь. Взяв себя в руки, Лазарев сказал:

— Таково, Ваше величество, предписание главнокомандующего.

Царица подняла голову с мутаки, дрожащим от гнева и презрения голосом бросила:

— Его деды были не только нашими родственниками. Они были, слышите, нашей челядью! Были слугами! И теперь я должна подчиниться его приказу? Так вы считаете, генерал?

Генерал отвёл взгляд от глаз царицы.

— Вы обязаны подчиниться приказу, Ваше величество! — сказал он, и эти слова отразили реальность обреченности Марии и её детей.

На какой-то миг её голова, казалось, бессильно упала на мутаку.

В комнате наступила тишина. Её нарушила сама Мария:

— Ваш главнокомандующий — предатель, изменивший своему народу. И вы думаете сохранить Россию благодаря мечу предателей? — затем, после короткой паузы, добавила: — Ну, генерал? Прошу ответить на мой вопрос. Я — не рядовой человек, я — царица Мария!

— Ваше величество, я не могу считать ваши слова приемлемыми.

На сей раз царица Мария спросила смиренно и печально:

— Но вы считаете приемлемым, что мои дети провели ночь под надзором русских офицеров, не так ли?

Генерал промолчал.

— Не надо, не отвечайте, господин Лазарев, — продолжила царица. — Но я обращаюсь к вам не как к русскому генералу, а как к русскому дворянину. Что вы думаете по поводу того, что отправляете в ссылку, в Россию, меня — царицу Марию, вместе с моими детьми?

— Я обязан выполнить приказ, Ваше величество...

— Ведь я сказала, что обращаюсь к вам не как к генералу, а русскому дворянину. — И царица Мария, словно после минутной слабости, с особым ударением добавила: — Я обращаюсь к вам, слышите, к вам...

Наступила тишина, и Лазарев не сразу нарушил её:

— Я — один и тот же человек, Ваше величество...

— Нет, вы не один и тот же человек! — повысила голос царица Мария и с внезапной страстью спросила: — А что, если я не подчинюсь приказу?!

— Ваше величество, — промолвил генерал Лазарев, — поверьте мне, ваше упрямство... — генерал на миг умолк, затем добавил: — Ваша борьба не имеет перспективы. Переезд в Петербург для вас и ваших детей — самый благоприятный вариант. Ваш титул и титулы ваших детей будут сохранены. Вы станете жить под личной опекой Его Величества императора Александра. Вы...

Мария не дала договорить генералу:

— Не пытайтесь уговаривать меня, господин Лазарев!

— Ваше величество, очень прошу, убедительно прошу, не принуждайте меня, чтобы... — Он не стал продолжать, несмотря на всё её упрямство, заносчивость, перед ним, русским генералом, была женщина — на деле беспомощная, обречённая... и любимая женщина.

За генерала продолжила сама царица Мария:

— Чтобы я не принуждала вас вышвырнуть меня силой на улицу? Не так ли, генерал?

— Ваше величество, — поспешно проговорил Лазарев, — прошу вас, собирайтесь! Кареты готовы. Я лично провожу вас.

И генерал Лазарев вышел из покоев.

Для него, боевого генерала, было куда проще и намного более славно вступить в смертельную схватку с аварским ханом Омаром, нежели решать судьбу обречённой женщины, но, если приказ дан, — решать необходимо, причём неукоснительно и безусловно.

Вчера вечером, после предписания главнокомандующего, единственное утешало генерала Лазарева — что переезд в Петербург и проживание там, и верно, было для Марии лучшим выбором. Даже если бы ей удалось бежать вместе с детьми в Стамбул, она ничего бы не добилась. В том костре, который царица собиралась разжечь, сгорела бы она сама — в

<sup>1</sup> Мутака — длинная, валиком подушка.

истории немало больших и малых царей, принцев, правителей, что, сброшенные с престолов или ведущие борьбу за трон, бежали в Стамбул — как правило, они терпели фиаско.

Резиденцией царицы Марии являлось двухэтажное здание, покои были на втором этаже. Когда генерал Лазарев, вконец расстроенный, стал медленно спускаться по деревянным ступеням, в покоях царицы поднялся шум, раздались громкие крики, мгновенно повернув, он быстро взлетел наверх.

Войдя в комнату, генерал увидел, что принц Джебраил и принцесса Тамара с кинжалами в руках бросаются на офицеров, те с трудом отбиваются от яростных ударов, их руки в крови.

— Прекратите! — крикнул генерал Лазарев. — Прекратите эти безобразия! — Его гневный голос подействовал на брата и сестру, они опустили кинжалы, посмотрели на всё ещё полулежащую на софе мать.

На сей раз генерал Лазарев прикрикнул и на царицу:

— Ваше величество, сказано вам, прекратите! Всё это добром для вас не кончится!

И в это мгновение царица Мария, словно осознав полную бессмысленность сопротивления, улыбнулась:

— Ясно, генерал!.. Ясно!.. — И, глядя прямо в глаза Лазарева, после некоторой паузы, выпростав правую руку из-под шали, протянула её генералу: — Прощайте, генерал...

Услышав эти слова, Лазарев успокоенно вздохнул, приблизился к софе, опустил голову, чтобы поцеловать протянутую руку, и в это время Мария с мгновенной стремительностью выдернула из-под шали кинжал, что держала в левой руке, вонзила его в грудь генералу.

Генерал Лазарев выпрямился, сделал шаг назад, протянул руку к груди, но схватить рукоятку кинжала не смог, опустился на колени.

— Мария... — прошептал он, и на мгновение генералу подумалось, что Мария отправляет его к Зохре и Татьяне, затем он посмотрел на свою окровавленную руку и успел подумать, что ангелы не примут его, так как руки у него в крови.

И генерал-майор Иван Петрович Лазарев отошёл в иной, милосердный мир...

Это известие, мгновенно распространившись по всему Тифлису, привело в ярость князя Цицианова. Он приказал посадить Марию и её детей в Метехскую тюрьму, в одну камеру с тифлисскими ворами, разбойниками, не делая никаких поблажек. Через некоторое время Мария вместе с детьми была отправлена в Россию, и всё ещё не успокоившийся после этого злодейского преступления князь Цицианов лично приказал сопровождающим обра-

щаться с ними в пути как с обыкновенными преступниками.

Князь Цицианов никак не мог совладать со своей яростью, он отправил в Петербург всеподданнейший рапорт о случившемся, требуя строго наказать царицу. По предложению князя, Марию по прибытии в Россию отправили в женский монастырь, в город Белгород в Воронежской губернии.

По приказу и при участии главнокомандующего генерал Лазарев был с высокими воинскими почестями предан земле в Сионском соборе Тифлиса.

\* \* \*

*В ЕГО памяти возникло такое пробуждение, что воспоминания, связанные с этим видимым измерением, словно стали подгонять друг друга, и остановить этот бег ЕГО бестелесной и невесомой субстанции было не по силам.*

*Жажда полёта навстречу силе, желающей унести, увлечь ЕГО, правили всеми ЕГО чувствами, но воспоминания препятствовали этому, и сменяющиеся в том видимом измерении эпизоды не признавали никаких границ: прошлое и будущее, близкое и далёкое, родное и чуждое — слились воедино. И эти стремительно сменяющие друг друга эпизоды неслись, окутывая своими волнами ЕГО бестелесную и невесомую субстанцию.*

*Вот это Владимирский собор иконы Святой Анны в Санкт-Петербурге... Пожилой мужчина с проседью в курчавых, зачёсанных набок волосах, одетый на европейский манер, с крестом на груди, зажигает свечу, крестится и молится.*

*И в том видимом измерении ОН сразу же узнал Шариф-бека — толмача Бакинського ханства.*

*Сколько времени прошло в том видимом измерении?*

*Этого ОН не знал, и это ЕГО совсем не интересовало, ибо не имело никакого значения, и ОН уже точно знал, что принявший православие и наречённый именем Михаил — Михаил Шариф-бек — профессор, заведующий кафедрой востоковедения Петербургского университета.*

*О чем молил Создателя Михаил Шариф-бек, крестясь и зажигая свечу, ОН знать не желал, ибо это ЕГО совершенно не интересовало.*

*И в этот миг ЕГО бестелесная и невесомая субстанция слышала полный ужаса, взволнованный крик толмача Шариф-бека: «Князь!.. Князь!..» — доносящийся откуда-то из дальней дали и обращённый к НЕМУ, князю Цицианову, сползшему с коня и распластавшемуся на пустыре у Двойных крепостных ворот, но то полное страха смятение толмача совсем не сказывалось на ЕГО бестелесной и невесомой субстанции.*

*Те волнения в том видимом измерении для НЕГО уже стали совершенно бессмысленны, ужасающее смятение в крике толмача Шариф-бека растаяло,*



*словно этот крик понемногу превратился в голос Бабуа Арчила...*

*Бабуа звал ЕГО привычным, как всегда ласковым, голосом, но ласка в голосе Бабуа тоже не имела для НЕГО никакого смысла и значения...*

## 9

Сразу после дивана, проведённого восьмого февраля 1806 года по христианскому и второго месяца шубат по мусульманскому летоисчислению в связи с убийством Наместника Цицианова, воодушевившие, принесшие вдохновение Гусейнкули-хану стихи — будто из колодца на Балаханской земле забила нефть — были следующими.

Итак, стихи Молла Панаха, визиря карабахского хана Ибрагим Халила, принявшего псевдоним Вагиф:

Я правду искал, но правды снова и снова нет:  
Всё подло, лживо и криво — на свете прямого нет.  
Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет,  
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.  
Брось на людей надежду — решенья иного нет.

Все вместе и каждый порознь, нищий, царь и лакей —  
Каждый из них несчастлив в земной юдоли своей:  
Их всех сожрала повседневность, оторванность от людей,  
И сколько бы я ни слушал бесчисленных их речей —  
В них, кроме лжи и неправды, смысла второго нет.

Станный порядок в силу у сильных мира вступил:  
Чьё бы печальное сердце ты ни развеселил, —  
Оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил, —  
Им неприятен всякий, кто доброе совершил...  
На целом огромном свете мне друга родного нет.

Учёный и с ним невежда, учитель и ученик —  
Снедаемы все страстями, в плену у страстей одних.  
Истина всюду пала, грех повсюду проник,  
Кто в мулл и шейхов поверит, тот ошибётся в них.  
Ни в одном человеке чувства святого нет.

Тот, кто дворец Джемшида в развалины превратил, —  
Тот веселье и счастье безжалостно поглотил.  
Нет никого, кто в горе кровь свою не пролил, —  
Сам я не раз жестокой судьбою испытан был.  
Повсюду царство коварства — и царства другого нет.

Всякий чего-то ищет, погоней поглощён,  
Ищут себе престолов, венцов, диадем, корон.  
Шах округляет земли — за ними в погоне он.  
Влюблённый бежит за тою, в которую он влюблён.  
Ни радости нет на свете, ни прочного крова нет.

Ты на людей, как солнце, свой излучаешь свет —  
Помни, что слов признанья в радостной вести нет.  
Честь, благородство, совесть давно уж утратил свет.  
Услышали мы, что где-то честности найден след.  
Я долго искал и знаю — чувства такого нет.

Алхимиками я сделал множество гончаров.  
В золото обращал я прах забытых гробов.  
Из щебня я делал яхонт, с камня срывал покров,  
Я мог превращать в бриллианты бляхи на шеях ослов,  
Признанья искал — но мир мне ответил сурово: нет!

Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперек,  
Он злу и добру достойного места не приберёт.  
В нём благородство тщетно: потворствует подлым рок,  
Щедлости нет у богатых — у щедрых пуст кошелек.  
И ничего в нем, кроме насилия злого, — нет!

Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой,  
Конец богатства и славы с их земной суетой,  
Конец увлечения женской невянущей красотой,  
Конец и любви, и дружбы, и преданности святой.  
Я знаю, что совершенства и счастья людского нет.

Потухли глаза, старею, жизнь черней и черней.  
Сколько красавиц мимо прошло за тысячи дней!  
Дурною была подруга — погублено счастье с ней!  
Аллах, одари Вагифа милостью своей:  
Ведь, кроме тебя, на свете друзей у больного нет.

Стихи Мирза Мухаммеда Али, завоевавшего титул «царя поэтов» при дворе сефевидского правителя II Шах Аббаса и писавшего под псевдонимом Саиб Табризи:

Лицо своё нежное спрятала ты от прохожих,  
Увидел я кудри, печальны глаза отчего же?  
Письмо ты моё покажи соловью вместо розы —  
Ведь кровью омыто оно и на розу похоже.

К чему ты отшельнику дверь в дом любви отворила?  
Рыдает павлин — ведь ворона его полюбила.  
Влюблённая в розу душа в тёмной клетке отныне, —  
Любовью пылая, ту клетку душа осветила.

Страданьем и горем сердце моё не терзай,  
В огне горит душа, в огонь щепки не бросай.  
Веселье — наша жизнь. Ненастье гоним все мы дружно.  
Из клетки птицу выпусти — лететь ей в отчий край.

*(Перевод Б. Лебедева, Л. Кацнельсона)*

Стихи Шаха Исмаила, создавшего государство Сефевидов, положившего основу династии Сефевидов, писавшего под псевдонимом Хатаи:

До сотворения мира началом начал был я,  
Тем, кто камней драгоценных ярче сверкал, был я.

Алмаз превратил я в воду, она затопила мир.  
Аллахом, который небо и землю зачал, был я.

Потом я стал человеком, но тайну свою хранил.  
Тем, кто в сады Аллаха первый попал, был я.

Я восемнадцать тысяч миров обойти сумел.  
Огнём, который под морем очаг согревал, был я.

С тех пор я узнал все тайны Аллаха, а Он — мои.  
Тем, кто истины светоч первым познал, был я..

Я, Хатаи безнадежный, истины свет постиг.  
Тем, кто в неверном мире всё отрицал, был я.  
(Перевод Г. Осанина)

Стихи современника Шаха Исмаила, прославленного не только в Карабахе, где он родился, не только в Азербайджане, но и во многих краях, вплоть до Анатолии, — Ашуга Гурбани:

С низины тянется туман,  
Кружит, вершину обвивая,  
Всё небо тучи обовьют —  
Вокруг луны редееет стая.

Несхожи участи людей:  
Тот — нищий, этот — богатей.  
Кружит по саду соловей,  
Слезам землю орошая.

Держался долго ты в тени,  
Дождался доли, Гурбани.  
Настал и твой черед, взгляни —  
Приспела чаша круговая.

(Перевод В. Кафарова)

\* \* \*

...В том, видимом, измерении тысячи кладбищ — старые и новые — они были как бы продолжением друг друга, будто в этот миг то видимое измерение состояло только из кладбищ.

И в каком-то из них молился священник, в другом молла читал «Ясин» — поминальную суру из Корана, в третьем раввин произносил — «Эль мале рахамим», и всё это казалось ЕМУ совершенно бесполезным.

В ЕГО бесплотной и невесомой субстанции рождалось такое ощущение, что человек в том видимом измерении, выйдя из материнского чрева, по сути сам того не зная, не сознавая, невольно стремится лишь к

смерти, так как только она, смерть, освобождает человека от бессмысленности этого видимого измерения — сменяющих друг друга воспоминаний и эпизодов, бессмысленной борьбы, желаний и грёз, бессмысленного счастья и бессмысленного несчастья, бессмысленной радости и бессмысленных мук.

Но если то, видимое, измерение в такой степени состоит из бессмысленности, тогда почему ОН был в нём и отчего теперь ОН здесь — в идиллии бесплотности и невесомости?

Отчего ЕГО не было, и в то же время ОН был?

И ЕГО бесплотная и невесомая субстанция абсолютно не сомневалась, была совершенно убеждена, что и людей в тех сменяющих друг друга воспоминаниях и эпизодах ждёт, когда пройдёт час, подобная же бесплотность и невесомость.

...Но в чём смысл этого?

Отчего сначала ОН был там, а сейчас здесь (где)?..

## 10

И в то февральское раннее утро 1806 года Гаджи Мухтар-бек, проснувшись от лая собак во дворе, тотчас, не производя шума, чтобы не разбудить спящую Хури Бегим-ханым, поднялся с постели: времена не лучшие — с одной стороны русская солдатня, с другой — иранские сарбазы, да и доморощенные враги не дремлют — опасения вызвали чувство беспокойства даже у такого мужчины, как Гаджи Мухтар-бек.

И без того всегда осторожный, Гаджи взял одно из заряженных ружей, что постоянно держал в спальне, и хотел, как был в исподнем, выскочить на застеклённую веранду второго этажа, но Хури Бегим-ханым спросонок проворчала:

— О Господи!.. Что ещё случилось?..

— Спи... — сказал Гаджи Мухтар и, когда вышел на веранду, увидел, что охранники и слуги уже столпились у ворот, спрашивая прибывших, кто такие и чего они желают.

— Гаджи дома?

Гаджи Мухтар-бек узнал по голосу Махмуд-бека и, торопливо распахнув створку окна веранды, прокричал:

— Открывайте! Эй, как вас там, отворяйте ворота!

Псы во дворе, услышав голос Гаджи Мухтар-бека, тотчас прекратили лай, стали тихо поскуливать, а управляющий поместьем Гамдулла, поняв, что прибывшие в такую рань люди хозяину не чужие, крикнул слугам:

— Шевелитесь! Скорее! Скорее открывайте!

Слуги потянули толстый железный засов, распахнули настежь ворота поместья Гаджи Мухтар-бека.

Махмуд-бек спрыгнул с коня, прошёл во двор, поцеловал руку наспех одевшегося и спустившегося вниз встретить гостей Гаджи Мухтар-бека, затем они тепло обнялись, и Махмуд-бек с явным почтением и весьма доверительно принёс извинения.

— Дядя, — так он обращался к Гаджи Мухтар-беку. — В такую рань разбудили тебя!..

— О чём ты, сынок? — И, увидев Моллу Музаффар, все еще сидящего на коне, быстро подошёл к нему: — Молла Музаффар! Добро пожаловать, уважаемый! Ты оказал нам честь! — сказал он, помогая гостю спешиться. Затем обратился к сопровождающим: — И вам всем добро пожаловать, слезайте с коней, проходите! — И, повернувшись к слугам, бросил: — Займитесь гостями! — что означало: следует отвести коней в конюшню, насыпать им сена, принести мыла и полотенца, чтоб гости умылись, развести огонь, нарезать барана, разжечь мангалы, тендиры<sup>1</sup>...

В это время издали донеслись звуки азана — призыв с минарета к утренней молитве, и Молле Музаффару показалось, что они переполнили его душу, принесли с собой особую чистоту; молла, повернув голову в сторону, откуда доносился азан, стал, шевеля губами, шептать молитву.

Служанки, проснувшись на шум во дворе, зная, что если к Гаджи Мухтар-беку заявились гости, то, независимо от времени дня или ночи, следует приниматься за готовку, зажгли в своих комнатах на первом этаже привезённые из Баку, заправленные нефтью светильники. Свет заставил собак, прекратив поскуливание, устремить заблестевшие в холодной предраусветной темноте глаза на внезапно появившихся во дворе гостей.

— Наш путь на тот берег Аракса... Это поручение хана, дядя, — сказал Махмуд-бек. — Вечером, с наступлением темноты, пустимся в дорогу.

— До вечера времени ещё много, — проговорил хозяин, — проходите в комнаты.

Гаджи Мухтар-бек, увидев меж всадников также Лал Гафароглу, которого видел несколько раз в Баку, во дворце Гусейнкули-хана, понял, что поездка, предпринятая гостями, совсем не проста. От острого взгляда хозяина не скрылось и то, что, спрыгнув на землю, Махмуд-бек не выпустил из рук уздечку, а когда один из слуг подошёл, чтоб отвести его коня в конюшню, Махмуд-бек, бросив тому: «Погоди!» — сам отвязал притороченный к седлу небольшой мешок, взял его с собой.

Слуга удивился, что бек сам стал отвязывать мешок и взял его с собой, но, хорошо зная, что при Мухтар-беке не стоит говорить лишнего — ещё неизвестно, как отреагирует, — не сказал ни слова, просто

взял коня Махмуд-бека за узду и отвёл его в конец двора, в конюшню, как и других коней приезжих.

Махмуд-бек, Молла Музаффар и Лал Гафароглу в сопровождении хозяина поднялись в гостевую на втором этаже поместья, присели, устроив ноги под себя, на разложенные по краям ковра подушки с парчовыми наволочками.

Где бы ни встречал Махмуд-бек «ковры Гаджи Мухтара», сразу узнавал их, и каждый раз узоры этих ковров, их краски рождали в его сердце волну радости, и эта радость словно являлась проблеском надежды в тёмном, невежественном, не понимающем его мире.

Более десяти тысяч голов породистых овец Гаджи Мухтара паслись на равнинах Мугани, и вытканые из шерсти этих овец в его цехах ковры знамениты не только в Азербайджане или Грузии, не только, как говорится, и в Иране и Туране, но и во многих странах как «ковры Гаджи Мухтара». Их можно встретить во дворцах ханов и шахов. Присланные славящимся щедростью Гаджи Мухтаром в дар и Махмуд-беку несколько ковров были красой его особняка в Баку и загородного в Шувелянах.

Гаджи Мухтара, человека известного и состоятельного, несколько покорило, что, войдя и усевшись в гостевой, Махмуд-бек положил рядом с собой мешок: если мешок полон золота и драгоценностей, держать его при себе — откровенное неуважение к хозяину.

Многие годы Гаджи Мухтар-бека связывали узы дружбы с покойным Шамиль-беком — отцом Махмуда, к тому же он, Гаджи Мухтар-бек, являлся кирве<sup>2</sup> самого Махмуда, и эта дружба испытана в опасные и вероломные времена. Добрые отношения связывали Гаджи Мухтар-бека и с самим Гусейнкули-ханом, и если на Ширване было два-три человека, на которых хан мог положиться, то среди них был и Гаджи Мухтар-бек.

То, как вопил трёх-четырёхлетний Махмуд во время церемонии обрезания, увидев в руке специально приглашённого из Дагестана известного цирюльника Османа бритву, навсегда запомнилось Гаджи, хотя с тех пор прошло, вероятно, двадцать семь — двадцать восемь лет, — это вспоминалось всякий раз вдруг, неожиданно, даже в самые напряжённые моменты, и тогда Гаджи, не удержавшись, смеялся словно бы про себя, а находящиеся рядом толковали этот внезапный смех по-разному, делая всевозможные выводы.

Для всадников Махмуд-бека накрыли в комнате на первом этаже, подали всё, что и гостям на втором:

<sup>2</sup> Кирве — близкий друг семьи, который держит мальчика на коленях во время церемонии обрезания и впоследствии считается почти родственником, даже в какой-то мере несущим ответственность за мальчика, его опекуном.

<sup>1</sup> Тендир — земляная печь.

сначала настоящий на шафране и лимонах шербет, затем зелень, масло, сыр, тёплый лаваш, а чуть погодя кебаб из только что зарезанной овцы, запеченных в тендире кур, настоящий на чабреце айран<sup>1</sup>. И Махмуд-бек, когда принесли шербет, медленными глотками отпивая его, сказал:

— Мы, дядя, едем встретиться с Баба-ханом... — Эта фраза основательно расстроила Гаджи Мухтар-бека: мешок, который держал при себе Махмуд-бек, несомненно, содержал ценности, что отправлял Гусейнкули-хан Фатали-шаху, и получалось, Махмуд опасается, что подарки могут быть украдены, причём где? — в его, Гаджи Мухтара, поместье!

Эта пришедшая на ум мысль повергла Мухтар-бека, умеющего обуздывать свои корыстные страсти, протягивать руку помощи бедным и сиротам во всём Ширванском ханстве, в дурное расположение духа. Но длилось это недолго: Махмуд-бек сообщил то, что не сообщил бы никому, но Гаджи Мухтар не был «ником», — и тайна злополучного мешка раскрылась.

— Дядя, — продолжил Махмуд-бек, — мы просим пригласить вашего медика Салахаддина, чтобы тот подготовил Голову к поездке. Ещё неизвестно, когда доберёмся до Тегерана. По дороге у нас намечена встреча и с Аббас Мирзой. Конечно, время сейчас холодное, но на всякий случай лучше покрыть Голову воском, если поездка затянется, может попортиться...

Об убийстве Наместника Гаджи Мухтар прознал в ту же ночь, но то, что тому отрубят голову и отправят в дар Фатали-шаху, явилось неожиданностью. Впрочем, за все кошмарные годы — после неоднократных набегов кубинского Фатали-хана при поддержке шекинского Гусейн-хана на Ширванское ханство, наступления на всё то же Ширванское ханство карабахского Ибрагим Халил-хана, заключившего союз с ханом Ленкорани, нашествия войск Мухаммед-шах Каджара на Карабах, не сумевшего, однако, с наскока одолеть Шушинскую крепость и после неудачи поворотившего армию на Грузию, превратившего Тифлис в груды камней и вторичным походом на Карабах взявшего наконец Шушу, но там же убитого в результате заговора, после захвата русскими гяурами сначала при царице Екатерине, а теперь под командованием Наместника Цицианова Гянджи, укротивших Карабах и Шеки, после их вступления в Ширван и сотен подобных событий последних десяти лет пролилось столько крови, что убийства людей в этих краях стали почти обыденным делом. Но, несмотря на это, когда он новыми глазами глянул на мешок — сбоку от Махмуд-бека, — у Гаджи Мухтар-

бека волосы встали дыбом. Он содрогнулся. На руках Гаджи Мухтар-бека, чьи безбашенные, неуправляемые юношеские годы пришлось на тогдашний, кипящий после убийства Надир-шаха, котёл, тоже было немало крови; и даже теперь, перевалив за шестьдесят, Гаджи Мухтар мог, как и прежде, вскочить и ловко спрыгнуть с коня, его кинжал, как и прежде, остр, а выпущенные им пули ложатся в цель. Да, содрогнулся: ему привиделось, что Голова из мешка глядит точно на него!

В этом его огромном поместье, всегда полном гостей и родственников, свидетеле множества напряжённых ситуаций, нередко хранились набитые золотом и драгоценностями торбы, но впервые в мешке явилась Голова. Человеческая голова! И Гаджи Мухтару не понравилось, что, глянув на мешок, сам он содрогнулся, как женщина, и неожиданно для самого себя приказал:

— Открой!

Махмуд-бек принял пожелание кирвы за ненависть к Наместнику и, не сказав ни слова, развязал и опустил края мешка: поразительно, но голова князя Павла Дмитриевича Цицианова на круглом серебряном подносе и вправду глядела точно на Гаджи Мухтар-бека!

Голова отрезана ниже кадыка, поднос запятнан вытекшей и свернувшейся кровью, горло ещё не было искривлено, веки приподняты. Правый глаз выкачен, будто хотел вырваться из орбиты, левый же, смежившись, казался меньше, губы слегка сдвинуты... И в эти мгновения Гаджи Мухтар-беку показалось, что Голова, прежде чем быть отрубленной, хотела что-то сказать, но не успела. Слова, которые она пыталась вымолвить, застряли кляпом во рту. Слегка тронутые сединой курчавые, чёрные волосы взъерошены, а длинные бакенбарды выцвели и омертвели, оттого казалось, что и волосы и бакенбарды не принадлежали Голове, а появились позже.

Опустилась продолжительная тишина. Гаджи Мухтар, отведя глаза от Головы, спросил Моллы Музаффера:

— Как вы думаете, уважаемый, будет ли какая-нибудь польза от этого послания Баба-хану?

Молла Музаффар не видел Голову после того, как её отрезали, и, когда развязали мешок, этот человек, что за всю жизнь, произнося молитвы, предал земле не один десяток усопших, вздрогнул, его сердце стремительно заколотилось, закрыв глаза, торопливо, словно за ним гнались, он стал молить про себя: «Боже, прости меня! Боже, прости мои грехи!»

Вопрос Гаджи встряхнул Моллу Музаффара, заставил очнуться, с явной печалью в голосе он проговорил:

— Гаджи, тысячи сожалений, но мы не нашли иного выхода...

<sup>1</sup> Айран — разведённое в воде кислое молоко, прохладительный напиток.

В этот момент Молла Музаффару показалось, что на него снова нацелен чей-то взгляд, и Молла, внутренне вздрогнув, оглянулся по сторонам, взглянув даже на потолок.

Гаджи Мухтар-бек всё ещё был под влиянием «дара», что везли Баба-хану, и, не обращая внимания на суету Моллы Музаффара, ещё какое-то время не отводил взгляда от Головы, затем сказал Махмуд-беку:

— Закрывай.

Уставшие после ночного перехода гости, в том числе Махмуд-бек с мешком в руке, закончив трапезу, поднялись и прошли каждый в отведённую ему комнату. Вернулся в свою опочивальню и Гаджи Мухтар.

Хуру Бегим-ханым ещё не поднялась с постели — уже который месяц боль в пояснице не давала житья этой женщине, кого только не приглашал Гаджи Мухтар, чтобы пользовали супругу, начиная от врача Салахаддина, кончая костоправами и гадалками, не осталось в округе молл, что не писали ей спасительные молитвы, приглашали и известных целителей из соседних ханств, хотя рядом с Салахаддином они считали себя неучами, но боль в пояснице Хуру Бегим ханым не отпускала, больше того, усиливалась, особенно по утрам, до полудня она, как правило, пребывала в постели.

— Как там Махмуд-бек? — спросила Хуру Бегим-ханым.

— Здоров, — коротко ответил Гаджи Мухтар.

— К добру ли его приезд?

— Конечно же, к добру. А как иначе?

— Какое у него к тебе дело?

— Тебя это не касается, спи.

Хури Бегим-ханым, не имевшая ни сил, ни желания вмешиваться в дела мужа в это непростое время, пробурчала:

— Разве удастся уснуть... — и добавила: — Они ещё здесь?

— Уедут вечером.

— Да? Надо через какое-то время встать, пойти поприветствовать их... Да разве я способна подняться?... Лучше бы Аллах отнял жизнь, чтоб кончились мои муки! А Салахаддин только и именуется врачом...

— Закрой, закрой глаза, уснёшь...

— Да разве я могу уснуть!.. Если бы могла...

— Хури, — чуть повысив голос, сказал Гаджи Мухтар, — спи!

Поразительно, но после приказного тона мужа — его голос будто проникал непосредственно в мозг Хури Бегим-ханым, облегчая её страдания, что случилось и на сей раз, — она и вправду уснула.

Гаджи Мухтар-бек, совершив утренний намаз, как был, не раздеваясь, прилёг в постель и, заложив руки за голову, закрыл глаза.

Кажется, в эти-то его годы, в душу Гаджи Мухтара решил проникнуть дьявол.

Почти вырывающийся из орбиты правый и уменьшившийся левый глаз Головы не отпускали Гаджи Мухтара. И он непроизвольно ощущал, что это видение обязательно должно уйти, исчезнуть, ибо оно втягивало, тащило и его к ужасному деянию. И Гаджи Мухтар-бек сознавал, каким может быть подобное деяние, оттого он и не хотел даже приближать к себе это желание, окончательно раскрыть, разоблачить себя, словно опасался чего-то и хотел отогнать, изгнать атаковую его сознание мысль.

И в это зимнее утро не отпускающая его опасливая, устрашающая мысль понемногу обращала страх в настоящую ненависть, и с этим чувством, разрывающим его душу, Гаджи Мухтар-бек понемногу начинал ненавидеть самого себя. Годы уходят, неизвестно, как обернётся после него жизнь его большой семьи — сыновей, дочерей, внуков и правнуков, даже зятьёв и невесток, кто защитит их в это смутное время от врагов Гаджи Мухтара? Уже нет никакого сомнения, что русские полностью овладеют Ширваном, — Мустафа-хан, подписав договор, принял российское подданство, и еще вопрос, станут ли всегда русские уважительно относиться к Гаджи Мухтару и его многочисленной семье, не соблазнятся, не пожелают ли прибрать к рукам его отары, стада крупного рогатого скота, табуны, торговлю и ковро ткачество, не имеющие равных не только на Южном, но на всём Кавказе? Мустафа-хан принял российское подданство, и русские, вероятно, уже подсчитали, что у Гаджи имеется 90 десятин земли, огромные пашни, — как и что будет со всем этим, когда русские установят свои законы и правила. В том, что подобные изменения начнутся, он тоже несколько не сомневался. Эти мысли часто посещали Гаджи Мухтара в последнее время, но никогда прежде они не были столь болезненны, и предельно ясно, что причиной, затягивающей Гаджи в омут ужасных дум, явилась та самая Голова.

— Лучше бы они её сюда не привозили, — прошептал еле слышно Гаджи.

Хури Бегим-ханым, уснувшая недолгим сном, мгновенно очнувшись, медленно открыла глаза, спросила:

— Что ты говоришь?

— Ничего. Спи...

Когда хозяин этой Головы еще готовился крупными силами к походу на Баку, ему было никак не обойти Ширван, и Цицианов, использовав момент, отправил письмо, требуя от Мустафы-хана полного подчинения. Но хан тогда отверг ультиматум. Не придав этому значения, Наместник прежде двинул войска в сторону Ширвана, а Мустафа удалился в го-

ры близ Лачина, решив какое-то время переждать, чем всё это кончится. Но, когда Наместник уже ступил на землю Ширвана, Мустафа-хан, оставшись в безвыходном положении, вернулся, принял российские требования, подписал соответствующие соглашения.

Когда ничего не опасавшийся Наместник, взяв с собой человек пять-шесть — перебить их было минутным делом, — прибыл в резиденцию Мустафы-хана на горе Фит, на этой встрече среди сановников был, как всегда, и Гаджи Мухтар-бек. И в то время, знакомясь с ним, Цицианов сказал:

— Я много слышан о вас. Для налаживания стабильности в Азербайджане мы нуждаемся в таких авторитетных беках, как вы. Надеюсь, это наше первое знакомство перейдёт в будущую дружбу.

Внимательно слушавший переводчика Гаджи Мухтар сказал:

— Благодарю вас, господин Наместник. А вот о вас мы слышим постоянно... — Эта реплика прозвучала двусмысленно, даже Мустафа-хан явно обеспокоенно посмотрел на Цицианова, затем на Гаджи.

А Наместник, глядя на Гаджи Мухтар-бека, выслушал перевод и, слегка улыбнувшись, но уже с явным подтекстом, сказал:

— Еще повидаемся...

Глядя на них, Мустафа-хан предпочел сменить разговор.

— Ваше сиятельство, вы, — сказал он, — поднимаетесь в эти горы, взяв с собой всего несколько всадников, подвергая опасности свою драгоценную жизнь, — и, подняв руку, указал на пару орлов, присевших на обрывистую скалу. — Видите этих орлов? Эти горы — обитель орлов. Но наряду с орлами, здесь немало и разбойников.

Наместник Цицианов — хозяин той самой Головы, что всё это время держал в мешке рядом с собой Махмуд, — тогда отвёл взгляд от Гаджи Мухтара, тоже глянул на пару орлов, присевших и словно наблюдавших за ними с обрывистой скалы, всё так же улыбаясь, сказал:

— Хан, у императора Александра сотни таких, как я, солдат. Если я завершу свой жизненный путь, у Его Величества станет всего-навсего одним солдатом меньше. Это не повод для беспокойства!..

И тогда уже Гаджи Мухтар-беку показалось, что и в улыбке, и в словах Наместника таится некий тайный смысл, намёк на что-то... Такие нынче времена — человек невольно ищет в каждой, даже вскользь брошенной фразе некое подспудное значение. И в игре словами с Наместником тоже было много чего, и всё это стояло перед глазами Гаджи, улегшегося, не раздеваясь, в постель.

Прошло какое-то время, и по поручению Наместника полковник Корягин пригласил Гаджи

Мухтар-бека на встречу. И то, что эта приватная встреча была поручена именно полковнику Корягину, содержало особый смысл: несколько недель назад Аббас Мирза крупными силами не смог справиться с небольшим отрядом Корягина, засевшим близ Худаферинского моста на Араксе, и весть об этой виктории Корягина разнеслась повсюду, достигла даже Ширванского ханства. Наместник Цицианов поручил тайную встречу с Гаджи Мухтар-беком именно этому человеку, но Гаджи на встречу не поехал: о ней мог прознать Мустафа-хан; больше того, если бы разговор не сложился, то сами русские могли шепнуть хану об этой встрече — и тогда скрытое соперничество между Мустафа-ханом из Ханчобана и Гаджи Мухтар-беком, тоже из Ханчобана, перешло бы в откровенную вражду — а это было непозволительно. В нынешние, тяжёлые для населения Ширвана времена он не желал сеять раскол в родной Ханчобанской округе. Гаджи ограничился тем, что отправил в дар Наместнику Цицианову два больших ковра, и эти ковры стали, по существу, своеобразными, но красноречивыми посланиями.

И вот новая встреча с Наместником.

Гусейнкули-хан отправлял Голову Фатали-шаху, как бы говоря: «Я — твой человек, я принимаю твою опеку, а ты — защити меня от русских», — это-то предельно ясно. Но ни при каком раскладе хан бы не решился устраивать покушение на Наместника: на это ему не хватило бы ни дерзости, ни ума, и Гаджи Мухтар-бек не сомневался, что убийство Цицианова — дело рук Махмуд-бека. Гаджи Мухтар был также совершенно убеждён, что из-за этой Головы Фатали-шах не станет оказывать Гусейнкули-хану помощь. Даже если Аббас Мирза возьмёт верх над русскими, Фатали подомнёт под себя и Бакинское ханство, обратив его в провинцию своего государства, точно так, как он сделал это с азербайджанскими ханствами на южном берегу Аракса.

Но... однако... можно вернуть русским Голову... и за более высокую цену.

Эта мысль как бы исподволь пронзила Гаджи Мухтара в тот же миг, когда он увидел Голову, затем она вдруг внезапно явилась в обнажённой форме, так, будто была даже не мыслью, а только что родившимся дьяволёнком. Мысль потрясла Гаджи Мухтар-бека, всем своим существом он пытался отогнать её от себя, но это никак не складывалось — только что родившийся дьяволёнок вцепился насмерть.

Преподнести Голову за высокую цену вовсе не означало: возьмите Голову, а мне вручите деньги. За высокой ценой стояло иное: я, Гаджи Мухтар-бек, отвожу от русского царя Александра стыд и позор самого факта преподнесения Головы в качестве дара



Фатали-шаху — ещё неизвестно, что совершат в Тегеране с этой Головой, какие игры, унижающие и оскорбляющие русских, затеют. А я, Гаджи Мухтар-бек, превратившись во врага Фатали-шаха и всей династии Каджаров, никогда не стану искать у них убежища, ибо это будет означать гибель мою и всей моей семьи, но отчего взамен этому мне не принять покровительство вашего могучего государства и не стать ханом Ширвана подобно Ибрагим Халил-хану в Карабахе? Недовольными этим, из всего населения Ширвана, могут быть лишь десять—пятнадцать кровников, но разве Гаджи Мухтару — хану Ширвана — не плёвое дело раздавить их в кулаке и сбросить в Куру?

Отчего не быть такому?

Дербентский Шир Али-хан хотел видеть Гаджи Мухтара правителем Ширвана, об этом своём желании ещё лет пять-шесть назад он проговорился несколько своим приближённым, ибо Ширван — ворота в Дербентское ханство, и им должен править крепкий, именитый человек, как Гаджи Мухтар-бек, способный защитить Ширван от набегов соседних ханств и в первую очередь от Карабахского ханства, чтобы никто не мог, одолев хана Гаджи Мухтара, напасть на Дербент. Желание Шир Али-хана дошло и до ушей Мустафы-хана — Кавказские горы величественны, но совершенно не умеют хранить тайн: слышанное хан сам пересказал Гаджи Мухтару, буря его глазами.

Так или иначе, рано или поздно Ширванское ханство примет подданство российского царя, ибо ход истории — в продвижении Запада вперёд и в податливости Востока. Чего достиг такой бесстрашный человек, как Джавад-хан? Гянджинское ханство как ханство стёрто с лица земли, даже город Гянджа переименован, кто через сотню-другую лет вспомнит это название? Только учёные-летописцы напишут, что когда-то город звался иначе, хотя и Джавад-хан мог, подобно карабахскому Ибрагим Халил-хану, подчиниться русским, сохранить своё ханство, народ только выиграл бы от этого! Выиграл потому, что наука, просвещение тяготеют к Западу, это ясно как божий день, не видеть это — невежество.

Даже такой известный врач, как Салахаддин, уже не первый год пользуется Хури Бегим-ханым, но ничем не может помочь, а всё потому, что ему не хватает образования, и если это понимали не все, то Мухтар-бек понимал отлично. Сегодня знахарством или хорошим знанием богословия вперёд не шагнёшь, погляди, вот Султан Селим — умный человек, направил свой взор на Запад, и если невежды не воспрепятствуют, несомненно, его реформы принесут османам огромную пользу. Народ должен быть просвещён, без просвещения судьба его незавидна — в

этом Гаджи Мухтар тоже не сомневался, и при виде дисциплины, порядка, следования законам в русской армии, мечта о таком просвещении росла в нём изо дня в день.

Что станет делать Мустафа-хан? Гаджи Мухтар-бек абсолютно уверен, что оставшийся между молодом и наковальней, потерявший доверие и Баба-хана, и русских, он, как бы ни юлил, ни искал обходные пути, в конце концов поймет, что продолжать так бесконечно не удастся. Разве Фатали-шах забудет, как Мустафа-хан, пытаясь противостоять Ага Мухаммед-шаху Каджару, просил помощи и у османов, и у русских? А разве русские простят ему, что, подписав с ними договор, он одновременно просит о помощи османов — врагов русских. Всему свой срок, и, оказавшись между двух огней — русских и Каджаров, — ты должен выбрать один из них, чтобы хотя бы таким образом обрести, насколько возможно, для себя какую-то пользу, — и в этом Гаджи тоже не сомневался.

Ты должен уметь греться у очага одного из этих чудовищ — иное невозможно, — и на трон Ширвана должен заступить новый человек, принять не на бумаге, а всем сердцем предложенную русскими автономию и, засучив рукава, навести порядок внутри ханства. У Гаджи Мухтара есть сила, энергия, решимость и авторитет, необходимые для подобного нового человека. И коль это так, отчего не захватить трон Ширванского ханства и не заняться просвещением, образованием, благосостоянием народа? Разве почёт и уважение к Гаджи Мухтару от Сальян и всего Мугани — до округов Ховз, Элат, Гарасубасара, были меньшими, чем к Мустафе-хану? — нет, напротив, в ханстве все — от мала до велика — знали, что Муртуза-бек, дед Гаджи Мухтара, был Наместником Надир-шаха в этой области, и если бы дед не казнил Гаджи Мамедали хана Зарнави, из рода Аскер-бека, к которому принадлежит Мустафа-хан, тот не смог бы воссесть на троне Ширванского ханства.

Гаджи Мухтар-бек отправлял ковры в Стамбул, а из Стамбула эти ковры развозили по рынкам Англии и Франции, часть их пропадала, исчезала по дороге, отчего же не посылать их самому в Петербург или Москву и уже оттуда в Европу?

Гаджи заёрзал в постели.

Они оба — и Гаджи Мухтар-бек, и Мустафа-хан — родом из Ханчобана, и когда дед Мустафы-хана, Аскер-бек, ввязался в борьбу против назначенного Надир-шахом его представителем на Ширване чужака — Гаджи Мамедали хана Зарнави, руку помощи протянул ему именно Муртуза-бек. А теперь давайте отправимся в Ханчобан, поспрошаем людей, на чьей они стороне — Мустафы-хана или Гаджи Мухтар-бека? Гаджи Мухтар не сомневался,

что, если созвать съезд<sup>1</sup>, подобный тому, что ровно семьдесят лет назад провел Надир, на нём ханом Ширвана был бы объявлен не Мустафа, а он — Гаджи Мухтар-бек. На том, надировском, съезде собрались самые уважаемые, авторитетные люди своего времени — ханы, беки, духовенство, для них было сложено более десяти тысяч камышовых домиков. Так вот, в одном из этих домиков обосновался не Аскер-бек — дед Мустафы, а его, Гаджи Мухтара, дед — Муртуза-бек, а Аскер-бека тогда даже близко туда не подпустили.

Если на самом деле существуют знаки судьбы, то именно эти знаки привели Голову в поместье Гаджи Мухтара, и разве можно упускать подобный шанс?

Так ли уж трудно взять и отвезти Голову русским?

Десять лет назад, летом 1796 года, после захвата Эриванского ханства Ага Мухаммед-шах Каджар именно на Мугани провёл церемонию водружения на себя короны — Муганская земля любила сильных личностей, правда, не всякий хан Ширвана мог быть Надир-шахом или Мухаммед-шахом Каджаром, но что с того? — подобно любому рабу Божьему, каждый правитель должен протягивать ножки по одежке — Гаджи Мухтар в этом трудном, непредсказуемом, безумном мире сумел бы протянуть их по безупречной мерке.

Сопровождающие Махмуда всадники всю ночь провели в седле, сейчас спят мертвецким сном, перебить всех, по поручению Гаджи Мухтара, людям управляющего поместьем Гамдуллы — дело плёвое, нескольких минут. А как же другие, например, Молла Музаффар? Ладно, Бог с ними, с другими, в том числе и с Моллой Музаффаром, а как же Махмуд?

Расправиться и с Махмудом?

Разве мало примеров на свете, когда отец ради престола убивал сына, брат казнил брата? Гаджи Мухтар, ты ведь человек бывалый, что за сомнения, что за уловки?

В это время из глубины души Гаджи Мухтара вырвалось стенание:

— Проклятье дьяволу!

— Что случилось? — в полудрёме, заныв от боли, спросила Хури Бегим-ханым.

— В мою душу проник дьявол!

— Что? — всё так же в полудреме спросила Хури Бегим-ханым.

— Клянусь Аллахом, в мою душу проник дьявол! — тихо прошептал Гаджи — так, будто говорил не супруге, а самому себе.

Гаджи Мухтар-бека на Ширване знали как человека предельно властного и строгого, он иногда позволял себе подшучивать лишь над женой, и на сей

раз, приняв слова мужа за шутку, Хури Бегим-ханым сказала:

— Так гони, гони его взащей, чтоб убрался...

«Не могу прогнать!.. Не могу прогнать!..» — и эти слова Гаджи Мухтар проговорил про себя, его челюсть и руки дрожали. Конечно, можно позвать Гамдуллу, кинжал которого всегда висит на поясе, отправить его в комнату, где спит Махмуд, и всё разом кончилось бы, все потрясения остались бы в прошлом, случившееся не вернуть, время зарубцует эту рану, как зарубцевало прежние.

И в этот миг Гаджи Мухтар-беку почудилось, что кто-то смотрит на него, он невольно глянул в сторону двери, но кто там мог быть, да и кто осмелится отворить дверь их супружеской спальни?

Но Гаджи Мухтар всем существом ощущал те взгляды, нет, это не был тот, навсегда запечатлевшийся, осевший в памяти взгляд вытасненной из мешка Головы. Это совсем иные, непостижимые, словно невидимые... взгляды.

Его спину прошиб пот — что это, неужели страх? Чего он опасался? Чего боялся? — каких-то неизвестных, проникших в сознание видений или собственных мыслей?

Всё тело Гаджи Мухтар-бека была дрожь, казалось, он очутился в совершенно ином мире; это не было сном, но и не было всегдашней реальностью, явью, в этом мире сладостный соблазн слился с горчайшей горечью.

Гаджи Мухтар-бек был весь в поту, и, когда, смежив веки, он стал вытирать рукой со лба пот, внезапно, будто это воспоминание принёс, поднявшись с постели, сам Махмуд-бек, Гаджи вспомнил сидевшего у него на коленях малыша: увидев бритву в руке цирюльника Османа, он закричал, заметался, попытался вырваться, но Гаджи ещё крепче привлёк, прижал его к себе, а цирюльник Осман за секунду проделал свою работу.

И сейчас в течение секунды всё могло решиться.

И Гаджи Мухтар был готов даже прикрыть ладонью рот, чтобы не кликнуть, не позвать управляющего Гамдуллу, и, сам того не ожидая, вскочил, сказав себе: «Да, не пойдёт тебе впрок тот благословенный хадж<sup>2</sup>, что ты совершил!» — вскочил, направился к выходу.

Хуру Бегим-ханым всё так же в полусне, не открывая глаз, спросила:

— Куда ты?

— В преисподнюю! — отрезал он, затем с уязвлённой и горестной искренностью в голосе, прошептал: — Скорее бы Аллах отправил меня самого туда! — и, перешагивая ступени, спустился во двор.

<sup>1</sup> В 1736 году Надир созвал на Муганской равнине съезд, на котором объявил себя шахом.

<sup>2</sup> Хадж — религиозное паломничество в Мекку — главную святыню ислама.

Управляющий Гамдулла давал прислуге распоряжения. Внезапно увидев Гаджи Мухтар-бека, глянув ему в лицо, понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, но спросить не осмелился.

— Приведите коня! Епанчу! Папаху! — крикнул Гаджи Мухтар, слуги сбились с ног, выполняя приказы хозяина, и, едва Гамдулла подвёл Карагёза — рысака известной во всем Ширване карабахской породы, — он, уже в епанче и меховой папаче, легко вскочил в седло.

— Бек, нам сопровождать вас?

— Прочь с дороги, сукин сын! — крикнул Гаджи Мухтар, огрев плетью управляющего, а затем и Карагёза, ускакал прочь. Но вскоре повернул назад, подлетел к воротам, резко потянул коня за узду.

Карагёз поднялся на дыбы, Гаджи Мухтар-бек крикнул Гамдулле, спина которого все ещё горела от удара плетью:

— Найди этого врачевателя Салахаддина, позови от моего имени, пусть встретится с Махмуд-беком.

Вконец расстроенный Гамдулла, впервые почувствовавший на себе плетё Гаджи Мухтара, причём на глазах челяди, что уважительно называла его не иначе как «господином», не успел сказать ни слова, как Карагёз снова рванулся, ускакал и вскоре исчез из виду вместе со своим седоком.

Солнце взошло, но после столь ясной ночи свод неба стал закрываться тучами.

В воздухе запахло снегом.

Карагёз, словно почувствовав желание Гаджи Мухтар-бека любой ценой ускакать подальше, нёсся с той же стремительной страстью. Гаджи Мухтар и сам не знал, куда он скачет в это морозное зимнее утро.

Его явно гнал дьявол, в седле Карагёза он пытался бежать от дьявола...

Проснувшиеся в полдень Махмуд-бек, Молла Музаффар и Лал Гафароглу пообедали вместе с сыновьями, зятьями Гаджи Мухтар-бека.

Никто не знал, куда внезапно, причём один, без сопровождения, уехал Гаджи Мухтар.

— Бек был не в себе, — оправдывался Гамдулла. — Я не смог ничего спросить.

— Наверное, получил какую-то весть, была какая-то важная причина, что дядя уехал второпях, никому не сказавшись, и нас не счел нужным, не решил будить, — предположил Махмуд-бек. — Лишь бы всё было к добру!

— Дай тебе Бог! — вымолвил Молла Музаффар, проведя правой рукой по лицу, произнес «салават» — молитву в честь Пророка.

Кое-как собравшись с силами, заставила себя подняться, пройти к гостям, поприветствовать их и Хури Бегим-ханым.

После той спокойной ночи днём пошёл сильный снег, и Махмуд-бек, обеспокоенный внезапным отъ-

ездом Гаджи Мухтара, тем не менее, как только начало смеркаться, не стал дожидаться хозяина, вместе с Моллой Музаффаром, Лал Гафароглу и сопровождающими их всадниками, попрощавшись с членами семьи Гаджи Мухтара, снова пустился в путь.

Все обитатели дома Гаджи Мухтар-бека во главе с не находящей себе места от тягостного неведения Хури Бегим-ханым, даже как бы забывшей на время о своих хворях, ждали хоть какой-то весточки от Гаджи Мухтара. Тревога опустилась на огромное поместье. Сыновья, зятья Гаджи разослали во все концы гонцов, да и сами проехали по местам, где мог, по их мнению, оказаться Гаджи Мухтар, но в ту зимнюю, заснеженную ночь никто не знал, где же Гаджи Мухтар-бек...

...Почти превратившийся в снежный ком Гаджи Мухтар далеко за полночь вернулся в своё поместье и, не сказав никому ни слова, поднялся в спальню.

Хури Бегим-ханым сидела в ожидании мужа. Хорошо изучившая за сорок лет совместной жизни его характер, не стала ни о чём спрашивать, постанывая от боли в пояснице, заставила себя встать и лечь в постель. Гаджи Мухтар тоже не стал ничего объяснять, разделся, потушил светильник и тотчас завалялся спать.

## 11

...И в ту бессонную ночь, лёжа в темноте на своей кровати, князь Цицианов вдруг вспомнил Бабуа Арчила. Перед глазами возникло лицо Бабуа Арчила — усталые, улыбающиеся голубые глаза, осунувшееся лицо, в морщинах лоб и щёки, длинные, подкрученные вверх, жёлтые от табака седые усы... И по всему его существу прошла волна удивления: гляди-ка, который год Бабуа Арчил ему не вспоминался, а тут, впервые с того дня, как оказался в этом сказочном мире, о котором рассказывал Бабуа Арчил, вспомнил.

Но мир оказался отнюдь не сказочным.

Бабуа Арчил ушёл в лучшие веси, сидя у окна своего московского дома, мысленно глядя на горы Грузии, которых не видел пятьдесят лет; и у князя Цицианова, представляющего его, как и прежде, сидящим в кресле, родилось такое чувство, будто он отчего-то предал Бабуа.

Князь непроизвольно глянул вверх, в потолок, сказал:

— Здравствуй, Бабуа!.. Ты меня видишь?

В ночной тиши ему показалось, что голос прозвучал слишком громко, он опасливо глянул на дверь: слышал ли его дежурный офицер? Впервые за годы армейской жизни обеспокоился, что кто-то услы-

шит его. Снова, в который раз за эту бессонную ночь, осерчал сам на себя: что за сантименты? Что за ребячество?

И в этот момент, снова впервые за многие-многие годы, ему привиделись те, в заспиртованной колбе, две головы, они словно шептали друг-другу латинское: «*Memento mori*» — «Помни о смерти».

«Кажется, эта ночь враждебна мне», — подумал он, привстав, сел на краешек кровати. И вдруг родилось желание: как было в далеком детстве, вбежать в спальню своей гувернантки мадам Женон, прижаться к ней, забыть обо всём, ничего не бояться.

Чего ты боишься, князь?

Разные думы одолевали его в ту бессонную ночь, одна из них, вероятно, и заставила его приподняться и в одной ночной рубашке присесть на краешек кровати, — она особенно часто беспокоила в последнее время: Бонапарт пойдёт войной на Россию... Эта изнуряющая сознание мысль вновь и вновь посещала его, прежде чем он засыпал. В темноте перед глазами вставала знаменитая треуголка Бонапарта, казалось, она, как светильник, хотела ворваться, разорвать тело Российской империи.

Рано или поздно Бонапарт объявит войну России — да, в этом князь нисколько не сомневался. Если даже корсиканец обезопасит себя от Англии, окончательно поставит на колени Австрию, Пруссию, Италию, Испанию, изгонит Османов из Восточной Европы, — Франции, с Россией в тылу, не стать страной-гегемоном, а Наполеону — самодержавцем всего мира. Россия была преградой, камнем преткновения его ненасытным амбициям.

Какие бы обязательства ни брал на себя Наполеон, какие бы договоры ни подписывал — рано или поздно он предпримет поход на Россию.

Но готова ли к этому Россия?

Кто поможет России? Никто.

Россия всегда была одинока и вечно будет одинока, потому что она по складу характера, внутренней природе чужда Европе. Потому что внутри России, этой страны морозов и метелей, существует такое горение, такая простота и милосердие, чего нигде нет в Европе и, как убежден князь Цицианов, никогда не будет. Это горение, простота и милосердие порой обращались в простодушие, приводили к отсутствию самооценки, слепому преклонению перед иностранцами, признанию заранее их превосходства, что всегда вызывало гнев князя Цицианова.

Разумеется, русский солдат — солдат не прусский или австрийский, он никогда не трясётся над жизнью. Но и Бонапарт — генерал не ординарный... Цицианов ощутил, что в этой тёмной комнате по его лицу скользнула улыбка: подумать только! — они, то есть русские генералы, в том числе и князь Цицианов, могли стать коллегами Бонапарта. Дело в том,

что, когда Екатерина II нанесла поражение туркам, молодой Бонапарт прибыл в Петербург, желая поступить на службу в русскую армию, — об этом князю рассказывал знавший все новости раньше прочих, друг его юношеских лет Николенька, граф Николай Тимофеев-Богоявленский. Один из талантливейших русских генералов, Тимофеев-Богоявленский, участник знаменитого перехода фельдмаршала Суворова через Альпы, к сожалению, который год из-за ранения позвоночника прикован к постели. Это были те времена, когда несчастный Павел заключил с Англией, Турцией, Австрией и двумя сицилийскими королевствами союз против Франции.

Князь Цицианов не сомневался, что Его Величество российский император, несмотря на молодость, хорошо просчитывает создавшуюся ситуацию, но вокруг него столько скудоумных чинуш, неспособных достойно оценить сложившееся положение. Выклянчить у императора очередной орден, заслужить его улыбку, пресмыкаясь перед ним, добиться званий — расплодившиеся во дворце чинуши этим только и жили.

Поэтому генералов, недостойных имени русского солдата, наверное, больше, нежели достойных, да и в Кавказской армии их немало. И князь Цицианов раз за разом отправлял подобных в отставку, часто несмотря на их весьма влиятельных и занимающих высокие посты покровителей. Что смогут противопоставить люди, ставшие генералами только благодаря протекции, французам — Мюрату, Нею, Ланну, Даву?<sup>1</sup>

В эту бессонную ночь князь и принял решение — завтра же написать императору.

...Впрочем, хватит об этом, следует спать.

Но, чтобы уснуть, необходимо, дабы тебя сморил сон, — Цицианов улыбнулся самому себе: сон, к сожалению, на военной службе не состоит, сну не прикажешь.

Князь всей душой презирал тех горе-генералов, чьих заслуг перед Россией куда меньше, нежели орденов и медалей на груди, которыми они кичились друг перед другом. Он нисколько не скрывал своего презрения, оттого и в генералитете было немало его недоброжелателей. Все полученные им награды — многочисленные ордена и медали — ему дороги, свидетельствовали о реальных победах на конкретных полях сражений. Он гордился ими, но надевал парадный мундир только в особые, памятные дни, любил носить только что учреждённую императором Александром, в честь взятия Гянджи, специально отлитую, по его представлению, из чистого серебра медаль, которую полагалось иметь при походном мундире. 3700 таких медалей отправлены главнокоман-

<sup>1</sup> Наполеоновские маршалы.

дующему, но на оборотной их стороне были выгравированы следующие слова: «За труд и храбрость при взятии Гянджи», что вызвало гнев князя — ясно, что втиснутое слово «труд» было делом рук болванов, что просиживали штаны в Петербурге и украшали свои мундиры наградами за несуществующие «труды». В ту же ночь князь с особой реляцией вернул медали обратно, написав Его Величеству императору соответствующее письмо с просьбой расплавить те медали и заново отлить 1560 экземпляров новых, на которых не было бы слова «труд», и чтобы ими награждали только тех, кто непосредственно участвовал в осаде и взятии Гянджи. А также чтобы средства после расплавки прежних медалей пошли на отливку колокола тифлисской церкви. Конечно, возвращение учреждённых, уже отлитых медалей было исключительной дерзостью, этот акт мог иметь серьёзные последствия: уж доброхоты в Петербурге постарались бы! — но последнее слово было за императором, и Его Величество принял предложение Цицианова.

В ту бессонную ночь князь Цицианов снова обратился мыслями к Бонапарту: если тому удастся поприжать Россию — главнокомандующий даже мысленно не хотел произносить «п о р а ж е н и е» — что, в таком случае, ожидает Южный Кавказ? Столько мук и жертв, столько пролитой крови, столько потраченных средств, постоянное напряжение сил, и всё — коту под хвост?!

Князь видел свою миссию в решении не чисто территориального вопроса, а в долге мирового значения — полного и безусловного вхождения Южного Кавказа в состав России, понимали это или нет сидящие в Петербурге чинодралы, было ли отношение лично к нему доброжелательным или отрицательным, оценивали его деятельность положительно или напротив — всё это не имело для князя Цицианова ни смысла, ни значения. Главное, чтобы была великая Российская Империя, а останется ли через сто, двести лет в истории имя Павла Дмитриевича Цицианова, генерала от инфантерии, по существу, не играло роли, ибо если нет самого человека, увековечение его имени не имеет значения, потому что главней всего — Родина.

Какая Родина?

Князь Цицианов и сам вздрогнул от этого вопроса.

Что за дурацкий вопрос?

Но князь Цицианов не из тех, кто уходит от подобных каверз, иногда необходимо отвечать и на дурацкие вопросы, чтоб всё было ясно и определённо.

Екатерина Великая — немка, кто являлся отцом несчастного Павла — известно одному Богу, есть ли в венах Александра хоть капля русской крови? — тоже тайна за семью печатями, и, зная, что знали все,

князь Цицианов не должен был скрывать и от самого себя эти тайны — главное, есть великая Россия, и эта великая Россия — его Родина.

Князь Цицианов любил Александра, молодого, умного, красивого, высококультурного императора, любил идущей от сердца любовью и распорядился, чтоб во всех мечетях Грузии и Гянджи и в целом на всех покорённых им территориях во время намаза возносились молитвы в честь императора и его семьи. Он также распорядился, чтобы рескрипты — благодарственные письма, направленные ему императором, зачитывались во всех воинских частях, вне зависимости от того, где те дислоцировались, князь Цицианов гордился этими рескриптами.

Но он, генерал от инфантерии, князь Павел Дмитриевич Цицианов, служил не лично императору Александру, точно так же, как не служил лично незабвенной Екатерине — она называла его «мой генерал», — не служил и несчастному Павлу. Он всегда служил России и, думая об этом, ощущал внутреннюю гордость; всё, что он совершал с помощью своего меча, делалось от всего сердца, делалось с любовью, ради интересов Российской Империи, он только исполнял свой долг — долг русского офицера. Он не нашёл времени, возможности жениться, обрести семью, все его мысли и пристрастия сконцентрировались в разящем, державном мече, что он прочно удерживал в руке.

Вот потому-то, князь, в эти свои немалые годы ты и остался бобылём! Большая часть жизни прожита, сколько осталось?

«Memento mori...»

В любом случае, если смерть неизбежна, неминуема, какая разница, одинок ты или обременён семьёй, кто ты и что ты? Кто знает смысл всего этого? Никто! И никогда и никто не узнает: ворота, затворившие божественные тайны, смертному не открыты.

Достаточно, князь! Теперь ты уже становишься философом-богословом?

Князь Цицианов был русским офицером, личная жизнь, национальные корни в сравнении с честью русского офицера не имели для него никакого значения.

Так-то оно так... но порой... особенно в последнее время... издалека, из самой глубины его души, доносился слабый, бессильный зов, и та отдалённость, та глубина словно были глубинностью веков, да, ослабевший, истончившийся зов доносился, сорвавшись из дальней дальности веков.

И подобный зов не нравился князю Цицианову.

К какому роду-племени принадлежал Иисус Христос, кто он был по национальности — имеет ли это значение хотя бы для одного из миллионов, поклоняющихся ему? Нисколько!

Почему ты думаешь, что накануне ухода в лучший мир сидящему у окна своего московского дома Бабуа Арчилу виделись горы Грузии? Что за выдумки? Что за дешёвая романтика? А может, в те последние мгновения Бабуа вспоминал своих бывших любовниц — московских красавиц? Разве этого не могло быть?

И в темноте своей спальни он непроизвольно глянул в потолок, и ему привиделось, словно оттуда, сверху, улыбаясь всегдашней доброй улыбкой, Бабуа говорит с гортанным грузинским акцентом: «Иисус — был сыном Создателя, а твой отец и мой друг Дмитрий — сыном Пааты».

Хватит!

Достаточно, возьми себя в руки, князь.

Но откуда это пришло? Этот хриплый, дрожащий голос донёсся из преисподней? Это был голос разбойника Емельки: «Прости мои грехи, о православный народ!..»

Всё существо князя охватила ярость: теперь этот сатанинский пёс — Емелька даёт ему уроки совестливости? Да, князь Цицианов привёл Великую Россию на Кавказ на штыках, но придёт время, Кавказ узнает и другую Россию, и эта, другая, Россия обеспечит краю мир и стабильность, откроет школы, театры, станет издавать газеты и журналы, и та Россия будет не Россией пули и штыка, а — Россией пера и добра.

Но... что сможет сделать на Кавказе эта Россия пера? Кавказ может взорвать Россию изнутри, кавказцы, держа в одной руке перо, в другой — кинжал, могут устроить такую бучу, что все эти мараты, робеспьеры, дантоны окажутся присказкой. Кавказцы придут и возглавят Россию, и как в таком случае сложится судьба державы? Они будут уничтожать друг друга, а в России один из них станет неким Наполеоном.

В это время князю вспомнился палач Сансон<sup>1</sup>, отрубивший сотни голов, в том числе и голову Дантона, — книгу мемуаров палача, изданную несколько лет назад в Париже, он прочёл, будучи в Петербурге. Сансон нисколько не тяготился своей профессией. Этот известный палач сначала орудовал топором, затем, после её изобретения, казнил с помощью гильотины, в своей книге он описывал, как вели себя его жертвы, что говорили на смертном одре. В эту бессонную ночь князь Цицианов вспомнил то, что сказал палачу в последние свои мгновения сам Дантон: «Не забудь поднять и показать мою голову толпе, подобные головы доводится видеть не часто».

Князь Цицианов резко потряхнул головой, словно хотел отогнать и выбросить из головы мрачные, как эта комната, мысли, и тут ему внезапно вспомнилось, что Бабуа Арчил заставлял его вызубрить какое-то слово... Что было за слово? Что означало?

И в тот же миг Бабуа Арчил возник перед его глазами: «Паата, повтори!»

Что? Что означало это слово?

«Повтори!..»

«Повтори ещё раз!..»

«Скажи громче!..»

«Говори смелей!..»

За прошедшие долгие годы слово выпало из сознания Цицианова, и после стольких лет в эту ночную пору он не стал насиловать свою память.

Князь пошарил рукой по тумбочке, нашёл, зазвонил в маленький колокольчик.

Казалось, ординарец стоял за порогом:

— Слушаю, Ваше сиятельство!

То, что ординарец столь мгновенно вошёл в спальню, отчего-то не понравилось Цицианову, и он сказал рассерженно:

— Принесите мне воды.

Казалось, и теперь не прошло и секунды, как офицер вернулся и протянул чашку с водой.

Свет нефтяного светильника из приоткрытой двери, примыкающей к спальне комнаты, лишь очерчивал фигуру офицера, князь не видел его лица, тот стоял, ожидая возврата чашки, это тоже раздражало главнокомандующего, и отчего-то он вдруг вспомнил — поистине эта ночь — ночь воспоминаний — майора Лисаневича: узкие серые глаза того талантливого офицера, назначенного командиром гарнизона Шуши, словно были в тревоге, будто он всё время находился в засаде, за кем-то следил, постоянно высматривал свою жертву.

— Можете идти!

Ординарец вышел из комнаты.

Что это за слово?

Князь сделал несколько глотков, поставил чашку на тумбочку.

Видимо, одиночество, отсутствие семьи, детей на самом деле противоречат законам природы, и с возрастом эти противоречия начинают сказываться. Но теперь это уже от тебя не зависит.

Князь Цицианов в этой темноте, словно в отражении зеркала, ясно увидел ту давнюю горестно-саркастическую улыбку, что осела на губах, и это ещё больше обескуражило его.

Но если ты толкуешь о законах природы, то Создатель не забыл тебя: в этом мире станут жить твои внуки, правнуки, праправнуки, правда, они не будут ничего знать о тебе, ну и что? — не эгоизм породил законы природы, и ты, князь, не соотноси законы природы со своим эго — твои наследники не будут

<sup>1</sup> Казнивший в общей сложности 2918 человек, Шарль Анри Сансон был наследственным палачом. Его воспоминания были изданы, но впоследствии стало известно, что воспоминания писал не он, а Бальзак.

знать тебя, но в их венах будет кипеть твоя кровь, и они станут служить родине так, как служили их отец и дед.

Погоди, генерал! Что это, отчего ты пытаешься столь убого утешать себя? Да, речь идёт не о твоих, а маркиза Жерара де Лафонжена потомках. На какой родине они будут жить, какой отчизне станут служить, князь?

Мишель...

Полученное им некоторое время назад неожиданное письмо Натали Аркадьевны де Лафонжен, казалось, оставшейся в недостижимом, непроглядном прошлом, взорвалось в душе князя Цицианова, будто снаряд.

В жизни князя, разумеется, было немало женщин, но самой чистой, с трепетной душой была Натали — маркиза де Лафонжен. Тифлис, и в целом Кавказ, конечно же не Петербург, Москва или же Варшава, но и здесь у князя Цицианова завязывались какие-то тайные романы. Но ни один из них не оставлял в его жизни следа, эти романы, по сути их и романами назвать нельзя, были естественной потребностью организма — такой, как утоление жажды или голода. Герои петербургских аристократических салонов постоянно жили в поиске любовных интрижек, приключений, в свою очередь их верные жёны наставляли им рога, но Натали...

Натали была совершенно другой, она напоминала белых и нежных бабочек, которых он ловил сачком в детские годы в подмосковных садах; казалось, всё существо Натали такое же хрупкое и незапятнанное, как белые крылышки бабочек.

Натали была одной из прелестных и несчастных девушек аристократического общества Петербурга. Она построила семью не по любви, её выдали замуж по расчёту: маркиз Жерар де Лафонжен являлся представителем древнего и состоятельного французского рода, это родство повышало значимость и вес её отца — графа Аркадия Разумовского — в глазах двора и общества.

Но если Создатель сотворил её столь чистой и прекрасной, имела ли она право хоть раз в жизни полюбить? И Всевышний одарил её такой любовью. Натали всей душой полюбила его — командира Санкт-Петербургского гренадёрского полка, князя Цицианова. Для неё, для Натали, это была греховная страсть, приносила ей душевные муки, она не совладала с этими страданиями, и они расстались.

Князь конечно же сжёг её письмо, но помнил его наизусть.

\* \* \*

*ОН ничего не ощущал: ни боли, ни голода, ни жажды, ни тревоги, ни заботы.*

*И это словно делало ЕГО бесплотную и невесомую субстанцию ещё более умиротворённой и свободной.*

*Но это приводящее в изумление, постепенно углубляющееся сожаление никак не согласовывалось с этой умиротворённостью и свободой, и, что бы ни пронеслось сквозь ЕГО окончательно пробудившуюся память, что бы ОН ни видел в том, видимом, измерении — это изумление и сожаление обращались в некое чувство бессмысленности и уводили ЕГО в бесконечную неведомость вопроса — «почему?».*

\* \* \*

*На этой тесной и безлюдной улице ощущалась кавказская аура, она напоминала одну из улиц Тифлиссского квартала Шайтан-Базар, но узкий тротуар её покрыт киром<sup>1</sup>, а кир — означал нефть, и конечно же это была одна из улочек Бакинской крепости.*

*Речные камни, устилавшие улицу, словно тосковали в эту утреннюю рань о человеческих шагах.*

*Вдалеке, по самой середине улицы, шла собака. Весь вид этой праздношатающейся, приближающейся собаки свидетельствовал о таком же, как эта улица, одиночестве и бесприютности.*

*И вдруг ЕМУ почудилось, что эта медленно бредущая по тесной, устланной речным камнем улице в поисках, чем бы поживиться, собака на самом деле это ОН сам...*

*...Вот так, не собака, медленно бредущая по улице, а ОН сам...*

*Но это внезапно родившееся чувство растаяло, исчезло в бестелесности и невесомости ЕГО субстанции...*

## 12

Цитирую письмо маркизы Натали де Лафонжен

*«Тифлис.  
Его сиятельству,  
князю П. Д. Цицианову.*

Князь, садясь за это второе, вероятно, последнее письмо, я трепещу, быть может, не меньше, чем в ту ночь, семнадцать лет назад, когда призналась Вам в своей любви.

Князь!

Вчера Вашему сыну Михаилу — Мишелю де Лафонжену — исполнилось 16 лет.

Это не описка, князь.

Мишель де Лафонжен — Ваш сын.

<sup>1</sup> К и р — подобие асфальта.

До сих пор об этом на свете знали только Создатель и я, грешная, падшая женщина.

Теперь это знаете и Вы.

Уже шестнадцать лет всякий раз, прижимая к груди Мишеля, я переживаю нравственные муки из-за своего предательства по отношению к мужу, Жерару Лафонжену.

Да, я любила Вас, князь, эта любовь была подобна урагану, началась и в течение месяца завершилась.

Не входя в подробности этой любви и этой разлуки, я не хочу заново расстраивать Вас, равно как и себя.

Вы и сегодня дороги мне как настоящий отец моего единственного сына, но это нисколько не облегчает переживаемые мной многие годы нравственные муки и страдания. Вдобавок к ним, по мере взросления Мишеля, наблюдая за его успехами, я переживаю ещё большие душевные муки и за Вас: отчего Вы не должны знать, что у Вас есть такой сын? Ведь грешна я, а в чём вина Ваша? Я разбудила этот ураган, я и должна носить в себе эту боль.

Маркиз Жерар безумно любит своего сына, с той же страстью Мишель любит своего отца Жерара де Лафонжена, гордится им, во всём стремится подражать ему.

Вы конечно же понимаете меня.

На днях мы переезжаем во Францию.

Не знаю, простит ли меня Господь, но мне остаётся лишь день и ночь молить Его об этом. Но, зная Ваше сердце, князь, во мне теплится хоть небольшая, но все же надежда, что и Вы простите меня.

Эта надежда придала мне смелости, и я открыла Вам правду.

Когда я думаю, какие чувства станете переживать Вы по получении письма, меня охватывает ужас, но у меня не было иного выхода.

Князь, мне известно Ваше благородство, и я знаю, что Вы бросите в огонь, сожжёте это письмо, точно так, как сожгли моё первое, написанное шестнадцать лет назад.

Кроме нас — Вас и меня — эту тайну будет знать только Всевышний.

Прощайте.

Всегда помнящая и обречённая до конца жизни помнить Вас,

*Маркиза Натали де Лафонжен  
16 марта 1805 года  
Санкт-Петербург.*

избрал местом стоянки очередного военного лагеря равнину, где сливались Кура и Аракс. И, несмотря на слабость, озноб и раздражение, вызванные лихорадкой, что не отпускала его который день, ему нравилось журчание воды, доносящееся со стороны Куры, казалось, это журчание приносило ему умиротворение.

В первый день прибытия в Тифлис Кура напомнила ему родную Неву, тогда князь пережил странное чувство: словно то, что Кура напоминала ему Неву, имело необъяснимый и неприятный оттенок, и это его раздражало.

Не обращая внимания на мольбу своего адъютанта полковника Грендфальда: «Нельзя, Ваше сиятельство! В этом состоянии вам не следует выходить наружу! Я прошу вас!..» — он в это морозное, рассветное утро вышел, чтобы лично всё обойти, самому проверить положение в лагере. И эта поразившая его накануне похода в Баку подлая хворь, после очередной мучительной ночи, сказывалась на всём его настрое с той самой минуты, что он проснулся.

Когда у него начинался озноб, полковник Грендфальд или второй адъютант — подполковник князь Эристов накрывали его изготовленным азербайджанцами, набитым толстой шерстью стёганным одеялом. Затем его бросало в жар, прошибал такой пот, что становились влажными не только ночная рубашка, но даже матрац и одеяло. Через какое-то время озноб снова возвращался, и князь Цицианов хотел именно в этот короткий промежуток, между жаром и ознобом, самому обойти лагерь.

Он знал лично многих офицеров, иногда даже некоторых рядовых, и на сей раз уже издали узнал старослужащего — капитана Сухарева: вместе с каким-то поручиком они вели куда-то кавказца со связанными за спиной руками.

— Сухарев! — крикнул явно ослабевшим от лихорадки голосом князь.

Сухарев и поручик придержали шаг, обернулись и, увидев в предрассветной мгле главнокомандующего, вытянулись во фрунт.

Князь Цицианов вместе с полковником Грендфальдом подошли к ним, кавказец, поняв, что приблизившийся человек — кто-то из имеющих высокий чин, устремил на князя полные страха и любопытства глаза.

— Что случилось? — спросил князь Цицианов, скользнув взглядом по кавказцу.

— Ваше сиятельство, этот туземец пытался угнать коня поручика!

Ещё больше вытянувшись, поручик представился:

— Поручик Глушков!

Ослабевшие, обессиленные после мучительной ночи глаза князя Цицианова сверкнули гневом, по-



смотрев на всё ещё глядящего на него с надеждой кавказца, спросил:

— Он что, хотел угнать коня из лагеря? — Затем, уставившись прямо в глаза кавказца, добавил: — Откуда такой явился?

Под гневным взглядом князя кавказец будто съёжился, стал даже казаться меньше ростом, явно осознав, что дела его совсем плохи.

— Видимо, из села Сумахлы, тут рядом, Ваше сиятельство. Поручик услышал какие-то шорохи, схватил его, — ответил Сухарев.

— А как он проник в лагерь? — уже в ярости спросил Цицианов.

Всё так же вытянувшийся во фрунт Сухарев промолчал.

Цицианов, не оборачиваясь к Грендфальду, бросил:

— Разберитесь, доложите мне!

В свою очередь фон Грендфальд, также вытянувшись, с немецкой чёткостью выпалил:

— Слушаюсь, Ваше сиятельство!

Глядя с презрением на кавказца, будто перед ним было нечто отвратное, грязное, князь спросил:

— Куда вы его ведёте?

— С вашего позволения хотим вздёрнуть перед всем лагерем. Пусть это станет уроком и для других туземцев!.. — ответил Сухарев.

То, что какой-то прощелыга, конокрад, смог запросто пробраться в военный лагерь, в его лагерь, окончательно вывело главнокомандующего из себя, к тому же он чувствовал, что вот-вот снова подступит озноб.

— Нет! — приказал он. — Снимите с него всё это тряпье, штаны ниже пояса, привяжите покрепче к ослу и отпустите! Пусть в дом, куда он хотел привести коня, его голышом приведёт осёл!

Наступила тишина; не знающий русского и оттого не ведающий о своей будущей судьбе кавказец с явным испугом и страхом переводил взгляд с Цицианова на фон Грендфальда, затем с Сухарева на поручика. И в это время капитан Сухарев неожиданно заявил:

— С кавказцами так поступать нельзя, Ваше сиятельство! Их можно повесить, расстрелять, но так унижать нельзя!

Цицианов поражённо посмотрел на Сухарева: жалкий, безродный капитанишка осмеливается в подобной форме обсуждать приказ главнокомандующего, учит, как ему обращаться с кавказцами!

И в это время, совершенно неожиданно, перед его глазами ожило озабоченное лицо его друга, впрочем, не так уж и друга, — если был на свете некто, кого он мог назвать другом, это был Коля, Николай Тимофеев-Богоявленский, впрочем, и «друг» понятие условное, придуманное людьми, — просто хороший знакомый, приятель, барон Фёдор Уолтфилд.

Барон Уолтфилд, одно время герой аристократических салонов Петербурга, умер почти двадцать лет назад от инфлюэнцы.

За эти двадцать лет на памяти князя Цицианова ни разу не было дня, чтобы он так внезапно вспомнил барона Уолтфилда, всегда весёлого, слывшего душой общества. Но сейчас расстроенное лицо барона вдруг ожило перед глазами Цицианова. Это был тот самый день, когда весь Петербург с поздравлениями стекался в поместье барона на берегу Невы. За день до этого, после нескольких лет бездетности, на свет появилось первое чадо барона, и тогда Уолтфилд с фужером шампанского в одной руке, а другой взяв под руку Цицианова — отчего именно Цицианова, а не кого-то другого? — отвёл его чуть в сторону и с печалью в голосе, которую всячески хотел скрыть от всех, признался:

— Мы не знаем, мальчик это или девочка.

Князь Цицианов удивлённо глянул на него:

— Я вас не понял, барон...

— Лучше вам и не понимать, князь... Губерман говорит... — Уолтфилд глубоко вздохнул, помолчал, затем добавил: — Губерман утверждает, что ребёнок гермафродит...

Получивший образование в Гейдельбергском университете, приглашённый в Россию ещё во времена Екатерины II, доктор Натан Соломонович Губерман слыл самым известным и авторитетным гинекологом Петербурга. Ставить под сомнение его диагноз, возражать что-то — было бы ложным утешением, поэтому Цицианов лишь коснулся фужером с шампанским фужера барона.

После внезапной кончины барона Уолтфилда его вдова вернулась на свою родину, в Пруссию, а как сложилась или не сложилась судьба их ребёнка-гермафродита знал лишь Всевышний. Впрочем, судьба младенца — как и каждого из нас — была делом самого Всевышнего, и вмешиваться в Его дела не следовало.

Отчего вдруг вспомнилось это событие? Бледное от болезни лицо Цицианова покраснело — после слов безродного капитана он почувствовал себя кем-то вроде национального гермафродита. Что это? Отчего подобные глупые бредни приходят в голову?

Эти ненужные и бессмысленные воспоминания и мысли, его собственная память настолько огорчили Цицианова (к тому же он с досадой почувствовал, что раскраснелся на глазах офицеров от подступающей лихорадки), что он обжёг капитана Сухарева суровым взглядом, словно причиной его огорчения и был служивый капитан, и, сам того не ожидая, гаркнул:

— Свинья, я не нуждаюсь в твоих советах!

По лицу хорошо знакомого с подобными вспышками гнева главнокомандующего адъютанта фон Грендфальда скользнула еле заметная улыбка — сво-

ей приплюснутой физиономией капитан Сухарев на самом деле напоминал незадачливую хавронью.

Вообще-то, вопреки немецкой сдержанности — никогда не выдавать свои чувства, полковник Грендфальд сегодня был в приподнятом настроении: его восьмилетняя дочь Изольда впервые в жизни самостоятельно написала отцу письмо, и получивший его прошлым вечером полковник прочёл его с гордостью и удовлетворением: в первом своём письме, написанном Изольдой на немецком языке, не было ни одной грамматической ошибки!

Саркастическая полуулыбка на губах фон Грендфальда не осталась незамеченной Сухаревым: генерал, туземец по происхождению, вместе с этим «фоном» оскорбляют русского офицера!

С той же яростью в голосе главнокомандующий приказал не капитану Сухареву, а Глушкову:

— Поручик, выполняйте приказ и доложите мне лично!

Всё это время не осмелившийся даже пикнуть, вытянувшийся во фронт поручик Глушков, видимо, желая освободиться от напряжения, торопливо выпалил:

— Слушаюсь, Ваше сиятельство!

— Можете идти! — рявкнул князь Цицианов.

С трудом подавляя готовую выплеснуться наружу, разрывающую всего его ненависть, капитан Сухарев вместе с поручиком Глушковым и трясущимся за свою жизнь кавказцем ушли прочь.

Глядевший вслед им полковник Грендфальд, хорошо зная, что даже в лихорадке князь через какое-то время потребует к себе поручика, лично спросит, исполнен ли приказ, подумал, что лучше на всякий случай самому проконтролировать исполнение приказа — раздеть догола кавказца ниже пояса и отправить его восвояси, привязав к спине осла.

\* \* \*

*В том видимом измерении маленькая Наташа крикнула: «Папá приехал!.. Папá приехал!..»*

*Никогда ОН не видел в детстве Наташу — маркизу Наталью Аркадьевну де Лафонжен, но это была Натали, пяти лет от роду, она гуляла в том прекрасном саду меж кустов раскрывшихся алых роз и, с счастливой радостью крича: «Папá приехал!», бросилась к отцу...*

*...Граф Аркадий Ефимович Разумовский, прижимая к груди дочь, приговаривал: «Моя Наташка!.. Знаешь, как я по тебе соскучился!..»*

\* \* \*

*Военный атташе посольства Франции в России молодой маркиз Жерар де Лафонжен надевал на палец невесты кольцо.*

*Невестой была девятнадцатилетняя Натали.*

*Затем они, Жерар де Лафонжен и теперь уже Натали де Лафонжен, коснулись друг друга губами.*

*Волны радости, счастья, рождённые этим поцелуем, разлились вокруг в том видимом измерении, но приглашённые на церемонию бракосочетания Жерара и Натали де Лафонжен гости не почувствовали разлившихся вокруг волн радости и счастья.*

*ОН же ясно видел эти волны радости и счастья, только ОН слышал идущие от сердца слова, что горячо шептала на ухо Жерара де Лафонжена Натали: «Мой любимый!.. Нас может разлучить лишь смерть!..»*

\* \* \*

*Те волны радости и счастья, растаяв, исчезли.*

*И в ночной темноте, окутавшей видимое измерение, сидя в пеньюаре с расстегнутым воротом за столиком, при свете свечи Натали де Лафонжен взволнованно писала письмо и, так же взволнованно дыша, на низывала на бумаге строки, а её белеющие при свете свечи полные груди, казалось, не умещались в ночную рубашку, были готовы выскользнуть наружу...*

*ОН снова перечитал написанное прекрасным почерком Натали де Лафонжен то самое письмо:*

*«Я люблю Вас, князь. Я не могу совладать со своими чувствами, они сильнее моей воли, я не в силах обуздать их. Закрывая глаза, я вижу только и только, князь, Ваш пламенный взгляд.*

*Не знаю, быть может, Господь испытывает меня, не знаю... Пусть! Пусть будет — что будет! Я знаю, даже убеждена, что это испытание может иметь страшные последствия, моя любовь ведет меня к греху, но, князь, это меня не пугает, подобная смелость охватывает страшным изумлением всё моё существо.*

*Только благодаря Вам, князь, моей любви к Вам, я в силах вынести это неодолимое потрясение. Все эти бессонные, мучительные ночи я думаю, осмелюсь ли довести до Вас эти чувства. Нет, рассуждаю я, моя гордость, моё достоинство, моя честь не позволят сделать это. Но любовь настолько правит мной, что у меня не хватает сил, нет, не обуздать, а, напротив, не открыться Вам. И думаю: неужели любовь столь предосудительна, что я вынуждена переживать столько страданий? Скрывать свою любовь от человека, которого люблю?*

*Князь, я люблю Вас, я могу скрыть эту страсть от всех окружающих, но только не от Вас. Если Господь дозволил, чтобы эта любовь проникла в мою душу, отчего же я должна скрываться от Вас? И я со всей страстью, что выплёскивается из моей души, говорю: я люблю Вас, князь!..»*

*Натали подписала письмо не «маркиза де Лафонжен», а просто «Натали...».*

\* \* \*

...Натали — маркиза де Лафонжен — в прозрачном пеньюаре, сквозь который просвечивали её белые плечи, груди, целуя волосатую грудь обнажённого князя Цицианова, повторяла: «Мой дорогой!.. Мой любимый!.. Моя жизнь!..»

И пока она говорила эти слова, целуя ЕГО волосатую грудь, в том, видимом, измерении разливались волны радости и счастья, страстные влюблённые были внутри радости и счастья того, видимого, измерения, которое они считали реальностью.

Натали де Лафонжен стонала от страсти, и в эти мгновения, вдохновлённый стоном маркизы, желая слышать ещё более страстные стенания этой прекрасной женщины, князь Цицианов упоённо целовал её белые, влажные от жара груди, шею...

\* \* \*

...Четырёх-пятiletний Мишель, крича: «Папá приехал!.. Папá приехал!..», бросился с площадки перед особняком к Жерару де Лафонжену.

Маркиз, с любовью и гордостью в душе приговаривая: «Мой любимый сыночек!..» — приподнял, прижал Мишеля к груди. И ОН почувствовал, что ЕГО бесплотной, невесомой субстанции вновь легко коснулась чуждая, никак не согласующаяся с ЕГО бесплотностью и невесомостью лёгкая забота: отчего столько лицемерия, предательства и фальши проникло в это, видимое, измерение? Отчего лицемерие, предательство и фальшь облачены в одеяния истины, отчего они столь легко подменяют реальность?

...Затем та самая забота, легко коснувшаяся ЕГО бесплотной, невесомой субстанции, так же легко растаяла с НИМ, исчезла...

\* \* \*

...ЕГО пробудившаяся память не знала никаких границ, и эпизоды сменяли друг друга.

...Казалось, ЕГО пробудившаяся память решила мстить кому-то, отчего-то, за что-то...

\* \* \*

...Прошедшее время сделало Натали де Лафонжен ещё желаннее, её оголённое тело, казалось, вобрало в себя всю страсть, жизнерадостность и привлекательность того, видимого, измерения...

И обнажённая Натали де Лафонжен, страстно целуя гладкую, без единого волоска грудь лежащего на просторном ложе Николая, говорила: «Я никогда, никогда так не любила, как тебя, Коля, мой любимый, мой дорогой!.. Всю свою жизнь я ждала только тебя!.. От-

куда ты явился? Я знаю, тебя прислали ко мне мои девичьи грёзы!..»

В том видимом измерении, в состоянии полного равнодушия и отстранённости, ОН глядел на ещё раненного, здорового — Николая Ивановича Тимофеева-Богоявленского.

А Натали де Лафонжен, с той же страстью целуя Николая, шептала: «Я боюсь, Коля, мой дорогой, моя жизнь!.. Ты отправляешься на войну с Бонапартом, говорят, он исчадие ада... Дитя не Создателя, а дьявола... Я боюсь, Коля, очень боюсь... Я день и ночь буду молиться за тебя... Всевышний услышит меня... Но я боюсь... Очень боюсь...»

\* \* \*

Престарелый граф Аркадий Евдокимович Разумовский, помахивая трясущейся от волнения рукой, провозжал выезжающую из ворот его поместья карету, она увозила в далёкую Францию маркизу Натали де Лафонжен вместе с сыном и мужем.

Шестнадцатилетний Мишель, глядя назад из приоткрытой дверцы кареты, кричал:

— До встречи, дедушка!.. Пока!..

Старый граф всё так же махал дрожащей рукой, шепча: «Прощайте!.. Прощайте!..»

## 14

Князь П. Д. Цицианов — графу Н. И. Тимофееву-Богоявленскому

«Санкт-Петербург,  
Его Превосходительству  
Графу Н. И. Тимофееву-Богоявленскому

Николай, мой дорогой друг детства и юности!

Как хорошо, что ты есть!

Как славно, что я могу поделиться мыслями с тобой — моим единственным на свете другом.

Это первое письмо, что я пишу тебе в завершающийся четвертый месяц 1804 года, но события этих четырёх месяцев в Закавказье не вместить даже в четыре года.

Сейчас ночь. Весь Тифлис спит. Не рвутся снаряды, не свистят пули, не слышны даже стоны раненых. Слышен лишь плеск текущей вблизи Куры. А из моего окна виднеются лишь одинокие фонари тифлисских улиц.

Кажется, я стал ударяться в лирику, но, дорогой друг, это не результат жажды спокойствия, что скопилась во мне, — того спокойствия, которого нам никогда не обрести.

Сегодня один из редких дней моей жизни, когда я дышу счастьем. Спеша разделить эту огромную радость, я конечно же отправил Его Величеству императору поздравительное письмо, второе письмо пишу тебе, поздравляю и тебя, потому что хорошо знаю: ты всегда живёшь интересами нашей родины — Великой России, и так будет всегда.

Сегодня наконец-то двуличный и продажный царь Имеретии Соломон II был вынужден принять российское подданство, в торжественной форме дал клятву и подписал договор, что считает себя и всех своих потомков вечными и верными слугами Российской империи. Желание же у него было одно: чтобы в рамках автономии за ним, его сыном — принцем Константином, а также их наследниками сохранился царский статус, и я дал на это согласие. Конечно же, ты понимаешь, что это временная договорённость, через год-другой следует вышвырнуть Соломона и всех этих принцев из Имеретии, и я делаю это. Гурийский князь — Вахтанг Гуриэли тоже принял российское подданство, и, таким образом, дорогой Николай, мы добились, что вся Грузия — от Кахетии до Менгрелии, а также соседние азербайджанские султанаты — Казах, Борчалы, Шамшедин и Пембек вошли в состав России!

Ты знаешь, я ненавижу ложную скромность, так что без лишней патетики заявляю, что это никакая не моя, а историческая победа Великой Российской державы, Его Величества императора Александра!

Как и всякая победа, досталась она нам непросто. Бесчисленные грузинские принцы, князья, дадиани — менгрельские правители — все породнены друг с другом, невозможно определить, кто кому кум или кузен, кто на чьей дочери женат, кто за кого выдал дочь, кто кому бабушка или дед, но всех их объединяет одна особенность: все они враги друг другу, кто-то строит интриги по отношению к другому, кто-то держит в заложниках чьего-то сына, тайно или явно они ведут войны друг с другом, и представь, Николай, им даже не претит в этой борьбе действовать рука об руку с османами или Каджарами.

Стамбул считает земли Северного Кавказа и все, находившиеся прежде под протекторатом Крымского ханства, а также Южный Кавказ, своими. Турки до сих пор не могут примириться с потерей Крыма. При любой возможности стараются поднять против нас черкесов, чеченцев, лезгин, аварцев, осетин, кабардинцев, кумыков, балкар — это народы Северного Кавказа — всех не упомнишь. Эти народы различаются друг от друга по языку, но их сыновья уже с 14–15 лет носят на поясе кинжалы, и эти кинжалы, поверь мне, Николай, не предметы бутафории, не декорации.

Бесконечные войны между Имеретией и Менгрелией никак не кончались, теперь, когда они превра-

тились в наши провинции, войнам конечно же будет положен конец и люди заживут спокойно. Вражда между имеретинскими царями и дадианами, правителями Менгрелии, останется в истории, но я вспоминаю манифест Её Величества Екатерины — да будет пухом ей земля — помнишь, Коля, желая стереть из истории России восстание негодяя Емельки, она переименовала Яицкий городок и реку Яик. Сегодня, если спросить у нашего двадцатипятилетнего молодого человека, как прежде звалась река Урал, он удивится, разве река Урал не была всегда Уралом? И мы тоже должны стереть из их памяти историю грузинских царств и азербайджанских ханств. Пусть в Закавказье, да и на всём Кавказе, люди живут спокойно, но и к этому вопросу мы должны отнестись внимательно и осторожно, ибо их добрососедское проживание означает будущее единение, что тоже нам не на пользу. В соответствии с интересами нашей державы, при необходимых случаях, мы должны уметь использовать их взаимную рознь и вражду, и теперь, достаточно хорошо зная Кавказ, считаю, что это важный для нас момент.

Мы дали слово до времени сохранить полномочия внутреннего управления кавказским царькам, ханам, князьям, султанам, но всё это на бумаге. Когда придёт время, думаю, в самое ближайшее время, будет положен конец этим полномочиям и местечковым титулам. Сознаю, что эти мои суждения далеки от тех ценностей, что мы называем гуманизмом, но здесь, на Южном Кавказе, да и в целом на Кавказе, идея чего-то добиться принципами гуманизма — пустая утопия.

Самая первая большая победа этого года — взятие в ночь со 2-го на 3-е января Гянджи, и ты, конечно, уже прочёл об этом в газетах нашего родного Петербурга. Тот день был одним из счастливейших в моей жизни, и меня самого поражает, что в течение этих четырёх месяцев я дважды пережил подобное счастье! Что это означает, неужто Создатель вознамерился превратить меня в счастливого человека?

Ни в какой другой стране не встретишь такого числа поэтов, как в Азербайджане. Спрашиваешь о каком-либо известном беке, помещике, аристократе, просто образованном человеке, выясняется, что он к тому же и поэт. Их известные в прошлом правители, полководцы одновременно были поэтами. Одним словом, Коленька, перо для них нечто родное и дорогое, но это не мешает азербайджанским ханам быть искусными интриганами, обнимаясь и целуясь, предавать друг друга. Эти мелкие сатрапы управляют своими ханствами, исходя не из интересов подданных, а интересов своего трона, личного благосостояния.

Гянджинский Джавад-хан отличался от ханов этого типа. Он был из рода Каджаров и, единствен-

но, старался сохранить свою независимость. Я неоднократно писал ему, предлагал принять российское подданство, сдаться, открыть ворота Гянджинской крепости, причём старался заверить, что ему будет сохранён титул и право на внутреннее управление, но всякий раз он посылал мне оскорбительные ответы. Погляди, что он мне писал: «Видимо, несчастная доля привела вас сюда из Петербурга, здесь вы не избежите смертельного удара судьбы!»

Но судьба сама нанесла ему смертельный удар.

Гянджа была одним из самых важных и авторитетных ханств не только Азербайджана, но и всего Закавказья, и её усмирение было для нас важно не только стратегически, оно послужило уроком для всех — больших и малых закавказских правителей, они осознали, что с Российской империей шутки плохи, что ложью, хитростью, манёврами ничего не добиться. Такова воля Создателя: все они без всяких предварительных условий должны войти в состав России, и эта воля Создателя вечна и неизменна. А Джавад-хан выступил против воли Всевышнего, и я был вынужден штурмовать Гянджу. Джавад-хан, словно Дон-Кишот, взявшись за оружие, стал сражаться против славной русской армии, он сам и его сын погибли в этой битве.

Я устал уговаривать его, в своём последнем обращении, в восточном стиле, даже написал: «Сколько времени орёл должен вести переговоры с муравьём?» Но должен признать, Николай, что Джавад-хан доказал, что он не муравей. Верно, чем меньше в этих краях подобных личностей, тем для нас выгодней, но он был достойным противником, и я сожалею о его — вместе с сыном — гибели. Я приказал, чтобы он был с почестью погребён во дворе Пятничной мечети мусульман Елизаветполя, и думаю, что это, ещё раз продемонстрировав благородство и милосердие России, оказало большое впечатление на аборигенов.

Жена Джавад-хана и его десятилетняя дочь попали к нам в руки. К тому же жена оказалась сестрой шекинского Мухаммед Гасан-хана, тот попросил меня освободить и разрешить ей вместе с дочерью переехать к нему. Я дал согласие, и их отправили в Шеки.

Николай, я бесконечно рад, что один из древнейших городов не только Азербайджана, но и всего Востока, центр древней культуры и науки, ныне носит имя Её Величества, что сейчас на карте мира нет города под названием Гянджа, есть город Елизаветполь, и это навечно. Кто через сто лет вспомнит название Гянджа? Никто, кроме историков. А Гянджинское ханство ликвидировано навсегда, превратилось в провинцию России — пусть и другие ханы увидят и задумаются, чем кончаются попытки противиться нам.

Но всё это в сравнении с нашими прежними мечтами видится такой малостью. Коленька, мой дорогой друг, помнишь, как мы, два юных подпоручика — ты и я — в своих прекрасных грёзах шагали по улицам Константинополя, освободив его от османских захватчиков? Мы — то есть русская армия! Предельно жаль, что и после стольких лет мы можем шагать по улицам Константинополя только в мечтах.

Ты знаешь, покойный генералиссимус<sup>1</sup> составил обстоятельный план разгрома Османской империи, и, если бы план был претворён в жизнь, одно только это свершение прославило бы Россию на всю последующую историю человечества, так как народы, находящиеся под игом кровожадных и мерзких турок, обрели бы наконец свободу. Ясно, что Османская империя — наш самый опасный соперник на Юге, и Александр Васильевич, да упокоит Бог его душу, во всех подробностях расписал, как следует вести войну с ними, но, к сожалению, наши чинуши не смогли по достоинству оценить этот план, и он не был претворен в жизнь.

Я все чаще размышляю об этом. Используя все возможности, восстановить на карте мира вместо Стамбула название Константинополь, ещё больше расширив пределы России, создать Восточно-Римскую империю. Это не мечта и не химера, а совершенно реальное желание: Османы уже не те, что прежде, они значительно ослабли, и у меня нет сомнений, что XIX век — век конца их истории. Я уверен: подобно тому, как каждый человек имеет свою миссию в жизни, именно такая величественная историческая миссия выпала на долю России.

Но мы подчас запаздываем, слово «подчас» я пишу ради утешения. Мы запомнили идеи графа Растопчина<sup>2</sup>: раздробить Турцию, присоединить к России Румынию, Болгарию и Молдавию, а Грецию обратить в самостоятельное государство под нашим протекторатом.

Кажется, меня заносит слишком далеко, но сегодня Бонапарт превратил всю Европу в кипящий котёл, и для России создалась благоприятная ситуация для претворения этих идей в жизнь, просто необходимы воля, смелость и доблесть, подобная воля и смелость присущи Его Величеству императору, а доблести русскому солдату не занимать. Но наши чинодралы...

Когда ещё выпадет подобная возможность? Не знаю... Лишь бы образовалось... Лишь бы Создатель не лишил нас этого шанса. Я убеждён, что Его Величество снова призовет Растопчина — этого государ-

<sup>1</sup> Имеется в виду А. В. Суворов.

<sup>2</sup> Растопчин Ф. В. — российский государственный деятель, при императоре Павле министр иностранных дел, впоследствии назначенный Александром генерал-губернатором Москвы. Организатор знаменитых «московских пожаров» в 1812 году.

ственного деятеля, любящего Россию и императора. Будущее нашей Родины — в претворении в жизнь его идей. Время идет, и только-только начавшийся век пролетит столь же стремительно, наступит XX век, и я, как всегда, денно и нощно молю Всевышнего, чтобы Россия — от Аляски до Константинополя — была предметом нашей гордости как самая большая, самая культурная, самая мощная страна в мире.

Но ясное дело — молитвы молитвами, но надо делать и дело. Понимают ли наши чиновники, какое значение для нас имеет та же Аляска? Пять лет назад мы присоединили её к себе. Но что до сих пор мы предприняли там во имя России? Какие перспективы могут открыться перед нами, если эта территория останется нашей только на бумаге? Думают ли они об этом?

Уроки истории учат нас, что самые неординарные события происходят, когда их не ждёшь. Вот после шаха Надира в Иране, в Закавказье, воцарился настоящий хаос, но мы не воспользовались этим, и скопец Ага Мухаммед Каджар-хан, благодаря уму, таланту и жестокости, смог подчинить себе весь Иран и Южный Азербайджан, создал государство Каджаров и произвёл себя в шахи.

Маршруты, ведущие через Босфор и Дарданеллы к тёплым морям, пролегают по границам Османов и Каджаров, и мы, чтобы с честью одолеть этот путь, должны разжигать огонь вражды между этими явными и скрытыми, но вечными соперниками.

Но предпринимает ли мы что-то? Нет, мой дорогой друг, ничего не делаем. Стамбул, Тегеран, Исфаган кишмя кишат английскими, французскими, прусскими миссионерами. Их страны сегодня увлечены войной друг с другом, но Бог никому не дарует вечность, Бонапарт тоже не вечен, а что произойдёт, когда завтра Европа умиротворится? Наши некоторые, облачённые полномочиями чиновники не видят или не хотят видеть дальше своего носа, у них на это нет ни времени, ни желания, а часть их — в этом я не сомневаюсь — снюхавшись с нашими врагами, работают против России.

С географической точки зрения, Закавказье — уникальное пространство, оно словно распахнутое перед Каджарами и Османами ворота, и, присоединив к России Северный Кавказ, мы не можем оставить на волю Аллаха Кавказ Южный. Его Величество это прекрасно понимает, но, к сожалению, того не скажешь о большинстве чиновников, протирающих штаны в Петербурге. Ты поразишься, узнав, с какими бюрократическими препонами я сталкиваюсь, стараясь обеспечить войска провиантом, снаряжением, оружием. Нельзя же по каждому поводу обращаться к Его Величеству, да это и не было бы правильно.

Кажется, с годами я становлюсь ворчлив, оттого это письмо по столь радостному событию оказалось столь длинным, бессвязным и полным жалоб.

Утешает одно, описывая всё это, я как бы выплёскиваю душу, потому что хорошо знаю: всё это ты не сочтёшь неинтересным и бессмысленным — судьба отчизны для тебя прежде всего.

Николенька, дорогой друг, всякий раз, когда думаю о тебе, я переживаю душевные страдания, вражеский осколок уложил тебя в постель, одно утешает — осколок турецкого снаряда задел твой позвоночник, но славные воины России разгромили турок, и впереди их ждёт ещё больший разгром. И ещё, я хорошо знаю, что твоя верная и милая супруга — Ольга Михайловна, заслужившая уважение и любовь всех нас, твоих друзей, с самоотверженностью, присущей только нашим, русским женщинам, ухаживает за тобой, и чудо случится — ты обязательно встанешь на ноги.

Мои молитвы всегда с тобой.

Обнимаю тебя, жму руки.

Целую ручки Ольги Михайловны.

Твой Павел Цицианов.  
25 апреля 1804 г. Тифлис.

\* \* \*

*...Громыхали пушки, пехотинцы стреляли друг в друга, бросались врукопашную, кавалеристы рубились саблями, палашами.*

*Шла смертельная схватка между наседавшими друг на друга двумя армиями. Одни кричали: «За Родину!», другие: «Вперёд!.. Только вперёд!»*

*И там, в том, видимом, измерении было столько стран и велось столько сражений, чтоб захватить или защитить их, и в это время то самое, видимое, измерение словно от начала до конца являлось лишь ареной ожесточённых битв.*

*Всё, что ОН видел в том, видимом, измерении, невозможно было перекроить, во что-то вмешаться, потому что все видимое ИМ было отражением абсолютной обречённости — ОН наконец понял это, и само подобное желание оказалось чуждым ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.*

*Бесплотность и невесомость ЕГО субстанции в том, видимом, измерении стояли лицом к лицу с безусловностью, абсолютностью событий, и по сути ЕГО бесплотная и невесомая субстанция и не имела желания во что-то вмешиваться, что-то изменить в том, что ОН видел.*

*А желание, охватившее ЕГО субстанцию, было уйти, улететь, но, как ни старался, ОН не мог оторваться от событий прошлого, сегодняшнего и будущего того видимого измерения, словно видимое измерение было не в силах отпустить ЕГО...*

*ЕГО бесплотная и невесомая субстанция желала улететь в какую-то далёкую сферу, в какой-то чистейший свод, и в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции не было никакого сомнения в предельной чистоте того дальнего свода, ЕГО субстанция, состоящая только из чувств, говорила, что подобная сфера, свод имеются, ОН должен улететь и улетит в ту сферу, но уйти, улететь ОН не мог...*

*И внезапно ОН увидел майора Лисаневича...*

## 15

Солнце ещё не взошло, но начавший алеть горизонт окрасил кучевые облака, и ночные стражи военного лагеря, позёвывая, глядели на эти облака, алые, кучевые облака, словно кровавые, только-только занимающегося зимнего утра.

Аббас Мирза лежал, как всегда, на спине, заложив руки под голову, и весть о наступающем рассвете лёгкой рябью произвольной волны скользнула по лицу Принца. Может, именно в то мгновение этот молодой человек видел прекраснейший, столь далёкий от кроваво-трагических дел этого света сон. Всё еще в полусне, улыбнувшись доброй улыбкой, он выпростал руки из-под головы, повернувшись к Дочери Рыжего Чабана, прижался щекой к её плечу. Протянув, положил руку на её гладкую, крепкую, как речной камень, но тёплую грудь.

Весь шатёр устлан коврами Гаджи Мухтара, а ближе к выходу, в большой железной печи всю ночь горели поленья, ныне превратившиеся в угли. В шатре не было тепло, но после любовных усад Принца и Дочери Рыжего Чабана, затянувшихся почти до полуночи и совершенно лишивших их сил, они провалились в глубокий сон; усталость понемногу таяла в новой страсти, они оба, пиная ногами, скинули на пол шерстяную шаль, прижавшись друг к другу, лежали совершенно голые на просторном ложе — тахте, сработанной знаменитым столяром, мастером Мешади Сулейманом из Ардебилля по особому заказу евнуха Абдул Рахмана, человека неопределённого возраста, завезённого неизвестно из каких далеких краев, оскоплённого ещё во времена Надир-шаха.

Уже почти месяц любвеобильный Аббас Мирза, несмотря на войну за ханства Северного Азербайджана с прибывшими на Кавказ русскими войсками, несмотря на взаимные, нескончаемые столкновения, провокации и стычки, длящиеся подчас все двадцать четыре часа в сутки, проводил свои ночи, забыв прежних наложниц и рабынь, с чувственной и любвеобильной, даже больше, чем он сам, Дочерью Рыжего Чабана.

Уже с четырнадцати—пятнадцати лет ставший любимчиком дворцовых красоток-наложниц, служанок, рабынь, а позже и собственного гарема, Аббас Мирза впервые встретил столь страстную, желанную девушку и каждую ночь почти до утра не выпускал её из своих объятий. Служанки перед ежедневными встречами Дочери Рыжего Чабана с Наследником готовили различные благовония, но в них не было нужды, тело девушки пахло совершенно незнакомым дворцам запахом степей, и в нём была такая далёкая от дьявольских игр этого мира чистота, что всякий раз, вдыхая в себя эти запахи, Аббас Мирза с ещё большей страстью и любовью прижимал к своей груди Дочь Рыжего Чабана, целовал её пухлые эфиопские губы, отвечающие ему той же страстью и любовью.

Как в ту первую ночь, когда Принц лишил её девственности, она с яростью дикой кошки царапалась и кусалась, пытаясь вырваться из его объятий, так и теперь Дочь Рыжего Чабана, с той же неистовостью дикой кошки, прижималась к груди Аббаса Мирзы. Каждый раз, когда Аббас Мирза, лаская её крепкие груди, сжимал меж пальцев её ещё не потемневшие, оранжево-розовые, тотчас оживающие в ответ соски, Дочь Рыжего Чабана, ещё шире раскрыв свои серые глаза, с безумной страстью, которую и не пыталась скрыть, и с бесстыдством, на которое не могли осмелиться наложницы — обитательницы дворцовых гаремов, засовывала руку меж ног Принца, играясь его причинным местом, и при этом так стонала, что этот стон, доносящийся из шатра, отзывался эхом в ночной тишине лагеря.

Сидя в небольшой келье напротив того шатра, уже в который раз перечитывая при свете свечи написанную на азербайджанском языке поэму Мухаммеда Физули «Лейли и Меджнун», часто отрывая глаза от переписанной стилем «насталиг» — одной из форм арабского письма — Сеидом Мир Багир Шабрани рукописи, евнух Абдул Рахман, не желая, чтобы окружавшая в три ряда шатёр стража слышала утробные стоны этой сучки, то громко откашливался, то, выходя из кельи, покрикивал:

— Эй, ребята! Ничего тревожного?..

Евнух Абдул Рахман, давно и хорошо усвоивший, что означает осторожность во дворце, совсем не опасался, что его крик разбудит спящих в шатре и тем самым вызовет гнев Принца; опыт многих лет подсказывал: эта сучка — Дочь Рыжего Чабана — за ночь вытворяет такое, что даже грохот русских мортир не мог разбудить Наследника.

По гладкому, будто вылепленному из кофейного цвета воска лицу скопца скользнула улыбка, и в его напоминающих кошачьи зелёно-жёлтых глазах мелькнул мгновенный блеск: ну и дура... очень уверена... надеется, так будет всегда...

Евнух Абдул Рахман пользовался при Фатали-шахе привилегиями почти на уровне визиря. Принц также был доволен этим его особым положением, и влияние скопца на властвующих отца и сына было таково, что прогневить его для окружения было равносильно тому, что накликать на себя гнев правящих особ. Скопец являлся свидетелем, но никак не участником дворцовых интриг и провокаций, и всё подмечающие его проницательные глаза и всё усекающие уши ревностно служили в первую очередь Фатали-шаху, во-вторых — Наследнику. И хозяева всегда ценили это усердие.

Поэму «Лейли и Меджнун», которую читал скопец, переписал по личному указанию Ага Мухаммед-шаха Каджара, работая целый год, дворцовый каллиграф Сеид Мир Багир Шабрани. Эта прекрасная рукопись, украшенная миниатюрами известного художника Абдуллы Ширвани, принадлежала Дворцовой библиотеке в Тегеране. Дворцовая библиотека знаменита рукописями не только на турецком, фарси и арабском языках, в ней хранились рукописи на латыни, греческом и китайском языках, а в последнее время, по указанию старшей жены Фатали-шаха — Её величества Агабегим, для Дворцовой библиотеки также стали приобретать книги на английском, французском и русском языках. Абдул Рахман питал особое уважение и любовь к жестокому Ага Мухаммед-шаху Каджару, причина этого уважения и любви, вероятно, была и в схожести звёзд их судеб<sup>1</sup>. Евнух был одним из немногих придворных, что пользовался правом брать для чтения книги и, что особенно важно, рукописи из Дворцовой библиотеки. И всякий раз, беря изящную рукопись «Лейли и Меджнуна» в разбитом Аббасом Мирзой военном лагере на равнине Харамы, он молил об упокоении не Мухаммеда Физули, не Сеида Мир Багира Шабрани или миниатюриста Абдуллы Ширвани, а Ага Мухаммед-шаха Каджара.

Стоящие на посту сарбазы — солдаты, особенно те, что располагались в ближнем к шатру кольце, несмотря на все ухищрения евнуха Абдул Рахмана, слышали стоны изнемогающей от страсти Дочери Рыжего Чабана. Даже шум, доносящийся со стороны бурно текущей по дну ущелья реки Гиласлы, и дружное кваканье лягушек чуть поодаль от шатра не могли заглушить их, но эти стоны не особо занимали сарбазов, месяцами не знавших женщин, ибо все хорошо усвоили: каждую минуту внезапно могли появиться, воспользовавшись темнотой ещё не ушедшей ночи, русские солдаты. Конечно, стража, как и все сарбазы, уже слышала о покушении на жестокого русского Наместника людей Гусейнкули-хана, но с русскими солдатами шутки плохи, наоборот, убий-

ство Наместника может ещё больше подстегнуть их гнев. И не только русские, а также наёмные убийцы османов, азербайджанских ханов, грузинской знати, слоняющиеся здесь под разными личинами и предложениями шпионы европейских стран заставляли охрану Принца быть предельно бдительной. На этой стороне Аракса чёрт ногу сломит, после убийства Ага Мухаммед-шаха Каджара личная охрана Фатали-шаха и Принца проходила особую проверку, она должна была быть начеку день и ночь.

Аббас Мирза был черноглаз, белокож, где-то даже женственен, но, когда брался за дела, исчезал даже намёк на теплоту или страсть — будто в его нежном теле обитал леденящий холод. И почти змеиный взгляд его глаз заставлял вздрагивать приближённых, даже отпетого кровопийцу, одного из военачальников, коменданта лагеря по прозвищу Гурд Керим, то есть Волк Керим. Фатали-шах объявил своим наследником не старшего Мамедали, сына от наложницы-грузинки, а второго, Аббаса Мирзу, чьей матерью была дочь хана Деваля — его тоже звали Фатали — Асябегим. И причина не только в чистоте происхождения, желании сохранить истинно тюркское начало династии, причиной судьбоносного решения был именно тот леденящий холод в глазах Принца, от которого при случае окружающих бросало в дрожь.

Рассветало, и понемногу затихало кваканье лягушек, доносящееся со стороны реки Гиласлы.

Видимо, Аббас Мирза непроизвольно почувствовал под рукой страсть, заставившую налиться грудь Дочери Рыжего Чабана, и от этого или чего-то, увиденного во сне, сжал её грудь, а Дочь Рыжего Чабана, приняв это за прекрасный зов, повернулась лицом к Аббасу Мирзе, застонала, прижавшись грудями, пупком, животом к его волосатой груди, переплела лямками его ноги. Аббас Мирза ясно почувствовал жар упругого, скользкого, как рыба, стана Дочери Рыжего Чабана, и его молодое и здоровое тело тоже вострепелось, ожило.

И в этот ранний утренний час, когда огромный красный диск ещё не поднялся на небосклон, в шатёр внезапно и в сильном волнении вошёл евнух Абдул Рахман. Быстрыми шагами подошёл к ложу, и, хотя ковры заглушали его шаги, Аббас Мирза, все ещё не открывая глаз, почувствовав какое-то движение, машинально сунул руку под подушку, чтобы достать подаренный ему прибывшим из Англии майором Смитом пистолет. Но, открыв глаза, увидел скопца, понял, что ничего опасного нет, но произошло какое-то чрезвычайное событие, получена какая-то срочная весть.

Разумеется, верность — категория относительная, но, как бы там ни было, во всяком случае, скопец — человек, верный династии, и Аббас Мирза

<sup>1</sup> Ага Мухаммед-шах Каджар ещё в детстве был осклопен.



знал, что евнух Абдул Рахман — глаза и уши Фатали-шаха, он приглядывал за Принцем, поэтому часто перебирался на этот берег Аракса, чтобы обслуживать Принца и одновременно, посредством тайных агентов, переправлять шаху необходимые, по его мнению, сведения.

Фатали-шах любил Аббаса Мирзу истинно отцовской любовью, нисколько не сомневался, что и сын любит, питает к нему те же чувства. Гордился им, с ним он не тревожился за будущее династии. Но Фатали-шах знал и то, что притягательность, магнетизм власти не ниже самой высокой любви и почтения.

Эпохи и династии сменяют друг друга, но остаётся неизменной главная особенность дворцов — коварство. Склонившись в подобострастном поклоне, всяк божится, клянётся, что готов отдать жизнь ради правителя, но Фатали-шах-то отлично знал, что во дворце, вне зависимости от близости или отдалённости отношений, не сыщешь альтруистов, готовых всерьёз отдать жизнь ради монарха, — так было всегда, так будет и в будущем. Аббас Мирза тоже хорошо знал и другое: что не только дворцовые стены Тегерана, но и купола походных шатров имеют уши!

Отстранив от себя Дочь Рыжего Чабана, Принц приподнялся, присел на край тахты и, протирая глаза, с явным недовольством и тревогой спросил:

— Что случилось?

Дочь Рыжего Чабана тоже окончательно проснулась, совершенно не стесняясь скопца, даже не пытаясь хотя бы прикрыть срамные места, лежала, обнажённая, на тахте, с явной ненавистью устремив взгляд своих серых глаз на встревоженное лицо евнуха, взорвавшего прекрасную ауру шатра.

Лицо и шея Дочери Рыжего Чабана, что провела в горах и в степях всю предыдущую, допринцевскую жизнь, потемнели под солнцем, и этот загар делал совершенно белое, оголенное тело девушки ещё более желанным — оранжево-розоватые соски её грудей торчали под золотистыми, рассыпанными по груди волосами.

Зимой и летом, подрастая, проводя дни на склонах гор, в степях и на равнинах, она носила только материнские обноски, теперь же, когда судьба свела её с Аббасом Мирзой, наслаждалась своей наготой и в этой наготе считала себя самым свободным и независимым существом на свете.

Евнух Аббас Рахман, прежде чем сообщить Принцу только что полученную важную весть, бросил про себя по адресу Дочери Рыжего Чабана: «Стерва!..», выругался не приличествующим его возрасту и положению площадным матом, затем, наклонившись, что-то прошептал на ухо Наследнику.

Большие чёрные глаза Аббаса Мирзы внезапно округлились, поражённый, он воскликнул:

— Что?!

Евнух Абдул Рахман, снова наклонившись, видимо, повторил на ухо Наследнику сказанное. Аббас Мирза вскочил, накинул на плечи зелёный, шитый из шекинского шёлка мастером Шукюром Гарабаги халат.

Именно в эти минуты Дочь Рыжего Чабана охватило какое-то неприятное ощущение, неопределённое беспокойство, и оно, это беспокойство, было связано не только с тем, что прошептал на ухо Наследнику ворвавшийся в шатер негодяй, и не с тем, как округлились глаза встревоженного Аббаса Мирзы, но куда больше с ней самой — с её жизнью, судьбой.

— Уходишь? — вскинулась Дочь Рыжего Чабана, и в тревоге, заключённой в этом вопросе, было и другое: мне снова ждать тебя, будут ли у нас ещё noch, принадлежащие только нам двоим?

То, как внезапно в шатёр ворвался этот каналья с зелёно-жёлтыми кошачьими глазами и мясистым туловом, не сулило ей ничего хорошего.

Аббас Мирза глянул на лежащую на тахте совершенно обнажённую Дочь Рыжего Чабана, на мгновение вспомнил день, когда, впервые увидев, обменял её на пятерку чистокровных рысаков...

...Месяц назад Аббас Мирза, в очередной раз встретившись в Тегеране с Фатали-шахом и обсудив ведение кампании, в сопровождении сторожевого отряда перебрался через Аракс, погоняя своего, с пятном на лбу, гнедого к военному лагерю, как вдруг им преградило дорогу большое стадо овец. Два чабана — один впереди, второй — замыкая, поняв по виду всадников, что это не простые люди, войдя в центр отары, с криками «О-гей! О-гей!» стали разгонять овец, открывая проход.

И в это время один из чабанов приблизился к гнедому. По тембру голоса и походке Аббас Мирза понял, что перед ним девушка, наклонившись к шее гнедого, золотым концом своего украшенного дорогими камнями кнута он сбил с неё косматую барашковую папаху.

Отливающие на солнце золотом её пшеничного, спелого цвета волосы рассыпались на плечи, она уставилась своими большими серыми глазами в глаза Аббаса Мирзы. В её взгляде не было и намёка на растерянность, гнев или ненависть — был откровенный призыв, вызов, и Принц в тот же миг понял, что эта красивая девушка — сгусток огня.

Подошёл и второй чабан, этот рыжебородый мужчина, тоже в мохнатой барашковой папаше, прежде всего взглянул на сверкающую под лучами солнца рукоять кнута, затем округлившимися от блеска драгоценных камней и животного, не меньше, страха глазами глянул на всадника.

— Твоя дочь? — спросил Наследник.

— Да, — ответил Рыжий Чабан.

— Отдашь её мне?

— А кто ты?

— Аббас Мирза. Слышал?

— Как не слышать?! — Чабан, сощутив глаза, оценивающе посмотрел на молодого Принца.

Лёгкая улыбка тронула губы Аббаса Мирзы:

— Отдаёшь?

Рыжий Чабан, всё так же оценивающе глядя снизу вверх на седока, сказал:

— А у меня есть другой выход?

— Нет! — отрезал Аббас Мирза. — Другого выхода у тебя нет!

Рыжий Чабан, сдвинув рукой папаху на глаза, почёсывая затылок, спросил:

— А что взамен мне дашь ты?

— Чего хочешь?

Рыжий Чабан сбил рукой папаху обратно на затылок, указал пальцем на гнедого с белым пятном на лбу:

— Пятёрку таких рысаков...

...И в тот рассветный час, когда евнух Абдул Рахман внезапно ворвался в этот убранный коврами, шёлком и кумачом прекрасный шатёр, Дочь Рыжего Чабана с той же тревогой в голосе повторила:

— Уходишь?

Аббас Мирза перевёл взгляд с лежащей на тахте совершенно обнажённой Дочери Рыжего Чабана на евнуха.

Обострённое за многие годы жизни во дворце чувство подсказало скопцу: то, что он прошептал на ухо Принцу, вырвало его из дрящегося уже который день любовного угара с этой бесстыжей сучкой.

Наследный принц, похоже, прочитал то, что пронеслось в голове скопца, и он слабо кивнул головой в знак согласия.

Евнух поднял лежащий в углу шатра на табуретке длиннополый тулуп, накинул его на плечи Аббаса Мирзы, и Принц, не сказав ни словечка Дочери Рыжего Чабана, стремительно покинул шатёр.

Ненавистный скопец улыбнулся, глянув на Дочь Рыжего Чабана; та наконец непроизвольно прикрыла руками грудь и срамные места.

Евнух Абдул Рахман вслед за Аббасом Мирзой топорливо выбрался из шатра наружу.

\* \* \*

*...Сколько времени прошло в том видимом измерении? — это не имело никакого значения.*

*ОН знал, что, держа над головой саблю, стараясь перекричать раздающуюся канонаду пушек, призывает своих солдат: «Вперёд, к победе, вперёд!..» — юный капитан Мишель, тот самый Мишель, которого ОН*

*никогда не видел, но сразу узнал — Мишель де Лафонжен.*

*И ещё ОН уже знал, что Мишель — Мишель де Лафонжен — Мишель Цицианов — офицер наполеоновской армии, предпринявшей нашествие на Россию. Идёт сражение вблизи того села<sup>1</sup>, рядом с Москва-рекой, между французскими и русскими армиями, и юный французский офицер, маркиз Мишель де Лафонжен — Мишель Цицианов — вдохновляет своих бойцов на бой с российской армией.*

*И первого попавшего навстречу русского солдата сразил саблей он, Мишель де Лафонжен — Мишель Цицианов...*

*...И в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции впервые возникло чувство, способное замутило эту бесплотность: что это было? Боль, горечь, огорчение, гнев?*

*Но ЕГО бесплотная и невесомая субстанция изгнала, свела на нет это чувство...*

\* \* \*

*...Нет, это уже не Москва-река, это река Салге, и бежавший вдоль берега реки, подняв над головой саблю и крича: «Вперёд!.. Во славу императрицы!.. Уничтожим поганых турок!..» — вёл за собой солдат на Измаил не Мишель де Лафонжен, а ОН — молодой полковник Цицианов.*

*Россия сражалась с османами за Измаил. Вот они нанесли поражение Гасан-паше, сорвали в Измаиле с флажтока флаг Османской империи, а тот, кто воздвигнул на флажок уже знамя Российской Империи, был ОН — молодой полковник Цицианов...*

## 16

Капитан Фёдор Митрофанович Сухарев вошёл в свою походную палатку, зло швырнул фуражку на койку...

Грузин-туземец посмел оскорбить русского воина — ветерана русской армии с тридцатилетним послужным списком, истинного, кровью и плотью, хозяина русской земли, и русскому по рождению Сухареву не дано право ответить этому кавказскому выродку! Но виноват не выродок-кавказец, а те, кто назначили его главнокомандующим русской армией.

Армия уже перешла на зимнюю форму одежды, и Фёдор Митрофанович, всё так же не умея совладать со своим гневом, скинул с себя шинель и, не снимая грязных сапог, лёг на походную койку. Железные

<sup>1</sup> Имеется в виду село Бородино.

пружины заскрипели под его тяжестью, и этот скрип словно был скрипом, стоном пронзившим всего его вплоть до мозга костей гнева.

«Свинья!»

Этот безродный туземец обзывает его «свиньёй», а его адъютант — фон... фон... Тьфу! Русскому человеку эту фамилию и не упомянуть!

Конечно, в глазах э т о г о главнокомандующего русский солдат мог быть только свиньёй!

Если он, капитан Сухарев, не был бы свиньёй, этот выродок — туземец, никогда не стал бы главнокомандующим. И ещё его чёртов адъютант — этот «фон!...».

Сухарев уже тридцать лет воевал на различных фронтах, на самых передовых позициях с турками, шведами, с кем только не приходилось за эти годы сражаться во славу России? — теперь бился с кавказскими туземцами. И за эти три десятка лет дослужился лишь до капитана, ведь он не был из тех «фонов», что правили в России, не числился ни бароном, ни маркизом, ни князем, чьи родословные упирались одним концом едва ли не в Чингисхана или в евреев, не был и белоручкой, дворянским баловнем, витавшим в облаках, — он сын простого русского кузнеца.

Сухарев гордился этим, гордился, что у него чистая русская кровь, ни с кем не смешана, не разбавлена, ну и что с того? — кому сегодня нужна чистая русская кровь, кому необходим российский дух?!

Если ты не «фон», если твоя родословная не тянется в Европу, если ты хотя бы не крещёный татарин, а чистокровный русак, славянин, в таком случае кому ты нужен в этой стране? Никому! Россия не умеет быть матерью своих детей, у России отнято право ценить собственных детей. Лефевр, возвысившийся от рядового солдата до маршала, — сын мельника, отец Ожерона был слугой, поэтому Наполеон и способен сегодня заливать кровью всю Европу.

Сухарев не был тем, кто зовётся солдафоном; лишённый в детстве и юности возможности получить образование, грамоте выучился сам, уже в армии, — с тех пор чтение газет, журналов, книг превратилось у него в такой же смысл жизни, как пуля и штык.

Он сознавал, что Европа развита, оставила Россию позади в науке, культуре, в вооружении, даже в мореплавании. Но Сухарев совершенно убеждён, что Создатель одарил русский народ такими человеческими ценностями, которые Европе и не снились.

Ждать наличия русского духа у человека, что не слышал бабушкиных сказок, не наслаждался частушками, не спал на русской печи, — не приходится.

Видя, как на Кавказе — в этом диком краю — гибнут от туземных пуль, туземных сабель храбрые русские юноши, в чьих венах русская кровь, Сухареву хотелось с болью в сердце крикнуть: глядите, найдё-

те ли вы среди тех, кто убит, хоть одного сынка барона или избалованного отпрыска «фонов»? Нет! Погибать должен простой русский, а отдавать приказы — всё те же бароны, графы, «фоны», даже порой кое-кто из тех же туземцев!

Сухарев заёрзал на койке, походная кровать вновь заскрипела, словно подтверждая скрипом мысли капитана.

Русские князья, графы — многие из них, как и Цицианов, не являются чистокровными русскими, — где ваши наследники, почему их нет среди юношей, что отдают жизни в этом диком краю во славу матушки-России?

В то время, когда молодые русские солдаты складывают головы здесь, ваши отпрыски танцуют в аристократических салонах Петербурга и Москвы с такими же, называющими себя русскими, но считающими зазорным говорить по-русски, барышнями.

Знаете отчего?

Потому что до России вам никакого дела нет!

Потому что приглашённые, специально выпитанные из Европы гувернантки и гувернёры — немцы или французы, нет разницы, — воспитали в вас людей, чуждых России.

Потому что вы не слышали колыбельных великой русской матери.

Потому что знаете: вне зависимости, достойны или нет, вас ждут высокие чины и награды, но с этими чинами и наградами вы не принесёте матери-России пользы даже на копейку, потому что вас это не волнует.

Екатерина II в одночасье произвела своего очередного фаворита, двадцатидвухлетнего прапорщика Платона Зубова, в генерал-фельдтцехмейстеры. Такие звания учреждают, что русскому человеку и не выговорить, назначила его командующим всей русской артиллерией. Платон стал флигель-адъютантом, потому что проявлял особые доблести в покоях императрицы. Видимо, пушечные ядра в постели точно попадали в цель.

Она же назначила брата Платона — двадцатипятилетнего Валериана — командующим армией, отправленной на Кавказ, и этот мальчишка должен был бодаться с таким львом, кровопийцей, как Ага Мухаммед-шах Каджар...

Сухарев и в те времена служил в кавказской армии и своим проницательным крестьянским умом сознавал, что Европа только тогда признает Россию, даже примирится с ней, и Русь превратится в страну-гегемон, как только она пробьётся к тёплым морям, к Индийскому океану. И капитан Сухарев знал, что в этом случае Южнокавказская кампания станет важным этапом, затем необходимо одолеть вечно находящийся в смуте и анархии Иран, позже — Стамбул, проливы.

По мысли Сухарева, взятие Стамбула — христианский долг русского народа перед Всевышним; необходимо вернуть православный крест в собор Святой Софии. И когда Сухарев думал об этом, волна протеста обжигала всё его существо: что можно совершить с этими фаворитами, кнорингами, вползшими, словно глисты, в тело матери-России, стоящими на страже интересов, нет, не России, а личного процветания, с этими властолюбцами, карьеристами — немцами, татарами, тайными или явными евреями, даже — вот оно! — с расплодившимися кавказскими туземцами?

Как произнести Михаилу Илларионовичу<sup>1</sup>, да и просто русскому человеку имена всех этих барклаев, беннигсенов, витценгеров<sup>2</sup> ...тьфу! Что можно совершить в окружении витценгеров? И сколько их — десятков, другой?

Пётр заставил бояр отстричь бороды, и чем это отозвалось? Не имеющие родины, не знающие, что такое мать-земля, эти люди, хлынув из Европы, расплозились, словно клопы, по телу матушки-России, многие из них, ни на что не годные в собственных странах, направились в Россию, с её открытой душой, и здесь сделали карьеру.

Наследники обедневших европейских дворянских семей — графов, баронов, маркизов, прикрываясь высокими титулами, стали уважаемыми людьми, даже объектом зависти, русские мужики водят их кареты, чистят им сапоги, колют дрова для их каминов, русские женщины стирают и гладят им нижнее бельё, производят на свет от них незаконнорожденных детей.

В Европе, пожалуй, не осталось безбожников, развратных авантюристов, все они хлынули в Россию.

И капитан Сухарев с болью в сердце думал, что вскоре России не станет места и в самой России. Пётр слепо подражал Европе, разрушил все русские обычаи и традиции, а сам, женившись на прибалтийской шлюхе без роду и племени, чья национальность даже неведома, сделал её императрицей России<sup>3</sup>.

Может ли иноземец, к примеру, немец, татарин или русский, стать королём Англии? Да ему сунут в задницу кол, потому что англичане, французы, немцы не такие дураки, не простаки, как мы, у них даже любовь к кресту ниже любви к самому себе.

Всё это проносилось в мыслях простого русского солдата, чья душа была полна боли и горечи, и капи-

тан Сухарев в сердцах казнил себя за то, что порой клянёт, ругает собственный народ, но эта ругань, по сути, выражение бесконечной любви к тому самому народу, бескорыстной любви, впитавшейся вместе с кровью, яростно пульсирующей в его венах.

Даже и сейчас в народе бытует версия, что, когда молодой Пётр в составе «Великого посольства» в качестве простого русского отправился в Европу, его там подменили; тот, кто вернулся через два года, не был настоящим Петром. Конечно, капитан Сухарев не верил подобным измышлениям, хотя от Европы можно ожидать чего угодно, но дело в том, что Пётр хотел насильно вытравить из русской земли истинно русский дух, поэтому в среде простых людей и рождались подобные легенды.

Павел терпеть не мог собственную мать, делал все наперекор тому, что делала она, поэтому, оказавшись на троне, первым делом отозвал войска с Кавказа.

Капитан Сухарев был совершенно убеждён, что десять лет назад, когда Павел отозвал армию, Кавказ стал жертвой семейных дряг в императорском дворце. Сухарев и тогда, и сейчас страдал от мысли: как можно столь бездумно относиться к судьбам государства, чтоб в одночасье отказаться от такого благословенного края, богатой земли, каким является Южный Кавказ, и в подобной благоприятной ситуации из-за семейных интриг выпустить его из рук матери-России?

Не бывать такому, если б в то время не была отозвана армия, не осталось бы и следа от дьявольских происков грузинских царей и князьков, от каналов — азербайджанских ханов, и этот край уже давно превратился бы в губернию матери-России, а жизнь стольких русских юношей была бы для России сохранена.

Сегодня России необходим новый Иван Грозный — русский кровью и душой, капитан Сухарев решительно придерживался мысли, что, пока российский престол не займёт подобный человек, то есть русский по происхождению, в чьих жилах нет ни капли замаранной крови, такие чужаки, как Цицианов, будут продолжать называть русского солдата «свиньёй», русский воин-ветеран будет унижен, а фон грен...грэнд... грэндфальды станут усмехаться из-под щёточек усов.

Емельян Пугачёв, ясное дело, не был Петром Третьим, но являлся истинно православным, настоящим донским казаком, русским мужиком, проявил храбрость в войне с турками, но его ошибкой было то, что он собрал вокруг себя татар, башкир, калмыков, мордву, чувашей и ещё бог знает какую шваль, Пугачёва облепили те самые негодяи, кто мучил, обижал простой народ.

Емельян Иванович должен был создать армию лишь из русских православных патриотов, пригла-

<sup>1</sup> Имеется в виду генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов.

<sup>2</sup> Имеются в виду Барклай де Толли — русский военачальник немецко-голландского происхождения; генерал кавалерии немецкого происхождения Л. Л. Беннигсен; генерал кавалерии немецкого происхождения Г. Г. Витцингероде.

<sup>3</sup> Имеется в виду императрица Екатерина I.

силье профессиональных русских военных, офицеров, расправляться только с разжиревшими дворянами, самодовольными чиновниками-взяточниками, с различными «фонами», расплзшимися по телу русского народа.

Емельян Пугачёв не имел образования, да и где ему — простому донскому казаку было получить образование? — он и имени своего начертать не мог, но вот его отпрыск был бы чистым и образованным русским, и кровь в его венах подвигла бы служению России.

А много ли осталось в крови Романовых от покойного Михаила Фёдоровича? — ничегошеньки.

Капитан Сухарев в сотый раз повторял про себя: Россия только тогда станет истинной Россией, когда ею будет править русский дух, на русском троне сидеть истинно русский, пусть и он будет таким же образованным, как Александр, чтобы мог разбираться в хитросплетениях, в дьявольских играх этой жизни, пусть будет суров, жесток, но будет русским не только по имени, но и чистотой крови.

Павел вроде бы хотел служить простому русскому народу, но называл именем своей любовницы<sup>1</sup> русские корабли, вписывал её имя в гвардейские стяги.

Те самые дворяне — продажные князья, графы, бароны, готовые целовать ноги Павлу, сговорившись, прежде избив, придушили его; в своих кулуарных беседах они называли его «русским Гамлетом», а тот же Наполеон — «русским Дон-Кишотом», но Павел просто был человеком, совершенно далёким от русскости, чья национальность была неизвестна.

На российском троне должен восседать не Гамлет, не Дон-Кишот — в мечтах Сухарев представлял его кем-то вроде Бонапарта, но только российского происхождения.

Мать Павла, да, она была известна — ненависть и враждебность заставили капитана Сухарева запомнить её длинное имя — Ангальт София Августа Фредерика<sup>2</sup>, а кто отец? Претендентов на отцовство достаточно, этого, кроме Создателя, точно никто не знал, чаще называли Салтыкова<sup>3</sup> — Сухарев улыбнулся: добро, если так, как-никак, Иван Петрович — русский, смелый человек, но какое теперь это имеет значение? И Екатерина, и её сын уже ушли в иной мир, а страдает, мучается Россия, оскорбляют русского человека, и «свиньей» обзывают русского солдата.

Все знают, что авантюрист Платон — тот самый фаворит Екатерины — забавляется артиллерийской стрельбой уже в постели Елизаветы Алексеевны, супруги Александра.

Тут капитан Сухарев озлился на самого себя — ты это видел собственными глазами? Держал свечку? Откуда знаешь, что это так? Народ, он напридумает всякое — хотя дыма без огня не бывает, ладно, тебе-то какое дело? Проходимец Платон наслаждается с немецкой девушкой, ты-то чего сердишься? Ведь вопрос не в этом...

Сухарев даже прошептал сам про себя эти последние слова:

— Ведь вопрос не в этом...

Да, вопрос не в этом, вопрос в том, что Россию-матушку возглавляют такие люди — носители подобной нравственности, вот он, результат «европеизации» Петра.

Убили деда Александра — Петра III, задушили его отца — Павла, но это было трагедией не одной династии Романовых, а всей России. Во-первых, почему эти люди, у которых ни капли русской крови, чуждые русскому духу, должны править Россией? Во-вторых, не потому ли они и довели страну до такого состояния, чтоб проще устраивать заговоры, казнить государей, а потом официально утверждать результат?

В какую эпоху мы живём? Снова возвращаемся во времена Смуты? Уже наступил девятнадцатый век! Неужели мать-Россия — какая-то дикая восточная страна, где сын участвует в заговоре против отца<sup>4</sup>, а затем занимает его престол? Капитану Сухареву вспомнился когда-то давно прочитанный «Гамлет»: неужели трагедия Гамлета, выйдя из Европы, вторгается в Россию?

А теперь Александр вознамерился освободить Европу от Бонапарта...

Несчастливая Россия!..

Европейские страны ведут борьбу друг с другом, но все они против России. Каждая из них, как государство, хочет укрепиться, стать мощнее, и при этом они постоянно пытаются ослабить Россию, отрезать её от путей, ведущих в такие плодородные и богатые земли, как Индия, использовать Россию в своих интересах. Европа — хищная, как британский лев, пронырливая, как французская лиса, каждую минуту, подобно Иуде, готова к предательству, а русский медведь, находясь под пятой чужаков, не найдя добычи, довольствуется травой.

Александр должен освобождать не Европу — пусть они там изводят, изничтожают друг друга — а Россию. Должен освободить Россию от семейственности, кумовства, чванливых дворян, чиновников-взяточников, от унижения мужиков помещиками, крестьян от рабства, а матушку-Россию — от баронов, маркизов, графов-распутников. Но Александр

<sup>1</sup> Фавориткой Павла была Анна Лопухина, в переводе с древнееврейского это имя означало «благодать».

<sup>2</sup> Настоящее имя немки по происхождению Екатерины II.

<sup>3</sup> Салтыков И. П. — русский генерал-фельдмаршал.

<sup>4</sup> Существует версия, что Александр I знал о готовящемся покушении на своего отца — Павла I.

может совершить это только в грёзах, причём не в своих, а в наших.

Пусть и в России произойдёт такая же, как во Франции, революция, не беда, пускай прольётся кровь, лишь бы на арену в России тоже вышел наш, свой Бонапарт, только чтоб не был неграмотным и невежественным, как Емелька Пугачёв, считал бы сбережение России не только долгом, но и выражением бесконечной любви к ней, чтоб Россия была для него матерью не на словах, чтоб рос он на русских колыбельных, чтоб русские частушки, сказки, песни были для него роднее родных, будучи вдалеке, чтоб тосковал по этим песням, а родным языком в его семье был русский.

Угодливый Цицианов переименовал Гянджу в Елизаветполь, но, по всему, стоило назвать этот город Луизамарияавгустаполь<sup>1</sup>.

Капитан Сухарев знал, что после гибели Джавад-хана, решившего потягаться с Россией, и взятия Гянджи император учредил медаль «За труд и доблесть при взятии Гянджи». Эти медали из настоящего серебра давно присланы главнокомандующему, чтобы вручить их владельцам — русским солдатам, но до сих пор об этих наградах ни слуху ни духу, видимо, Цицианову приглянулось серебро...

Капитан Сухарев снова улыбнулся: кавказцы не только конокрады...

Капитан Сухарев был русским солдатом — старослужащим, а русский солдат всегда резал правдую матку. Да, верно, Цицианов способен нести груз главнокомандующего на этом диком Кавказе, в этом вероломном и двуличном Закавказье, он не пуглив, не труслив, едва прибыв на Кавказ, резко сменил тактику Кнорринга — уважительное, предупредительное отношение к туземным царькам Грузии, ханам Азербайджана, переговоры с ними, как с равными, умасливание их подарками, а перешёл в наступление, обуздал Грузию, указал на место Джар-Белоканскому джамаату Азербайджана, прежде заливавшему кровью Грузию и соседние ханства, так что теперь они даже дышать не смеют, от страха их мошонка упёрлась в живот, благодаря воинской силе, жёсткому характеру стёр с лица земли Гянджинское ханство, фактически присоединил к России Карабах, Шеки, Ширван, не сегодня-завтра захватит и Бакинское ханство — Сухарев нисколько в этом не сомневался. Да, всё это так, но, если завтра все пойдёт вспять, а объединенная Грузия объявит себя независимым царством, этот самый Цицианов — «русский генерал» — с радостью займёт грузинский престол, не только не станет горе-

вать о распавшейся России, а, если понадобится, войдя в союз с европейцами, повернёт оружие против русских.

Говорят, в кругу близких к себе различных «фонов», людей, чьё происхождение, родословная неизвестны, Цицианов иногда любит рассказывать анекдот: в одной деревне некая крестьянка после долгих родов произвела на свет сразу семилетнего мальчика, и первыми словами новорожденного были: «Дай мне водку!» Говорят, рассказывая этот анекдот, Цицианов так заходился в смехе, что у него почти прерывалось дыхание.

Вот тебе и русский генерал! Главнокомандующий русской армией!

Русского солдата можно отдать под военный трибунал, можно расстрелять, но оскорблять нельзя, настоящий русский генерал никогда не станет обижать русского солдата, необходимо наказать — накажет, причём сурово, но никогда не оскорбит, не унизит.

Если какой-то генерал столь хладнокровно оскорбляет русского офицера, унижает его, называя «свиньёй», то в этом генерале нет русского начала, от него можно ждать все что угодно.

Ты знаешь, что стоит за бесстрашием и принципиальностью Цицианова? С одной стороны, верно, он безжалостен к туземцам, с другой — тонко продуманными ходами поднимает свой авторитет в их глазах. Жена и дочь этого разбойника Джавад-хана оказались у нас в руках, но ради укрепления авторитета, нет, не государства — а собственного, князь освободил ханшу и её дочь, отправил их в карете в Шеки, к брату. Джавад-хан поднял руку на Россию, проливал кровь русских солдат, русских офицеров, а по какому праву ты, Цицианов, генерал русской армии, главнокомандующий, хоронишь, как героя, этого негодяя во дворе их же мечети? Потому что ты душой и телом не русский; истинно русский генерал изрубил бы его на куски, пролившего столько крови русских солдат, превратил бы в корм для птиц и зверей и только после этого успокоился, а дух храбрых русских солдат был бы отмщён.

Истинно русский генерал лично бы расстрелял, повесил перед штабом туземца, проникшего в лагерь, осмелившегося увести коня русского офицера, но никогда не унизил бы его достоинство, не оскорбил в глазах его семьи, земляков, не обратил в такого врага, что его многочисленные сыновья, братья, даже дочери стали бы ждать удобного случая, чтобы вонзить нам в грудь кинжал.

Ещё во времена Кнорринга в Грузии стала распространяться чума. Едва прибыв, Цицианов поднимал на ноги всех, нагнал из Петербурга, Москвы, Европы врачей, смог остановить эпидемию — хорошо, это-то понять можно, чума могла перекинуться и на

<sup>1</sup> Супруга Александра I — Елизавета Алексеевна была по национальности немкой. Настоящее имя этой Гессен-Дармштадтской принцессы — Луиза Мария Августа. Выйдя замуж, приняла православие.

войска. Но вот дороги в России в таком бедственном состоянии — хуже некуда — колёса повозок, доставляющих армии провиант, ломаются, не проехав и ста вёрст, и здесь, в своём родительском краю, Цицианов стал ремонтировать их, проложил дорогу от Сурамской крепости до Кутаиса, учредил в Тифлисе гимназию, вроде делал всё ради повышения авторитета России и императора, а на деле — это его кровь не даёт ему покоя, сколько бы ни жил в России, сколько бы ни ел русский хлеб, ни бил себя в грудь, я, мол, русский генерал! — это не в счёт — ему чужд русский дух, потому что в его венах течёт туземная кровь, и это закон природы.

Устав от этих мыслей, Сухарев махнул рукой, прошептал:

— А что ты можешь поделать?..

И когда он махнул рукой, пружины его походной койки вновь слегка закрипели, и Сухарев подумал, что большая часть его жизни, жизни русского солдата, проходит на таком вот жёстком походном ложе.

А тот конокрад был азербайджанцем, и еще не зрелый, наивный поручик Глушков, впавший в экстаз от одной мысли, что главнокомандующий отдал приказ ему непосредственно, раздобыл где-то плешивого осла, заставил раздеть этого азербайджанца ниже пояса, привязать стоймя на спину животного, пнув, отогнал осла от штаба, побежал лично докладывать главнокомандующему об исполнении приказа: подобная честь — общаться с высоким начальством — даётся не каждому поручику.

Следовало возвести перед штабом виселицу и вздёрнуть на ней азербайджанца, но подвергать его подобному позору не к лицу русскому генералу.

Капитан Сухарев поднялся, сел на край койки, и железные пружины койки вновь жалостно запели.

\* \* \*

...Внезапно показавшиеся Кавказские горы словно ветром проишли по ЕГО памяти, породили какое-то буйство, и ЕГО бесплотная и невесомая субстанция даже будто вздрогнула от этого буйства...

Но всё это произошло совершенно мгновенно и так же мгновенно исчезло, ушло.

Пролетели годы, но в горах Кавказа всё ещё шла война, и поседевший капитан Сухарев и юный солдат, стараясь защититься от града пуль, укрылись за большим осколком разбитой скалы, внезапно тот юный солдат выскочил из укрытия, выпрямившись во весь рост, стреляя, перезаряжая на ходу ружьё, кричал: «Получайте! Получайте! Я перебью вас, кавказских дикарей!»

Едва слышным от свиста пуль и грохота разрывающихся ядер голосом капитан Сухарев заорал: «Ты что творишь? Ложись!.. Ты что, ополоумел? О себе не ду-

маешь, чёрт с тобой! А что, у тебя матери нет? Сколько тебе лет?»

А юный солдат, прижимая к груди винтовку, продолжая стрелять, иступленно кричал: «Семнадцать! Перестреляю!.. Перестреляю всех этих дикарей!.. Всех перебью!..»

И в тот же миг, услышав жужжание пули, капитан Сухарев крикнул: «Наклонись, дурень!.. Наклонись!», затем, на мгновение опередив ядро, разорвавшееся перед скалой, рванулся вперёд, броском свалил солдата на землю, накрыл его собой.

После того, как улеглись пыль и дым от взрыва, солдат вытянул из-под тела Сухарева свою окровавленную руку, затем, отвалив в сторону лежащего на нём Сухарева, присел за скалой, испуганно, торопливо ощупал грудь, живот, поняв, что не ранен, всё так же в страхе шепча: «Дядя!.. Дядя!..», перевернул капитана Сухарева на спину.

Осколок ядра разорвал Сухареву грудь, и капитан глядел застывшими глазами не на солдата, а на НЕ-ГО, будто хотел о чём-то спросить ЕГО...

\* \* \*

...В том, видимом, измерении был небольшой, аккуратный посёлок, а в посёлке, чуть в стороне от ворот, ведущих на улицу, сидел на лавочке его адъютант — полковник, дослужившийся до генерал-лейтенанта — фон Грендфальд, со спадающими почти до плеч поредевшими седыми волосами, рядом его сиделка.

Сиделка кормила его с ложки, ворча: «Не проливай-те на себя!.. Будьте аккуратны! Снова пролили всё на грудь!» — порой откладывала тарелку на скамейку, протирала платком повязанный на груди генерала фартук, спрашивала: «Вы хотите в туалет? Смотрите!.. Снова перепачкаете брюки!.. Ведь вы генерал!..»

Фон Грендфальд же глядел только на тарелку, не говоря ни слова, открывал рот навстречу ложке, произнося нечленораздельное «Угы-ы-ы-ы...Угы-ы-ы-ы», просил еды.

В том, видимом, измерении генерал-лейтенанта фон Грендфальда не интересовало ничего, кроме супа в тарелке.

Открылась калитка в воротах, и со двора вышла женщина — ОН сразу понял, что это Изольда, дочь фон Грендфальда, — глянув в сторону отца, спросила: «Ну, что он?»

— Снова просит еды, — ответила сиделка.

— Достаточно! — раздражённо сказала женщина. — Переест, снова испачкает брюки! — Она отняла у сиделки тарелку, прикрикнула на фон Грендфальда: «Достаточно! Слышишь? Достаточно!» — и с тарелкой в руке вернулась во двор.

Из широко раскрытого рта на фартук стекала слюна, а фон Грендфальд, вытянув шею, глядел вслед

женщине, продолжая своё нечленораздельное: «Угы-ы-ы-ы...Угы-ы-ы-ы...»

— Хватит есть!.. — говорила сиделка. — Не сердите фрау Изольду!.. Вы что, хотите снова наложить в брюки?! Ведь вы — генерал! Нехорошо!.. Теперь сидите и дышите воздухом. Видите, какая прекрасная погода?!»

А фон Грендфальд, не обращая внимания на слова сиделки, вытянув шею, смотрел в сторону калитки, издавая всё то же: «Угы-ы-ы-ы...Угы-ы-ы-ы...»

\* \* \*

По мере того, как в том, видимом, измерении сменяли друг друга эпизоды, воспоминания, ЕГО бесплотную и невесомую субстанцию стало охватывать какое-то непостижимое чувство, и самым удивительным, поразительным оказалось то, что ЕГО бесплотная и невесомая субстанция была совершенно равнодушна к тому непостижимому чувству, что никак не согласовывалось, не сочеталось с этой бесплотностью и невесомостью, никак не сопротивлялось этому чувству, не хотело отвергнуть его, отдалить от СЕБЯ.

Более того, в НЁМ родилось такое ощущение, что эта бесплотность и невесомость уже не могли совладать с тем непостижимым чувством, и постепенно эта непостижимость явно переходила в поиск какого-то значения.

ОН пытался осознать смысл тех миссий, видений, событий, воспоминаний, эпизодов, сменяющих друг друга в видимом измерении, но всякий раз это приводило ЕГО к потрясающей бессмыслице...

## 17

Евнух Абдул Рахман прошептал на ухо Наследника лишь три слова: «Привезли голову Наместника», и эти три слова потрясли Аббаса Мирзу, заставили встряхнуться, пробудиться от замечательного сна этой жизни, что звался Дочерью Рыжего Чабана.

Между небольшой палаткой казначейства и вместительной палаткой Принца было 250–300 саженей, и когда Аббас Мирза в сопровождении личной охраны широкими шагами шёл, утопая по щиколотку в хрустящем под ногами снегу, к палатке казначейства, он уже знал, что Гусейнкули-хан отрубил голову генералу Цицианову и приказал доставить её в Тегеран — Фатали-шаху, а по дороге предъявить и наследному принцу.

Бежавший вприпрыжку, чтобы не отстать от Наследника, евнух, задыхаясь, говорил:

— Ваше величество, с ними прибыл ещё и один аскал. Он тоже просит принять его.

— Кто таков? — спросил Аббас Мирза.

— Его зовут Молла Музаффар.

— Молла, вот пусть и займётся своими молитвами! Я же сказал, чтоб там был только бек — племянник Гусейнкули-хана. Какие у моллы там дела?

— На этой стороне Аракса он почитаемый человек.

— Ну и что? — Сузив глаза, Аббас Мирза окинул скопца мгновенным ледяным взглядом: мол, что за настойчивость после того, как я высказал решение?

Как всегда в похожих ситуациях, а евнух Абдул Рахман старался, чтобы их было как можно меньше, но когда подобное всё же случалось, скопцу казалось, что глазами наследного принца глядит его родной дядя — Ага Мухаммед-шах Каджар. И холод этого взгляда заставлял скопца содрогнуться, как заставляет человека содрогнуться холод змеиных глаз даже в самую жаркую погоду.

Принц ещё ускорил шаг.

Казалось, в степи Харамии больше не осталось чёрных ворон, все они ещё утром, подлетев, каркая, окружили шатры, где готовили еду для сарбазов, вероятно, ни один ворон в этих краях прежде не мог поживиться таким количеством выброшенных на пустырь остатков еды. Казалось, именно эти чёрные вороны, каркая, разнесли по лагерю весть о том, что привезли отрубленную голову русского Наместника. Как бы там ни было, весь лагерь уже знал об этом, и сарбазы, проснувшись, торопливо одеваясь, выходили из шатров.

Когда Аббас Мирза впереди, а за ним, задыхаясь, евнух приблизились к шатру казначейства, пятеро стражников-сарбазов схватились с фыркающим, упирающимся, словно бык, верзилой Лал Гафароглу, но никак справиться с ним не могли. Увидев Принца, сарбазы словно обрели дополнительную силу и наконец поволокли ревущего немого подальше от шатра.

Стало известно, что один из сопровождавших Голову из Баку, а именно Лал Гафароглу, никак не реагировал на предупреждения, рвался в шатёр, чтобы лично обеспечить охрану Головы.

Глядя вслед Лал Гафароглу, всё ещё пытавшемуся вырваться из рук охранников, Аббас Мирза сказал:

— Отвесьте ему тридцать плетей, может, поумнеет! Здесь ему не убогий дворец Гусейнкули!

Когда Аббас Мирза, евнух Абдул Рахман и телохранители вошли в шатёр казначейства, комендант лагеря Гурд Керим, отвесив поклон, вытянулся в ожидании, стоявший рядом Махмуд-бек также почтительно поклонился, но, казалось, Принц даже не заметил его.

Голова была поставлена на серебряный поднос на небольшом круглом столе посреди шатра, накрыта зелёным шёлковым платком. Аббас Мирза окинул



не потеплевшим даже в шатре холодным взглядом Махмуд-бека, вытянувшегося Гурд Керима, затем скопца, кивнул в сторону Головы:

— Евнух!..

Абдул Рахман тотчас шагнул вперёд, снял с Головы платок, и при свете свечей в шатре казначейства Каджаров в это холодное зимнее утро голова князя Цицианова оказалась лицом к лицу с Аббасом Мирзой.

Один глаз Головы был выпучен, словно готовился вырваться из орбиты, другой, съёжившись, уменьшился, и оттого, что шатёр был невелик, дыхание заполнивших его людей заставляло колебаться и подрагивать свет свечей в серебряных подсвечниках, и это колебание отражалось также в застывших зрачках Головы, глядевшей на Аббаса Мирзу. Видимо, в результате усилий сальянского врача Салахаддина кровь с ещё не искривлённой шеи свернулась, как бы приклеив Голову к серебряному подносу, отчего та выглядела вызывающе.

В шатре царила тишина.

В это время вдруг Гурд Керим плюнул в лицо Головы, евнух Абдул Рахман от этого неожиданного поступка вздрогнул, а тот, сказав на азербайджанском: «Сукин сын!..» — горделиво глянул на Аббаса Мирзу.

На тишину, окутавшую шатёр, осел страх, и по мере того, как длилась тишина, этот страх стремительно наполнил всё существо Гурд Керима, он понял, что против своего желания вызвал гнев Наследника.

По-настоящему огорчённый столь явным равнодушием к его персоне со стороны Аббаса Мирзы, Махмуд-бек посмотрел на Принца, на Гурд Керима, затем на густой плевок, стекающий со лба Головы.

Эту наполненную страхом тишину нарушил Аббас Мирза, шагнув к Гурд Кериму, стоящему рядом, он отвесил ему тяжёлую пощёчину, сказав на фарси:

— Сучье отродье! — затем добавил на азербайджанском: — Ни на что, кроме как плевать, не годится!

Горящие при дрожащем свете свечей гневом большие чёрные глаза Аббаса Мирзы буквально буравили Гурд Керима, и тому, многие годы служившему своим мечом дяде Аббаса Мирзы — Ага Мухаммед-шаху Каджару, показалось, что он столкнулся не со взглядом Наследника, которого знал с молодых ногтей, а с пронзительным взором кровопийцы Ага Мухаммед-шаха Каджара, вонзившимся в сердце, словно острый кинжал. Взором, от которого можно было содрогнуться даже во сне.

Проявляя доблесть на полях сражений, верой и правдой служа двум правителям — Мухаммед-шаху Каджару и Фатали-шаху, Гурд Керим, столкнувшись с яростью Наследника, почувствовал, что от волне-

ния и напряжения дрожат уголки его губ. Крепко сжав их, он старался, чтобы никто не видел, не почувствовал эту дрожь.

Крепко сведённые губы и дрожь не прошли мимо взгляда Аббаса Мирзы, эту дрожь в своё время улавливали лишь серые глаза Ага Мухаммед-шаха Каджара, и Принц, протянув длинный тонкий палец в сторону Головы, тихо прошептал:

— Сотри!.. — В этом шёпоте словно была такая магнетическая сила, что не приказ, а именно этот шёпот заставил Гурд Керима — этого уродливого верзилу — опуститься на колени и полой своей зелёной шёлковой чохи аккуратно вытереть щёки и нос Головы.

Аббас Мирза устремил взгляд на Голову, а всё ещё не осмеливающийся подняться с колен Гурд Керим в наступившей тишине мучительно думал о том, чем завершится эта история с плевком? За свою жизнь он видел на полях сражений столько смертей, столько казней, когда напрочь слетали отрубленные головы, что прежде воспринимал их как обыденность, но с годами этот нескладный здоровенный человек, одно имя которого наводило ужас, стал страшиться собственной смерти. А после того как Фатали-шах прикомандировал его к Наследнику, даже небольшое недовольство Принца, особенно в последнее время, повергало Гурд Керима в трепет и ужас. Он хорошо знал, что можно ожидать всего что угодно как от гнева, так и от милосердия Каджаров, — грань между гневом и прощением очень тонка, хрупка. Гурд Керим не раз бывал свидетелем внезапных страшных решений и приказов правителей, а иногда и сам бывал исполнителем этих страшных решений и приказов.

Аббас Мирза ещё не был правителем — только Наследником, но Гурд Керим, чьи руки в крови сотен и сотен людей, яснее ясного чувствовал, что, когда Принц вознесётся на иранский престол, возложит на голову корону Ирана, он в своём гнев и прощении, пожалуй, оставит позади и отца — Фатали-шаха, и даже своего дядю — Ага Мухаммед-шаха Каджара. И в минуты, когда наступала подобная гнетущая тишина, ему приходило на ум, что кровь в теле Принца холодна как лёд, но одновременно его озадачивала, поражала влага, выступающая в глазах Наследника, когда тот слушал шушинского ханенде — Худаверди Ахсана, поющего «Карабахскую шикесте», или газели на мелодии мугама Говси Тебризи, игру на сазе тебризского Слепого Ашуга Мадата; в подобные минуты слёзы на глазах будущего самодержца сообщали лишь о прекрасных поворотах жизни, состоящей от начала до конца из милосердия и всепрощения.

Когда глава провинции Хой Джафаргулу-хан, надеявшись на русские войска, вступившие на Кав-

каз, поднялся против Каджаров, Фатали-шах направил против него Аббаса Мирзу, тогда Гурд Керим тоже был рядом с Принцем. Аббас Мирза — этот, по сути, юнец — заманив в хитрую западню, наголову разбил старого лиса Джафаргулу-хана, и Гурд Керим, человек, вся жизнь которого прошла в военных походах, со всей очевидностью уяснил себе: если Аллах дарует Наследнику занять трон, тот может переплюнуть даже самого Надир-шаха.

Когда Джафаргулу-хан, пытаясь спасти свою жизнь, бежал, Аббас Мирза послал ему вдогонку отряд Гурд Керима; хану не удалось скрыться, Гурд Керим настиг его вблизи Урмии, перестрелял, перебил остатки его людей, а самого, захватив в плен, приволок к Аббасу Мирзе. И когда враг, упав на колени, пытаясь схватить за ногу Аббаса Мирзу, молил о пощаде, Наследник, глянув на Гурд Керима, выражением глаз поблагодарил его, но Гурд Керим не стал обольщаться, он хорошо знал: между благодарностью и гневом правителя непреодолимой границы нет.

Аббас Мирза, отведя взгляд от Головы, глянул на Гурд Керима: то, что его военачальник подобным образом опустил на колени перед Головой, как бы отведывая Голове поклон, увело Наследника в мир слышанных в детстве от воспитателей и наставников сказок, жадно проглатываемых ещё подростком книг; по его губам скользнула и улетучилась ироническая улыбка, и в тот же миг Гурд Керим понял, что опасность миновала, так как холод в глазах Наследника исчез, прищуренные чёрные глаза стали задумчивы и озабоченны.

По знаку руки Наследника Гурд Керим медленно поднялся с колен, и Аббас Мирза, глядя на него в упор, сказал:

— Иди, собери своих людей, подготовься. — Затем, указав пальцем на Голову, добавил: — Её в Тегеран отвезёшь ты!

— Слушаюсь, — выпалил Гурд Керим, ощутив явную, нескрываемую гордость от того, что ему поручено столь ответственное задание.

— Ответишь головой! Собственной, — добавил Аббас Мирза.

— Его высочество может быть уверено! — сказал Гурд Керим, и тон его голоса подтверждал эту убежденность.

Затем Принц обернулся к евнуху:

— Ты станешь сопровождать их!

Как правило, всегда говоривший на азербайджанском, видимо, осознав важность, напряжённость момента, скопец ответил на фарси:

— Бе чешим!.. Бе чешим!..<sup>1</sup>

Затем Аббас Мирза внимательно и с некоторой долей интереса глянул на Махмуд-бека: Наследник

уже имел информацию об этом человеке, знал, что этот бек — истинный виновник столь незавидной судьбы Наместника Цицианова.

— А ты, — сказал Принц, — можешь возвращаться в Баку.

Не скрывающий своего огорчения и даже не желающий скрывать, Махмуд-бек сказал:

— Ваше высочество, мне поручено лично отвезти Голову шаху.

Аббас Мирза, продолжая глядеть на Голову, бросил:

— Здесь поручения отдаю я!

— Я должен лично вручить письмо Гусейнкули-хана шаху, — уже чуть запальчиво повторил Махмуд-бек.

Кивком головы Аббас Мирза указал на скопца — евнуха Абдул Рахмана:

— Передай письмо ему.

— Я должен увидеть шаха, — с ещё большей настойчивостью произнёс Махмуд-бек. — У меня есть что ему сказать.

— Ты уже сказал всё что мог. — Аббас Мирза указал пальцем на Голову. Затем кивнул Гурд Кериму: — Вы оба можете идти.

Гурд Керим поклонился, пятась, вышел из шатра.

Махмуд-бек не двинулся с места.

— Ваше высочество, в таком случае хотя бы выслушайте меня, прошу вас! — Но в его обращении было больше гневной требовательности, нежели просьбы.

Глядя на этого прибывшего из Баку молодого человека, Абдул Рахман подумал, что, несмотря на пригожесть и дерзость, в эти минуты бек напоминает волка, у которого увели из-под носа, отняли добычу, и теперь он в растерянности, не знает, что предпринять.

Аббас Мирза глянул на своих телохранителей, и они придвинулись к Махмуд-беку, намереваясь вывести его из шатра. Махмуд-бек попытался отстраниться от охраны, чтобы хотя бы сказать несколько слов.

— Ваше высочество, и я, и вы — турки! — почти прокричал он. — Вы должны выслушать меня. Выслушайте меня! Мы должны протянуть друг другу руки! Объединившись с Османским султанатом, мы должны создать большое турецкое государство! Все турки на земле должны объединиться, иначе и у Османов, и у вас будет незавидный конец! Мы все погибнем! За нами никого, кроме нас самих, нет! В одиночку вы не справитесь с русской армией!

Наследник, прищурив глаза, внимательно слушал Махмуд-бека, а охрана не знала, что предпринять: схватить приезжего и вывести из шатра или оставить, пока Принц выслушает этого молодого человека до конца.

<sup>1</sup> Повинуюсь.

Но страстный монолог Махмуд-бека длился не долго. Аббас Мирза с явной насмешкой улыбнулся и с холодной, не оставляющей места надежде властью произнёс:

— Выбросьте его вон!

От огорчения щёки Махмуд-бека покраснелись, он пытался ещё что-то сказать, но, перехватив холодное выражение глаз Принца, уверился, что смысла что-то говорить, протестовать — нет, оказав сопротивление, он может только быть выброшенным с позором наружу. Подавив свою злость и упрямство, бек вышел из шатра.

Обернувшись, Аббас Мирза сказал скопцу:

— Ты тоже можешь идти. — И когда евнух, обеспокоенно глядя на Голову, будто опасаясь, что и она может нанести вред Наследнику, выходил из шатра, Принц добавил: — Ты там присмотри, чтоб этого бека не обижали. И его, и его людей, и того, как ты говорил, моллу, что ли, отпустите, пусть убираются во свояси. Только пускай обязательно возвращаются в свои бакинские трушобы, а если надумают перебраться на ту сторону Аракса, — остановить.

Евнух Абдул Рахман был настолько близок к шаху и Наследнику, столь часто общался с ними, что порой забывал отвешивать им в соответствии с церемонией поклоны. И все — и шах, и наследник престола, даже свита — не обращали на это внимания, но непосредственное лицемерие Головы создало такую напряжённость, что скопец на сей раз вышел из шатра, тоже пятясь и непроизвольно, не по протоколу, отвешивая бесчисленные поклоны.

Принц подал знак телохранителям, и они покинули шатёр.

Аббас Мирза остался один на один с Головой.

Голова видного полководца великой Российской империи словно свидетельствовала об убожестве вынужденной жизни в атмосфере ведущихся месяцами, годами сражений, бессонных ночей, жажды власти, битв за землю, необходимости неделями, даже месяцами проживать в разбитых в голой степи палатках, в ущельях, на холмах. Даже та лучезарная картина, что вставала перед ним, когда он, засыпая, представлял себя на отцовском троне, сейчас для Принца, стоявшего лицом к лицу с Головой, показалась самой никчемной иллюзией жизни. А что станет потом? Рано или поздно умрёшь, исчезнешь и ты. Ничего от тебя не останется. Что останется? Государство?

Со времени зарождения Земли на свете было образовано столько государств, но все они ушли в небытие... Тот бек — бакинец, что только что вышел из шатра, грезит об объединении всех тюрков, создании великого тюркского государства. Недалекий человек! Урод, мечтающий о тюркском единстве! Разве ты не видишь, что творят по отношению друг

к другу эти карликовые азербайджанские ханства? Такой полководец, как Ага Мухаммед-шах Каджар, стремился объединить все азербайджанские ханства, а чем всё кончилось? Кто организовал его убийство в Шуше? В своём невежественном, больном воображении ты выстраиваешь великое тюркское государство! Твой тюркизм такой же изъян, как волокитство, пьянство, разведение голубей, дурак и сын дурака!

Пока Аббас Мирза стоял лицом к лицу с Головой, внутри шатра возникла духота, а запах горящих свечей привнес в эту духоту дополнительную спёртость.

И вдруг Наследник вспомнил своего второго дядю по отцу — Муртазагулу-хана.

Муртазагулу-хан, мечтая о троне, ввязался в борьбу со своим же братом — Ага Мухаммед-шахом, поначалу примкнул к персам из Занда, затем вступил в союз с русскими гяурами, потерпев в конце концов поражение, бежал в Петербург, проживал там, на чужбине, пока семь-восемь лет назад его не призвал к себе Аллах.

Аббас Мирза при жизни не видел Муртазагулу-хана, не знал, что это за человек, но он тягался с таким братом, как Ага Мухаммед-шах Каджар, тот был любимым дядей Аббаса Мирзы, он им гордился и хотел во всем ему подражать.

Племянник Надир-шаха — Али Адиль-шах, взойдя на престол и желая застраховаться от будущих претендентов, приказал оскопить шестилетнего Ага Мухаммеда: какой-то скопец не сможет стать шахом! — но Ага Мухаммед Каджар не был «каким-то», за десять лет до того, как Наполеон во Франции сам водрузил на свою голову корону, Ага Мухаммед-шах, благодаря уму и мечу, тоже водрузил венец на собственную макушку.

Власть Адиль-шаха длилась недолго — всего год, Аллах сам покарал его за изуверство над шестилетним ребёнком: он был свергнут с престола собственным братом — Ибрагимом, который сначала приказал выколоть ему глаза, затем казнил в Мешхеде. Ага Мухаммед-шах положил начало династии Каджаров, объявил племянника — Баба-хана своим наследником, а Аббаса Мирзу, несмотря на детские годы, продолжателем рода. Всё так, но вопрос не в этом, трудно отыскать в истории сына или брата правителя, не примеривающего в мечтах на себя шахскую корону. Глупый бакинский бек! Братья от одного и того же отца ведут смертельную схватку за власть, выкалывают друг другу глаза, казнят, а этот дуралей грезит об объединении всех тюрков на свете. Ты продолжай мечтать, только подумай, что на это скажет свет. Тюрки никогда не объединятся, ибо с зарождением Вселенной родилась и жажда власти, и эта страсть всегда на первом месте у всех тюркских правителей.

Голова, один глаз которой готов был выскочить из глазницы, а другой, съёжившись, выглядел поменьше, поставленная на серебряный поднос, глядела всё так же вызывающе на Аббаса Мирзу. В эти мгновения, пребывая в душном и спёртом от запаха свечей воздухе шатра, он хорошо знал, что совсем скоро отправит Голову в Тегеран, затем наступит рассвет, все эти мысли рассеются, уйдут, снова продолжится противоборство, война с Россией за Южный Кавказ...

...Именно в это время пятеро охранников, выполняя приказ Наследника, на холоде рассветного зимнего утра пытались раздеть Лал Гафароглу: проснувшиеся и высыпавшие из шатров наружу сарбазы, окружив их, хотели насладиться зрелищем того, как станут сечь этого прибывшего из Баку верзилу, что сопротивлялся, не давался в руки охране. Фыркающая, мыча, он расталкивал наседавших, брыкался, кусался, сарбазы поддевали, насмехались над охранниками, что впятером не могли совладать с одним человеком.

Для Лал Гафароглу на свете существовали лишь две святыни — Аллах на небе и Гусейнкули-хан на земле, и не было случая, чтобы он не выполнил распоряжения последнего. Он не мог говорить, и в те минуты, когда, окружив, громко потешались над ним и охранниками сарбазы, Лал Гафароглу было всё равно, что они говорят и над чем смеются. Он к тому же словно ещё и оглох, ничего не слышал, так как всё существо этого верного, как пёс, человека было потрясено — хан поручил ему день и ночь охранять Голову, а он не способен выполнить поручение.

Охранникам наконец удалось раздеть Лал Гафароглу, оголив его задницу, согнули гиганта вдвое, и четверо из них — каждый со своей стороны, крепко схватили его за руки и ноги, а пятый, взяв плеть, прошёл вперёд.

Выкрики окруживших их сарбазов оглашали всю равнину Харамы, так, будто зеваки были кровниками этого человека, которого видели впервые, и с особым наслаждением мстили ему за смерть самых близких людей:

- Ну, бей наконец!..
- Бей этого сукина сына!..
- Бей, чтобы он ревел, как осёл!..
- Бей так, чтоб заговорил!..
- Бей так, чтоб обоссался!..
- Бей, чтобы околел!..

И в это время произошло то, что до конца жизни не сотрётся из памяти сарбазов, которые останутся живы после многомесячных, даже многолетних боёв с русской армией: Лал Гафароглу, собравшись с силами, издав страшный рёв, раскидал державших его, вырвал из ножен кинжал на поясе нависшего над

ним с плетью охранника, всадил кинжал по рукоятку в самое его сердце, затем, схватившись обеими руками, вонзил кинжал уже в свой живот. Кровь со свистом била из живота, словно из переполненного бурдюка, Лал Гафароглу стал медленно сползать на колени, затем приник бритой наголо головой, с жировыми складками на шее, к земле.

Застывшие, надолго замолчавшие сарбазы, не сразу придя в себя, волоком потащили труп немого к мусорной свалке лагеря и бросили его там. И никто не узнал — предали ли останки Лал Гафароглу земле или он стал пищей птиц и животных.

\* \* \*

*...В том, видимом, измерении граф Николай Иванович Тимофеев-Богоявленский — Николай — полулежал, откинувшись спиной на подушки в кровати.*

*В смежной к спальне комнате, сидя за столиком, графиня Ольга Михайловна перебирала свежую почту.*

*Сквозь приоткрытую дверь граф покрикивал на супругу: «Ты хочешь завладеть всем, что я имею!.. А затем снова выскочить замуж! За молодого, здорового мужчину!.. Знающего своё дело мужчину!.. Но твои мечты не исполнятся!.. Я не умру!.. Ты сгинёшь раньше меня!..»*

*Казалось, Ольга Михайловна не слышала этих слов — граф просто сотрясал воздух — взяв одно из писем, она прошла в спальню: «Успокойся, Коля!.. Я знаю, что внутри тебя обитает Кащей, ты никогда не умрёшь!.. Пришло письмо от князя Цицианова, прочтёшь?»*

*С той же злостью и ненавистью граф Тимофеев-Богоявленский выкрикнул: «Нет!.. Я не хочу ни читать, ни слушать его длиннющие, выматывающие человека письма!.. Дон-Кишот Цицианов!.. Для него на свете две святыни — Бог на небесах и Александр на земле! Видали мы твоего Александра! Александр!.. Он хотел перехватить, отнять славу Наполеона, обречь её в нибб вокруг своей головы, а что получилось?! Снюхался с Францем, потерпел поражение, опозорившее всех нас! А затем, вместе с тем же Францем, бежал как заяц с поля боя!.. — Граф повысил голос: — Аустерлиц — чёрное пятно на истории России!..»*

*— Не кричи! — урезонивала Ольга Михайловна.*

*— Ага, боишься? Не за меня опасайся! — ещё громче крикнул граф. — За себя боишься, услышат, внесут меня в чёрный список Александра, а ты лишишься всего!*

*— Ладно, — примирительно сказала Ольга Михайловна, — кричи что вздумается! С утра ворчишь, как старая баба! — и, держа в руке письмо, добавила: — А что делать с этим?*

*— Делай что хочешь! — сказал граф. — Прочти сама, решишь, как всегда, ответить за меня — отвечай,*

*не захочешь — не пиши!.. Плевать мне и на Кавказ, и на эти письма, и на подобную жизнь!..*

## 18

Одержанная наконец-то победа русской армии над Джар-Белоканским султанатом в марте 1803 года превратилась в истинный праздник.

Когда Ага Мухаммед-шах Каджар во время первого похода на Карабах, после долгой и безрезультатной осады Шуши, потерпел фиаско, Ираклий II, воспользовавшись удобным моментом, предпринял набег на Гянджу. Правда, из этого ничего не получилось — Джавад-хан отразил атаку. Шах, сняв осаду Шушинской крепости, повернул войска на Кахетию. Ираклий II бежал, скрылся в горах. Ага Мухаммед не оставил камня на камне в Тифлисе; тысячи жителей города были взяты в плен — мужчин продавали в рабство, девушек в наложницы. Через какое-то время Ага Мухаммед-шах вновь двинул войска на Карабах — словно рок подталкивал его к этому походу — наконец захватил Шушинскую крепость, на сей раз уже Ибрагим Халил-хан бежал на север Азербайджана, в сторону Джар-Белокан, но в первую же ночь в той самой, захваченной Шушинской крепости Ага Мухаммед-шах был умерщвлён собственной охраной.

Ираклий II снова вернулся назад, но в это время отряды джамаата Джар-Белокана стали часто совершать набеги на сёла, населённые пункты Кахетии. И после прихода русских войск хорошо обученная, метко стреляющая, мастерски владеющая мечом конница Джар-Белоканского джамаата продолжала часто совершать набеги на установленные вокруг Тифлиса посты. Эти внезапные и жестокие набеги дорого стоили русской армии — много потерь в живой силе; случалось, угоняли коней, даже целые табуны, захватывали военное снаряжение и оружие, но главное — эти набеги наносили урон престижу русской армии. Генерал фон Кнорринг вёл переговоры с Джар-Белоканским джамаатом, даже отправлял им подарки, но все его старания не приносили результатов. Князь Цицианов конечно же не мог мириться с подобным положением: Россия присоединила Грузию, разделённая на мелкие царства и княжества, та уже не являлась грузинской землёй, эта была вотчина великой Российской империи.

Князь Цицианов, прибегнув к патриотической риторике, усиливал в грузинском населении жажду мести, затем направил для умирения Джар-Белокана корпус под командованием генерал-майора Гулякова, придав ему добровольческие отряды грузин — конницу и пехоту.

Князь обсудил на карте с генералом Гуляковым все моменты будущей операции, поручив особо присматривать за отрядами грузин, во-первых, чтобы они не бежали с поля боя, во-вторых, чтобы после одержанной победы месть грузин не обернулась повсеместными грабежами и жестоким обращением с местным населением. Но князь не ограничился этим: ослеплённые чувством мести, грузины могли нанести урон авторитету русской армии, поэтому он вызвал к себе начальника армейской канцелярии полковника Броневского и продиктовал ему текст приказа.

Манифест предупреждал созданный корпус, а по существу грузинские части, что тех, кто посмеет заниматься грабежами, поджигать дома и усадьбы мирных жителей, ждёт суровая, вплоть до расстрела, кара. Полковник, как правило, составлял манифесты, выслушав мысли командующего, а князь только подправлял их, но самые важные реляции, в том числе письма и донесения Его Величеству императору, писал сам.

Текст манифеста был зачитан всем участникам будущей операции.

Корпус Гулякова, хоть и с большими сложностями, одержал победу, но грузинские отряды сразу же приступили к страшному разбою и грабежам. Генерал Гуляков оказался не способен выполнить приказ главнокомандующего: не допускать грабежей!

В своё время банды Джар-Белоканского джамаата, спускавшиеся со склонов Кавказа горцы, совершая набеги, обирали и без того живущих в бедности грузин — уносили всё, что попадало под руку: мешки с зерном, лошадей и овец, даже домашнюю птицу, простреливали, разбивали саблями глиняные сосуды с вином, выливали содержимое на землю. Теперь же мобилизованные грузинские солдаты — часто дети тех самых семей — желая и отомстить, и награбить как можно больше, занялись кровавым разбоем.

Глава небольшого, в двенадцать человек, отряда всадников грузин — Вахтанг Потцихашвили превратился в главного героя кровавой вакханалии; среди грузинских бойцов укрепилось убеждение, что генерал Гуляков не в силах применить какую-либо кару к этому молодому грузину, прославившемуся особой беспощадностью и жадной мести. Вахтанг Потцихашвили и вдохновлённые его примером поделальники, начисто забыв про обнародованный манифест главнокомандующего, не обращая внимания на увещевания Гулякова, ослеплённые чувством мести, рубили саблями и расстреливали всякого, кто попадался им на пути.

Руки Вахтанга по локоть в крови местного населения — мужчин, женщин, детей, но этот человек, казалось, никак не мог остановиться.

Тому была и причина: когда-то джар-белоканцы вынесли из его родительского дома всё, что могли, сразили пулей в сердце отца, вышедшего с вилами в руках остановить их, умыкнули сестру Кетован, много позже до Вахтанга дошли слухи, что её выдали замуж за какого-то шестидесятилетнего белоканского бека, заставив принять ислам.

И Вахтанг после поражения джар-белоканцев и впрямь не мог успокоиться.

...В связи с завершением Джар-Белоканской операции князь Цицианов проводил в своей резиденции в Тифлисе заседание Военного совета; вопреки ожиданию офицеров, он был явно раздражён.

— Эта очень важная победа! — произнёс он и после небольшой паузы продолжил: — Но, к сожалению, я не могу поздравить от всего сердца наши войска с этой важной победой! — И, приблизившись к генералу Гулякову, пригвоздил: — Вы, генерал, покрыли там позором славную русскую армию! Я приказывал вам контролировать отряды грузин!

Долговязый Василий Семёнович Гуляков — генерал, известный не только в кавказской армии, вытянулся, словно став ещё выше ростом, и, глядя сверху вниз на коренастого Цицианова, ответил:

— Я был не в состоянии выполнить приказ, князь!

В армии, особенно при таких официальных собраниях, не принято обращаться по титулу «князь», и то, что, признаваясь в своей неспособности справиться с грузинскими солдатами, Гуляков обратился к главнокомандующему именно так, свидетельствовало о внутреннем потрясении, которое генерал переживал в эти минуты.

Князь Цицианов, глянув снизу вверх на Гулякова, ничего больше не добавил, генерал и без того был потрясён, главнокомандующему не хотелось особенно унижать его в присутствии генералитета; чуть отойдя, он спросил своего адъютанта фон Грендфальда:

— Где тот главарь отряда?

Полковник крикнул стоящим в конце просторной залы порученцам:

— Введите арестованного!

Князь Цицианов был в курсе всех художеств Вахтанга Потцихашвили во время Джар-Белоканской кампании и заранее принял решение расстрелять его. Нисколько не колебавшемся, когда речь шла о неповиновении Российской империи, насчёт кавказцев, поднимавших руку на Российскую Империю, князю Цицианову, предпочитавшему говорить только языком оружия, решение далось непросто: он приговаривал к смерти человека, который сражался — причём доблестно — с врагами Российской Империи.

Ты воюешь с ними в рядах российских войск, но это не означает, что, вступая в сёла и хутора, можешь предавать мечу каждого, кто встретится на пути, не разбирая, кто перед тобой — женщина или ребёнок; врываясь в жилища, убивать домашний скот, поджигать дома простых крестьян, заниматься грабёжом, — если каждый начнёт мародёрствовать, какие такие трофеи достанутся в таком случае армии? — ты оскорбляешь русских офицеров, ни во что не ставишь приказы непосредственного командира, русского генерала, наконец, не выполняешь требования манифеста.

Этот грузин не был солдатом, военнообязанным, он был добровольцем, и генерал Гуляков, видимо, опасаясь, что могут взбунтоваться другие грузинские добровольцы, не решился расстрелять его там же, на месте.

Но он, князь Цицианов, казнит этого негодяя: пусть все грузинские добровольцы убедятся, что значит не подчиняться приказу главнокомандующего.

Двое младших офицеров ввели в зал Вахтанга Потцихашвили. Руки его были связаны за спиной. Цицианов прошёл вперёд, остановился перед арестованным.

Не подчиняющийся приказам, явно своевольный молодой грузин стоял перед князем, совсем не тушуясь, откровенно вызывая и заносячиво.

Глаза князя сверкали яростью.

— Он хоть владеет русским? — спросил Цицианов фон Грендфальда.

— Да, Ваше сиятельство! — вытянулся в струну адъютант.

Затем Цицианов, глядя прямо в глаза юноши, сказал:

— Ты не повиновался моему манифесту! Ты многократно нарушал приказы командования! Ты запятнал позором славную русскую армию! Тебя следует расстрелять! Серебряков!

Подполковник Серебряков был в армии человеком известным, все, в том числе Вахтанг, хорошо знали, что, если главнокомандующий вызывает подполковника — офицера, выполняющего особые поручения — это конец, и все, в том числе Вахтанг, также знали, что решение главнокомандующего не имеет обратной силы.

В наступившей тишине чеканные шаги Серебрякова и сопровождающих его младших офицеров словно ставили печать на безысходной судьбе Вахтанга Потцихашвили.

— Какой же ты грузин, если из-за мусульманских разбойников расстреливаешь грузина?

Вахтанг произнёс это по-русски с гортанным грузинским акцентом, обращаясь к князю на «ты», глядя с откровенным презрением прямо ему в глаза.

И внезапно произошло совершенно ужасное: арестованный плюнул в лицо Цицианову!

Все застыли, замерли на своих местах.

Быть может, впервые в жизни всегда расторопный полковник фон Грендфальд, чьё сердце, казалось, было готово выскочить из груди, глядя на струйку слюны, стекавшую по щеке князя, в панике не знал, что предпринять: то ли броситься на Вахтанга Потцихашвили, то ли, вытащив платок, вытереть лицо главнокомандующему.

Князь Цицианов же был совершенно спокоен, и в этой напряженной тишине по его губам скользнула саркастическая улыбка, и из-за того, что главнокомандующий находился в центре внимания, эту мгновенную улыбку заметили все устремившие на него взгляды военачальники.

На деле князь Цицианов по характеру был таким же взрывным, как стоящий перед ним юноша-грузин, но в тот момент, когда по его губам пробежала саркастическая улыбка, в то мгновение, когда юноша-грузин плюнул ему в лицо, его авторитет, высокий чин и положение словно превратились в нечто бессмысленное, не имеющее значения, и Вахтанг Потцихашвили, чьё тело сотрясилось от ненависти — от горькой, не имеющей выхода ненависти, тоже уловил ту саркастическую улыбку, и внутри него образовалась некая пустота, и он сам ощутил себя жалким и никчемным, мелким, словно муравей, существом.

Князь Цицианов вынул из кармана платок, аккуратно вытер лицо и только после этого ровным голосом произнёс:

— В рамках данных мне полномочий приказываю! Многократно нарушившего приказ, занимавшегося кровавым разбоем, — тут главнокомандующий, опасаясь, что не сможет в точности воспроизвести фамилию «Потцихашвили», чуть запнулся, выдержал паузу, добавил: — этого человека расстрелять! — Затем перевёл взгляд на Серебрякова: — Выполняйте приказ!

Вахтанг Потцихашвили увел.

Князь Цицианов, аккуратно свернув платок, положил его в карман, глядя вслед Серебрякову и сопровождающим, дождавшись, чтоб их шаги отдались, сказал:

— Господа офицеры, весьма сожалею, но я не вправе скрыть от Его Величества императора эти эпизоды гнусного разбоя, запятнавшие нашу важную и яркую победу!..

...Отдавший всю свою сознательную жизнь военной службе, благодаря личной доблести и умению прошедший все этапы карьеры и достигший звания генерал-майора, Василий Семёнович Гуляков никогда прежде не испытывал такого чувства стыда и позора.

Победа была начисто забыта, из-за его слабости, нерешительности плюнули в лицо главнокомандующему.

Этот русский человек, лишённый всяческой хитринки, до конца дней своих не забудет сие происшествие. Ровно через девять месяцев, во время гянджинской кампании, в январе 1804 года, князь Цицианов получил информацию, что понемногу приходящие в себя джарцы вновь зашевелились; хорошо знающий, к чему это может привести, главнокомандующий направил в Джары экспедицию под командованием всё того же Гулякова, где тот и погиб...

...После заседания Военного совета, проведённого в связи с победой над джамаатом Джар-Белокан, той же ночью князь, сидя в своём рабочем кабинете, при свете светильника, заправленного нефтью, написал рапорт императору Александру, поздравив его с победой над Джар-Белоканским джамаатом, и конечно же информировал о вандализме, который творили грузины.

Через какое-то время пришло ответное письмо. Император писал: «Я надеюсь, что в будущем грузинские солдаты при нанесении поражения врагам откажутся от зверств, которые они чинили при захвате Белокан, и научатся у русских, своих новых сограждан, милосердию».

Князь Цицианов, прочтя эти строки, обхватил руками голову, затем, откинувшись на спинку мягкого кресла и глядя в потолок, прошептал:

— Кавказ и милосердие... — И, с явной горечью и болью на лице, улыбнулся.

...Князь Цицианов в своём очередном верноподданническом рапорте писал: «Знакомясь с бытом и характером грузинского народа, опираясь на свои наблюдения, я вижу, что просветительским управленчеством достичь ничего в Грузии невозможно.

Природа определила для азиатских народов авторитарный метод руководства, и это поставило свою несмываемую печать и на Грузии.

Российский умеренный стиль управления они воспринимают как слабость, различными хитростями и маневрами, избегая исполнения закона, манкируют, бравировуют ненаказуемостью своих деяний».

## 19

Евнух Абдул Рахман который раз перечитывал от начала до конца «Лейли и Меджнун» Шейха Низами на фарси и «Лейли и Меджнун» Мухаммеда Физули на азербайджанском, но никак не мог ощутить, понять любовь, страсть, приведшие к гибели юных героев — Лейли и Меджнуна. Будучи человеком острого ума, он сознавал, что эта любовь, страсть — нечто иное,

нежели любовь человека к Всевышнему, матери к своему дитя или сестры к брату, но что это за «иное», евнух Абдул Рахман осмыслить никак не мог.

Видя, с каким вожделением, с каким внутренним горением глядят молодые слуги на девушек, принимающих различные позы во время утренних уборок во дворце, Абдул Рахман не мог понять природы этого горения, вожделения и восхищения. Проводя по ночам в покои шаха или принцев сотни подобных девушек, он, конечно, понимал, что юноши жаждут этих девушек; ясное дело, речь идёт не только о продолжении рода, но что именно они ощущают, ложась в общую постель, евнух представить не мог. Эти юноши страстно желают девушек, как изнывающие от жажды глотка воды, но отчего? В чём тайна? Скопец иногда слышал женские стоны, доносящиеся из шахской опочивальни или из шатра Принца, сопровождая его во время военных походов, но истоков подобных стонов тоже понять никак не мог.

Скопец не помнил своего детства, не знал, кто он, из какой страны, какой национальности. Одно только помнил: он сидит напротив белой-белой стены, и женщина в белом платке кормит его чем-то сладким, напоминающем хлеб, но никак не мог вспомнить, хоть и старался, лица той женщины, только помнил кипенно-белый платок и в такие мгновения ощущал во рту вкус чего-то сладкого, напоминающего хлеб. Сознание подсказывало скопцу, что та женщина в белом платке — его мать. Иногда по ночам, особенно в последнее время, мучая голову, он пытался вспомнить лицо женщины, но вспомнить никак не мог, и это усиливало в неведомой ему самому степени ненависть ко всему свету, копившуюся в душе, и эта потаённая ненависть раздражала и ушемляла его.

И ещё помнил, как его оскопляли. Лиц людей, творивших это зло, он не помнил, в памяти остались лишь выстроенные в ряд для оскопления, словно жертвенные бараны, мальчики и ещё боль той операции — с тех пор скопец больше всего на свете страшился боли.

Несомненно, Абдул Рахман верен своим господам — Фатали-шаху и Принцу, но за этой верностью, по существу, стоял страх ощутить ту же боль, что и при оскоплении.

За свою жизнь он был свидетелем стольких казней, пыток, истязаний и при виде этих казней, пыток и истязаний — кого-то вешали, кого-то прижигали огнём, кому-то выкалывали глаза, отрезали язык, руки — по телу скопца пробегала тёплая и приятная волна, животный крик, исходящий из самого нутра человека, подвергавшегося пыткам, истязаниям, придавал этой волне ещё большую силу и тепло; видимо, в этих его чувствах содержалось своеобраз-

ное умиротворение, благодать: пыткам и боли подвергался не он, скопец, а кто-то другой.

Процедура оскопления вывезенных для дворца из Аравии, Эфиопии, Балкан, Кавказа или купленных на невольнических рынках мальчишек также проходила под наблюдением евнуха Абдул Рахмана. Во время этих операций щекочущая волна окатывала ещё теплей, так что он даже дрожал и покрывался потом, задыхаясь от сладкого волнения. К волнению примешивалось и своеобразное чувство мести, будто, слыша крики подвергающихся оскоплению детей, евнух мстил какой-то неведомой силе, но это было очень сложное, необъяснимое для него самого ощущение.

В последнее время, узнав, что кого-то будут казнить через повешение, Абдул Рахман, оставив незавершёнными дела, спешил к месту казни, и, когда несчастный, повиснув на перекладине, трепыхался в агонии и ещё с хрустом ломались его шейные позвонки, то приятное волнение обдавало его даже большим, чем прежде, теплом, и его похожие на кошачьи зелёно-жёлтые глаза загорались дьявольским огнём.

В такие минуты скопец чувствовал, что приятное волнение, которое он ощущал, глядя на муки других, должно завершиться каким-то ещё более волнующим ощущением, но оно никак не приходило.

Порой мысли уносили скопца в какие-то дали, и, думая о превратностях, злоключениях этого света, он приходил к выводу, что применяемые одними в отношении других пытки, истязания, казни — такое же естественное, обыденное дело, как утоление жажды или голода. Без всего этого невозможно: есть человек, должны быть казни и пытки — так создал этот мир Всемогуший. Но отчего он создал его таким, это Божья тайна, и она, эта тайна, откроется лишь в Божьем царстве.

Евнух Абдул Рахман хорошо знал, что он не таков как все, что он увечный — у одного нет руки или ноги, другой слеп, третий нем, а он — скопец. И счастье его в том, что если слепой знал, что лишён зрения, немой — речи, безногий — способности ходить, и оттого они страдали, то он, евнух Абдул Рахман, не ведал, чего лишён.

Женщины, купающиеся в чём мать родила на его глазах в гареме, подобны ежедневно виденным предметам, эти голые женщины не вызывали у него никаких иных чувств, не доставляли никакого наслаждения. А что такое иные чувства, наслаждения, он не знал и оттого не очень сетовал на жизнь — досыта ел и пил, во дворце считались с ним, а наложницы боялись его, как собака палки, он пользовался особым расположением Его величества шаха и Наследника. Разве этого мало в дни, когда мир обращён в кровавый котёл?



Но порой непроизвольно, особенно в последнее время, что-то говорило ему, что быть скопцом — самое большое несчастье на свете. Ведь цветы рассыпают семена, птицы несут яйца, даже собаки рожают щенков, значит, и человек должен зачать ребёнка. Но что делать, на земле у каждого своя судьба, и, если глянуть в суть, на этом свете все мало чем отличаются друг от друга. Рано или поздно все умрут, ни от кого не останется ни следа, ни пылинки — ни от скопца или других, по существу тоже скопцов, хоть и меняющих за ночь пятёрку наложниц.

Какая разница через сто лет будет между этим молодым, красивым, сильным и могущественным Принцем и евнухом Абдул Рахманом? Кости обоих смешаются с землёй, правда, может, имя Принца останется в истории, но какое это имеет значение для нынешнего, живого и здорового Аббаса Мирзы?

\* \* \*

*...Дул ветер, и беснующаяся Кура с шумом несла свои бело-жёлтые пенные воды. Вахтанг Потцихашвили со связанными за спиной руками стоял спиной к реке, устремив горящие гневом глаза на нацеливших на него ружья солдат.*

*Стоящий чуть поодаль подполковник Серебряков поднял руку, и в это время Вахтанг Потцихашвили что было силы крикнул:*

*— Эй, Цицианов, плевать я хотел на такого, как ты, грузина!..*

*И в тот же миг подполковник Серебряков опустил руку, отдал приказ: «Огонь!»*

*Точные выстрелы солдат изрешетили грудь Вахтанга Потцихашвили, его белая рубашка обгадилась кровью.*

*Вахтанг Потцихашвили хотел ещё что-то крикнуть, но не успел, опрокинулся в реку.*

*И те бело-жёлтые пенные воды тотчас накрыли, втянули его в свою воронку.*

*Подполковник Серебряков подошёл совсем близко к берегу реки и, глядя на ещё больше вспенившиеся воды, процедил сквозь зубы: «Иди, сволочь! Иди, соединишь со своей Курой!»*

## 20

Понемногу светало, и блеяние овец в эту утреннюю рань, слившись с журчанием Аракса, разошлось по степи Харамы.

Началась утренняя дойка, и жена Рыжего Чабана с двумя товарками споро доили овец, оставляя в вымени немного молока для ягнят; завершив доить, легко шлёпали овцу по курдюку, и, как только она

отходила, ожидавший её ягнёнок, тут же протиснувшись под мать, жадно прилипал к её сосцам, а доярки приступали к очередной овце-матке.

Рыжий Чабан сидел поодаль, на пригорке, опершись подбородком на кизилую клюку, которую придерживал обеими руками. Выстроганная ещё в молодости, высушенная на огне, с годами ставшая гладкой клюка черна от грязи. Рыжий Чабан ясно слышал журчание Аракса, дружное блеяние овец, даже ощущал аромат свежего молока, стекающего в подойник.

Тот звук стекающего в подойник молока, его аромат и на сей раз спустили с неба на землю гурию, обёрнутую в прозрачный тюль. Та гурия так нежна, воздушна, подуй слегка — рассыплется, улетит, словно одуванчики, растущие в степи Харамы. Оголённое тело гурии не было прозрачным, оно еле просматривалось, и Рыжий Чабан, сузив глаза, старался яснее разглядеть его, но линии тела сквозь тюль не проглядывались, темнели лишь соски груди и прогалина меж ног. Рыжий Чабан не мог разглядеть и лица той гурии, но ощущал, как ощущают холод и тепло, что, глядя на него, она улыбается, и это ощущение было самым сладостным во всей его жизни.

На свете никто, кроме Аллаха, не знал этой тайны Рыжего Чабана: гурия явилась сразу после того, как принц Аббас Мирза увёз его старшую дочь, и всякий раз, когда, слетев с неба, оказывалась напротив Рыжего Чабана, всё его тело охватывала лёгкость, подобная лёгкости самой гурии.

Проводя всю жизнь вне дома, вместе с отарой в предгорьях, степях, на равнинах, Рыжий Чабан и представить не мог, что может существовать в природе подобная лёгкость, и, по мере того как росло число овец в отаре, казалось, что гурия улыбалась ещё ласковей, сердечней, и в это время нежность её расцветала, подобно раскрывающимся по весне цветам в степи Харамы.

Дело в том, что прежде Рыжий Чабан имел отару примерно в сто пятьдесят овец, во время окота численность отары достигала почти двухсот пятидесяти. Пять рысаков принца же он выменял на сто семьдесят овец — за каждого коня дали тридцать пять овец, и теперь он был чабаном не на службе у кого-то, а чабаном — хозяином, собственником своей отары, и для пригляда за овцами нанял дополнительно чабана, порой ведь отара раздваивалась, одному с таким числом барашков уже не справиться. А когда началась стрижка овец, работы становилось ещё больше и он нанимал второго чабана.

Рыжий Чабан взял на подмогу также соседскую вдову и её засидевшуюся в девках дочь, чтобы помогали жене: доить овец, сбивать масло, заквашивать сыр и выносить всё это на продажу — нелёгкое, хлопотное дело.

Дети Рыжего Чабана были ещё мальцами — пятеро или шестеро. Двое или трое умерли ещё грудничками, а эти пока ни на что не годились, только «подай—отнеси» и всё тут; привыкшие просыпаться рано, они целый день возились среди овец.

Рыжий Чабан сидел, устремив глаза на отару, но гурия, отведя его глаза от овец, как всегда, унесла вдаль, и даже звук струящегося молока и его аромат не возвращали его взгляд назад.

Рыжий Чабан хорошо знал язык овец и коз, и пройдёт какое-то время — кто ведает о делах Всевышнего? — быть может, и он, Рыжий Чабан, станет одним из уважаемых людей в своей округе, выбросит вон чабанскую клюку, будет сидеть в собственном доме подобно карабахским бекам.

Разве не всё в руках Аллаха? Может, по воле Аллаха судьба избавит Рыжего Чабана от вечного запаха овечьего помёта, уложит его в постель в шелках, и тогда гурия не станет скрывать от него своё тело?

За всю свою жизнь Рыжий Чабан не знал иного женского тела, кроме тела своей жены. С годами же, когда жена, согрев воду, раздевшись, купалась, Рыжий Чабан отворачивался, чтобы не видеть её телеса, напоминавшие опустевший бурдюк.

Прекрасное женское тело многие годы жило только в его представлении, а разглядеть стан опустившейся с неба на землю гурии никак не удавалось. Правда, гурия, глядя на него с пяти-шести шагов, улыбалась — в этом Рыжий Чабан нисколько не сомневался. А не подпускали её ближе к нему, то есть к Рыжему Чабану, косматая, из овчины, папаха, старая чоха да грязные чарыки на ногах и ещё запахи той папахы и чохи.

Сам Рыжий Чабан не чувствовал эти запахи, но в минуты, когда глядел на гурию, сознавал, что от него отдаёт совсем не приличествующими гурии запахами. И Рыжий Чабан думал и о том, что насколько ему родны запахи овец и коз, настолько же чужды и омерзительны они гурии, и потому прилетает она только тогда, когда вокруг разливается аромат свежесвыдоенного молока.

И в это раннее утро, оперевшись подбородком на клюку, глядя на столь близкую и далёкую гурию, мысленно поджав под себя ноги, Рыжий Чабан — опять же мысленно — сел на подушечку с шёлковой наволочкой и, прислонившись локтем к такой же, с шёлковой наволочкой, мутате, впервые за свои сорок — сорок пять лет — точной даты своего рождения он, разумеется, не знал, — оторвавшись от запахов отары, весь погрузился в аромат и благоухание гюлаба — розовой воды. Он и прежде, бывая на траурных церемониях по поводу смерти родных или близких, улучив момент, как это принято, протирал лицо и руки гюлабом, но от духа овец, осевшего на него с детских лет, то благоуханье быстро улетучивалось.

Глядя на гурию, весь погруженный в уже не выдыхающиеся запахи гюлаба, сидя на шёлковой подушечке, распивая принесённый служанкой настоящий на шафране шербет, он отложил в сторону пиалу, протянув руку, открыл крышку серебряной шкапулки, вытащил из нее горсть драгоценностей, протянул гурии.

Гурия словно ожидала этого момента, приблизилась, её оголённое тело, чуть прикрытое тюлем, стало просвечиваться ясней, но тут вдруг заревел один из детей, и гурия остановилась.

Рыжий Чабан посмотрел на детвору, что возилась среди отары, — один из мальчиков, ударив другого, расквасил ему нос, а тот поддал силу глотке, — и в это время чабан вспомнил свою старшую дочь, которую увёз Принц. У него столько забот с теперь уже большой отарой, что не было времени вспоминать кого-то, даже дочь, а когда выдавалась свободная минутка, прилетала та самая гурия, и вообще, погружаться в какие-то воспоминания было делом далёким от его существования.

И в этот утренний час, когда он вдруг вспомнил дочь, всё ещё стоявшая перед Рыжим Чабаном гурия, окутанная в лёгкий, почти прозрачный тюль, прежде чем улететь, шепнула ему на ухо: «Дуралей! Надо было просить у Принца не пять, а десять копей!..»

Рыжий Чабан воспринял слова гурии достаточно спокойно, он и сам знал, что совершил глупость, продешевил, попросив за девушку всего пять рысаков.

\* \* \*

*...Среди людей в шатре ОН узнал Аббаса Мирзу.*

*Там, в том, видимом, измерении, ОН не знал Аббаса Мирзу, но по наитию ЕГО прозрачной и невесомой субстанции этот длинноротый красивый молодой человек был конечно же Аббас Мирза.*

*Аббас Мирза, кивнув в сторону небольшого круглого столика, сказал: «Скопец!..» — и тот, быстро пройдя вперёд, снял зелёный шёлковый платок, и Голова снова устремилась на НЕГО взгляд.*

*ОН с самого начала совершенно точно знал, что под зелёным шёлковым платком находится Голова, и ОН не желал, чтобы с Головы сняли зелёный шёлковый плат, открыли её на обозрение.*

*Но там, в том, видимом, измерении от ЕГО желания ничего не зависело, ЕГО субстанция ничего не знала, ибо там ЕГО не было.*

*ЕГО призрачность и невесомость не воспринимались в том, кажущемся идиллией, измерении, это ОН уже осознал. Но когда какой-то человек там, в шатре, плюнул в лицо Головы, ОН инстинктивно хотел увернуться, но это ЕГО желание также было невыполнимым.*

мо, ибо ЕГО прозрачная и невесомая субстанция соткана лишь из ощущений, в ней нет места механике.

\* \* \*

...Когда некто смачно плюнул в лицо Головы, человек, снявший с нее зелёное шёлковое покрывало, — скопец, — вздрогнул, и ОН увидел затаившуюся в глубине его глаз бесконечную печаль, затем демонический блеск рассеял её, и блеск исчез так же внезапно, как и появился.

И вдруг то, видимое, измерение стало кипенно-белым, и в той белизне, кормя сидевшего на коленях сына куличом, какая-то женщина напевала:

Моя любовь будет всегда с тобой, мой сыночек...  
Моя любовь всегда будет защищать тебя, мой сыночек...  
У тебя будут прелестные дети-шалуны...  
У тебя будут внуки, правнуки, праправнуки...  
Тогда меня не будет, но...  
Моя любовь будет с вами, мой сыночек...  
Моя любовь станет защищать вас, мой сыночек...

...ОН знал, что мальчик — тот самый, дрогнувший от неожиданности и страха в шатре скопец. Сколько лет прошло после той песни? Но разве это имело значение?

В той белизне видимого измерения карапуз ел кулич и, теребя пухленькой ручонкой нательный крест, висевший на шее матери в белом платке, слушал белую песню...

...Для НЕГО не было разницы, на каком языке пелась песня, так как в том измерении ОН ощущал, именно ощущал слова одинаково, и ЕМУ было всё равно, на каком языке поёт песню мать в кипенно-белом платке...

\* \* \*

...Слюна со лба Головы, просочившись сквозь ресницы, стекала со щеки на поднос...

\* \* \*

...ОН не хотел всматриваться в будущее мальчугана, что сидел на коленях матери в кипенно-белом платке, да оно от ЕГО желания и не зависело...

## 21

Джафар был конокрадом, и от Шемахи и Ахсу до самых Сальян у него имелись свои особые покупатели-спекулянты, они задёшево покупали у него коней, перепродавая втридорога. Джафар не был жадным,

алчным до денег человеком, и часто проявлявшие особую скупость перекупщики расплачивались с ним не деньгами, а мешком муки, риса или сахара. Единственной его заботой на этом свете была необходимость прокормить свою большую — восемь душ — семью, то есть он сам, Джафар, его жена и шесть дочерей-погодок, и набивший руку на угоне коней Джафар в это нелёгкое время худо-бедно справлялся с этим.

Джафар никогда не угонял коней из ближних регионов, отправлялся куда подальше, где его не знали, где не могло быть знакомых или родственников; угон коней из дальних местностей как бы снижал степень греховности его промысла.

Три, в лучшем случае четыре раза в год отправлялся за конями, иногда на север — в сторону Баку, Кубы или Дербента, а иногда на юг; за Аракс он не ходил, те места ему были незнакомы — ехал в сторону Гянджабасара, но больше всего в Карабах, Агдам, а порой, поднявшись повыше, добирался до сёл Шушинской крепости.

Наметив добычу, той же ночью совершал своё дело, и, самое поразительное, эти угнанные животные словно знали Джафара, совсем не дичились, так, будто Джафар был их родным конюхом, вели себя смиренно, выполняли все его приказания.

Джафар имел и собственную лошадь, возрастом постарше, чем угоняемые кони, но он её не менял и иногда, думая, что когда-нибудь всё же придётся сменить эту клячу, по-настоящему расстраивался, не только потому, что привык к ней, дорожил и любил её — единственного товарища по воровским вылазкам, но и потому, что кляча с одного его взгляда, жеста понимала, чего он хочет, чувствовала, что будет делать Джафар.

Самое поразительное — лошадь словно человек, она становилась как бы аксакалом, коноводом угнанных коней, успокаивала их, а в резвости порой не уступала молодым рысакам, и это конечно же было результатом любви и постоянного ухода за ней Джафара.

Село Сумахлы, в котором проживала семья Джафара, расположено на склоне гор, в лесистой местности, где на каждом шагу клекотали родники. Вода и воздух на селе настолько чисты и прозрачны, что всякий раз, когда Джафар, сев на свою клячу, отправлялся за очередной добычей в низину, ему словно не хватало дыхания, его мутило от речной или колодезной воды.

Джафару казалось, что на равнине и его старая кляча переживает те же страдания, что и он сам. Но что делать? — в том прекрасном селе Сумахлы его поджидала семья, и, подобно тому, как дикие звери несут добычу своим детёнышам, так и Джафар должен был вернуться с угнанным конём.

Сложенный из сырого кирпича дом Джафара был первым при въезде в село, и, как только он пригонял очередного коня, тут же — Аллах знает, откуда они это узнавали, — набегали спекулянты-перекупщики, и кто оказывался первым, тот и уводил коня.

Джафар не любил набивать цену, подолгу торговаться. На селе шли и такие разговоры, будто пара карабахских гнедых, в своё время угнанных Джафаром, была продана покупателям — русским, а российский падишах, мол, подарил их падишаху английскому.

Было ли это так или нет — этого никто не знал, даже единственный грамотный человек на селе Молла Зульфугар говорил: не верится мне в эти байки, сомневаюсь, чтобы падишах такой огромной страны, как Россия, не найдя ничего посушественней для подарка английскому падишаху, отправил ему коней, ведь русский падишах богаче, чем все наши беки и ханы вместе взятые.

Однако в тех случаях, когда Джафар пригонял по-настоящему породистых карабахских коней, о них сразу становилось известно всему селу: и стар, и млад, в том числе и Молла Зульфугар, торопились полюбоваться скакунами. Особенно весной или летом, когда село заливало солнцем: золотисто-рыжая масть карабахских коней в чулках, со звёздочками на лбу сияла под лучами солнца, а грива и покрасневшие на концах хвосты переливались различными красками; казалось, это сияние, эта игра цветов приносили радость какой-то прекрасной, далёкой от этого села родины этих коней, и все жители, включая Джафара, не сомневались, что мир тот прекрасен.

Кони, что пригонял Джафар, были героями единственных представлений, приносящих некий обновлённый интерес, волнение в привычную, повседневную жизнь села, и чем привлекательней и ретивей они, тем сильнее наполняли души жителей села Сумахлы особой гордостью: надо же, именно эти карабахские скакуны оказались в их селе, они те самые, что мог подарить — хотя Молла Зульфугар и сомневался в правдивости этих разговоров — русский падишах падишаху английскому.

После прихода русских войск дела Джафара заметно облегчились, ибо не было необходимости отправляться куда подальше, да и стало проще приручать украденных животных: они, как правило, ещё не привыкли к своим новым хозяевам и друг к другу, так как или были конфискованы русскими, достались в качестве трофея, а может, куплены за деньги у азербайджанских беков или грузинских князей.

Но встречались и особо редкие породистые скакуны, которые дарились ханами, известными кня-

зьями и беками русским вельможам, но с ними Джафар предпочитал не связываться.

Правда, угонять коней из русского военного лагеря намного опасней — солдаты бдительны, всегда начеку — но Аллах оберегал Джафара; всякий раз он возвращался живым и здоровым на своей кляче вместе с уведённым конём, но, конечно, если смотреть в корень, Аллах не должен был защищать вора, но, видимо, в этом случае объектом милосердия Аллаха был не сам Джафар, а его шесть дочерей, ждущие дома, и мать тех самых шести кровиночек.

Но, оказалось, подобное милосердие Аллаха не вечно, и в то весеннее утро русские солдаты, поймав Джафара, сняли с него портки и, усадив на спину по-настоящему плешивого ишака, перевязали веревкой по бокам осла его ноги и голень, а также руки за спиной и, смеясь и от души веселясь, крикнув: «Пошёл!» — крепко пнули животное под зад.

И уже более двух часов усаженный на плешивого ишака Джафар мог уповать только на Бога, думая, куда приведёт его эта скотина, а плешивый ишак, уже пришедший в себя после полученного крепкого пинка, спокойно шёл своей дорогой, и сколько бы Джафар ни думал, никак не мог найти выход из создавшегося положения.

К тому же с каждым шагом осла жёсткая шерсть животного впивалась в оголённую ниже спины часть тела Джафара, колола его голень, ягодицы, думать было сложно... Но ничего не поделав, его связали так надёжно, что он не мог даже пошевелить ногами или руками.

Прежде всякий раз, когда ехал угонять коней, на пути ему часто попадались бредущие по склонам гор и весям всякие бродяги, но на сей раз ни один из них не встретился, чтобы спасти его от позора или хотя бы, дав ему по голове булыжником, раздвинуть окончательно, уже увели бы и плешивого ишака.

Плешивый ишак ещё какое-то время шёл по потрескавшейся от безводья равнине, затем такой же неторопливой поступью стал взбираться на встретившуюся на пути гору.

Под обжигающими лучами солнца от жажды у Джафара пересохло в горле, но не меньше страданий приносила и горечь оттого, что его незабвенная кляча осталась у русских. Даже в такой кошмарный день, весь перевязанный по рукам и ногам, Джафар не мог забыть её, и, когда он думал, что русские солдаты зарежут и съедят клячу, на его глазах выступали слёзы.

В том, что зарежут и съедят лошадь, Джафар несколько не сомневался: русские не станут ездить на ней, не пристегнут к арбе.

Плешивый осёл, несущий на себе Джафара, бредя по одинокой тропе по одному из склонов горы, наконец выбрался на площадку, откуда в разные сто-

роны разбегалось несколько троп. Ступив на одну из них, стал уверенно взбираться вверх.

Поначалу Джафару думалось, что животное не знает, куда бредёт, но, оглядываясь по сторонам, начал нервничать, и, как только осёл, которому на всё наплевать, опустив морду, осторожными шажками вышел на узкую тропинку, что вилась по краю обрыва, у Джафара не осталось сомнения: это та самая тропа, которая приведёт прямо к околице его родного села!

Уезжая из селения, Джафар никогда не пользовался этой узкой тропинкой, по обе стороны которой шёл крутой обрыв.

По ней, относительно короткой тропинке, ведя на поводу навьюченных ослов, крестьяне везли на продажу в равнинные сёла дрова, сыр в бурдюках, мёд, фрукты, а возвращались отоваренные мукой, рисом, сахаром, кое-какой одежкой.

Хорошо знающий своё дело плешистый осёл осторожно поднимался вверх по краю отвесного обрыва, и вдруг Джафара обдало холодным потом так, что влажная рубашка прилипла к спине, и холод этой влажной ситцевой рубахи вкупе с подобным же холодным страхом заставил и Джафара содрогнуться: тропинка вела прямо в сторону его дома.

Они доберутся туда ещё до наступления сумерек, в такое время его дочери, как всегда, во дворе — малышня будет играть, а те, что постарше, заняты каждой своим делом: или будут стирать бельё, или, окружив тендир, помогать матери выпекать чурек, или бог знает ещё чем — как известно, по дому всех дел не переделаешь.

И когда Джафар представил себе, что дочки увидят его в непотребном виде, со свисающими меж ног причиндалами, у него потемнело в глазах. Он со всех сил сжал коленями бока животного, крича: «Стой!.. Стой, ишак, сын ишака!» — пытаюсь остановить, каким-то образом заставить его повернуть назад, но плешистый всё так же медленно двигался по той же узкой тропинке, ненадолго останавливался, встретив на дороге кусты чертополоха и чего-то ещё, пожевав, не обращая внимания на метанья и крики своего седока, снова продолжал свой роковой путь.

За всё время пути Джафар видел среди кустов три или четыре сброшенные змеиные кожи и подумал, что было бы хорошо, если б им повстречалась змея, она бы ужалила осла, заставила упасть, свалиться в пропасть, ладно, пусть он и сам останется под ослом, сгорит, превратится в пепел под этим палящим горным солнцем, пусть, но, кажется, в этот день даже змеи отвернулись от конокрада Джафара.

Если Аллах хотел наказать Джафара, стоило ли ждать столько времени — ведь для этого было столько возможностей! — убил бы его, не убил, так насрал

тяжкую хворь, превратил бы в калеку, заставил принять покаяние.

Отчего Аллах двадцать лет ставил его в такие условия, чтоб он занимался воровством? Для того, чтобы подвести к этому позору?

Опустив голову, Джафар посмотрел на свои срамные места, и ему показалось, что волосы на голове встали дыбом, словно шила скорняка. Джафар пытался раскачиваться из стороны в сторону, кричал, матерился, но всё это никак не действовало на плешистого осла, напротив, судорожные движения седока словно приказывали: «Иди чуть быстрее!», и тот уже двигался не медленно, как прежде, а сравнительно скоро по этой узкой тропинке.

С глубокого скалистого обрыва словно поднялась волна страха, она объяла Джафара чёрной тучей; наклонив голову, он глянул в обрыв, дно которого не проглядывалось, и в его мозгу пронеслась мысль: если Аллах поставил его перед подобным испытанием, пусть будет так, пусть оставшиеся без кормильца его дочери спустятся вниз, на равнину, станут побирушками, хуже того — непотребными девками, вина во всём этом на самом Аллахе!

А вдали уже стали темнеть очертания села.

Объятый ужасом Джафар снова опустил голову, вновь посмотрел на свои срамные места и, собравшись с силами, крича, сжимая ноги, колени, попытался повернуть осла обратно, вспять, но плешистый осёл от этих попыток седока и от его безумного крика только ускорил шаг.

Стал виднеться и первый дом на околице села, выбившийся из сил Джафар отвёл глаза от своего срама, поднял голову, увидел первый дом на краю села, затем с безумной силой бросил своё тело налево, к пропасти; не ожидавший подобного толчка плешистый осёл, потеряв равновесие, ревмя ревя, вместе с Джафаром слетел с тропинки, свалился на дно пропасти...

\* \* \*

*...Река Кура текла тихо, неспешно, и на берегу этой медленно текущей реки сидела женщина и напевала сперва одними губами, а затем уже вполголоса одну из печальных песен того, видимого, измерения, в её голосе было столько горечи и печали, что, казалось, и Кура текла столь спокойно, чтобы вслушиваться в этот горестный и печальный напев.*

*И ОН уже знал, что та женщина — мать Вахтанга Поттихашвили.*

*Да, для НЕГО в том, видимом, измерении не было проблем с языком, ОН одинаково воспринимал все слова, но в этот момент в ЕГО прозрачной и невесомой субстанции родилось удивительное чувство: ОН хотел понять песню, которую пели на берегу медленно теку-*

*щей Куры, понять на том самом языке, на котором напевала женщина, но это было невозможно, и это ощущение исчезло, пропало точно так же внезапно, как и родилось...*

## 22

Когда комендант лагеря Гурд Керим, покрутив большими, грубыми пальцами левый кончик длинных усов, гневно покусывал их, его глаза краснели, и все присутствующие сразу понимали, что может пролиться кровь, но единственным созданием, что не боялось, не страшилось Гурд Керима, была Дочь Рыжего Чабана.

В тот день, когда Аббас Мирза сказал сам себе — достаточно, и евнух Абдул Рахман получил указание, чтоб Дочь Рыжего Чабана убрали из шатра Наследника, девушка проявила такое бесстыдство, подняла такой крик, что наложницы и служанки никак не могли вывести её наружу. Когда, услышав эти крики и вопли, евнух поспешно вошёл в шатёр, Дочь Рыжего Чабана с нечеловеческой силой вырвалась из рук державших её, стремительно бросилась на скопца, расцарапала ногтями, продрала кожу его лица, шею, безволосой груди.

Слышавшие этот тарарам сарбазы не осмеливались без разрешения войти в шатёр Принца, но, как только евнух Абдул Рахман своим тонким голосом, в ужасе позвал их на помощь, они бросились в шатёр, еле-еле оторвали Дочь Рыжего Чабана от скопца. Весь в крови, евнух не осмелился без разрешения Наследника наказывать Дочь Рыжего Чабана; по поручению скопца девушку до времени отправили и заперли в тесной деревянной каморке, где хранили воду, рядом с лагерным сараем.

Казалось, в ту деревянную каморку заключили не женщину, а дикое необузданное животное — Дочь Рыжего Чабана руками, зубами, ногтями пыталась снести, разрушить деревянные стены, дверь, чтобы вырваться наружу.

В сарае содержали и овец для нужд войск, и доносящиеся оттуда запахи, бляение словно возвращали Дочь Рыжего Чабана в прошлое, в прежнее, и, когда девушка вспоминала дни, проведённые с теперь уже ненавистным ей Аббасом Мирзой, она никак не могла смириться с этой холодной, тёмной, пропахшей сыростью и овцами каморкой, лупила по её стенкам и вместе с ударами своих кулаков слышала и биение собственного сердца.

Именно в тот день, когда по пути в Тегеран Принцу показали Голову, мечтающий о самых страшных пытках на свете, которым будет подвергнута Дочь Рыжего Чабана, евнух, улучив момент, поведал Аб-

басу Мирзе о случившемся, Принц глянул на исцарапанные в кровь щёки, шею скопца и произнёс, улыбнувшись еле заметной улыбкой:

— Передай её в подарок Гурду. — Затем, отведя глаза от оставшегося стоять с разинутым ртом евнуха, добавил: — Только предупреди: пусть не обижает девушку.

Гурду — то есть коменданту лагеря Гурд Кериму.

В тот же вечер Дочь Рыжего Чабана была выведена из деревянной каморки рядом с армейским сараем и оказалась в шатре Гурд Керима.

Вернувшись в лагерь после поездки в Тегеран, куда он отвозил Голову, чтобы продемонстрировать её Фатали-шаху, Гурд Керим узнал о замечательном подарке Принца и воспринял его как знак особого к нему благоволения.

Гурд Керим придерживался мысли, что в душе Аббаса Мирзы таятся два существа: одно из них — Ангел, другое — Дьявол, и когда Принц, перейдя со своей армией Аракс, разбил лагерь на равнине Харамии и назначил Гурд Керима комендантом лагеря, они, то есть Аббас Мирза и комендант лагеря Гурд Керим, общались почти каждый день, но ежедневное общение с правителями дело опасное и редко кончается добром.

Дьявол внутри Наследника понемногу брал верх над Ангелом, и никому не приходило в голову, какой ужас порой охватывает Гурд Керима, когда он задумывается об этом.

Дочь Рыжего Чабана никоим образом не подпускала к себе Гурд Керима, больше того, всей душой ненавидела его. Большой, волосатый живот, свисающие вниз, заросшие брови, крашенные в чёрный цвет усы и волосы Гурд Керима — этого уродливого и огромного мужчины после Аббаса Мирзы были для Дочери Рыжего Чабана самыми отвратительным животом, усами, бровями, волосами на свете, и, когда взамен нежных, умелых пальцев Аббаса Мирзы её пытались коснуться толстые и грубые лапы коменданта, Дочь Рыжего Чабана, казалось, обретала ещё большую силу, с яростным упрямством отталкивала от себя Гурд Керима.

Уже столько времени Дочь Рыжего Чабана снедало одно-единственное желание: каким-то образом вновь повидаться с Аббасом Мирзой, прикинуть к его груди, чтобы страсть снова заставила трепетать их, а после, когда Аббас Мирза провалится в сон, вытащить спрятанный под матрацем острый кинжал и вонзить его по самую рукоятку в сердце Принца. Отомстить ему за его предательство — Дочь Рыжего Чабана справедливо считала эту разлуку и то, что её передали в качестве дара Гурд Кериму, предательством.

Гурд Керим никак не мог сломить сопротивление этого прекрасного дара. Даже если девица засыпала,

как только его рука касалась её, она тут же вскакивала, снова пускала в ход острые зубки и ногти, её крики оглашали весь лагерь. Но, странное дело, как только эта девушка, которую он никак не мог приручить, пускала в дело свои напоминающие ястребиные когти, ногти, плевалась, драла его за волосы, кусала руки, Гурд Керим ещё больше привязывался к извергающему огонь прелестному созданию.

Гурд Керим не хотел применять насилие не только потому, что влюбился, словно несмышлёныш, в Дочь Рыжего Чабана, но и потому, что евнух, вопреки своему желанию, вынужден был передать ему наказ Наследника:

— Господин комендант, Его величество пожелали, чтоб вы заботились об этой девушке.

А девушка, чьи волосы уже растеряли прежний золотистый блеск и превратились в просто рыжие, всё ещё была не даром, а заточённой в клетку раненой львицей, и, уже который день живя своей разрывающей сердце мечтой, она, казалось, понемногу теряла рассудок...

...Прошло какое-то время — год, два или три? Сумевшая как-то выбраться из охраняемого шатра громады Гурд Керима и добравшаяся до Тегерана, голодная и бесприютная, Дочь Рыжего Чабана, целыми днями бродя по улицам Тегерана под свист и улюлюканье уличных мальчишек, прогонявших, бросавших в неё камни, по ночам приходила на городские базары, а там сторожа лавок, амбалы, дворники, каждый завлекая её куском хлеба или мяса, заводил её в одну из лавчонок, уложив прямо на землю, приподнимал подол рваной юбки, делал своё дело, выходил наружу, передавая её следующему. А она, всякий раз говоря: «Мой Аббас Мирза!.. Мой Аббас Мирза!» — пылко обвивала нового клиента, будто вьюн.

Порой Дочь Рыжего Чабана охватывало сомнение и тогда, внимательно посмотрев на очередного мужчину, что, торопливо сняв штаны, пытался овладеть ею, отталкивая его огрубевшей ладонью ещё не потерявшей силы руки, спрашивала:

— Разве ты не Аббас Мирза?

Мужчина боязливо оглядывался по сторонам тёмной лавки и на всякий случай, чтобы никто не слышал, шёпотом произносил:

— Да, я — Аббас Мирза.

— Аббас Мирза? — переспрашивала Дочь Рыжего Чабана.

Мужчина, торопясь и задыхаясь, шептал:

— Да!.. Да!..

И тогда Дочь Рыжего Чабана с ещё большей страстью и желанием прижимала мужчину к своим, уже потерявшим упругость и свисающим, словно пустые торбы, грудям.

\* \* \*

*...Над ущельем летала стая стервятников. А на дне пропасти, на крупных речных валунах лежали останки плешивого осла и опоясанный верёвками труп.*

*И ОН узнал труп того конокрада. Страдание в открытых глазах кавказца, вокруг которых расползлись муравьи, словно хотело, преодолев, пробить расстояние, проникнуть в ЕГО бесплотную и невесомую субстанцию.*

*Но и это ощущение в тот же миг исчезло.*

*И вдруг ОН осознал, что ЕГО миссия в том, видимом, пространстве завершена.*

*ОН осознал это, но в чём заключалась миссия, какое значение, какую цель имела, этого ОН никак осознать не мог, и потусторонняя интуиция в этот миг была совершенно беспомощна.*

*...И целая стая стервятников, совершив несколько кругов, спикировала на дно обрыва, села на крупные речные валуны и с ненасытной алчностью стала торопливо клевать и разрывать сначала самые нежные части ослиной падали и трупа — глаза, срамные места, затем и кожу живота...*

## 23

Письмо князя П. Д. Цицианова графу Н. А. Тимофееву-Богоявленскому

«Санкт-Петербург.

Графу Н. А. Тимофееву-Богоявленскому.

Дорогой Николай! Мой любимый брат!

До меня дошла весть, что твоё состояние ухудшилось, но, слава Создателю, заботами несравненной Ольги Михайловны ты вышел из кризиса. Забота Ольги Михайловны о тебе — достойном и славном генерале, настоящем русском воине, — по сути, служение всем нам, всей русской армии, матушке-России. Эти слова, быть может, звучат несколько пафосно, но это меня не корбит, я не гнушаюсь этого пафоса, так как это — правда.

До наступления нового, то есть 1806, года осталось всего четыре дня, и я поздравляю тебя и дорогую Ольгу Михайловну с Новым годом и желаю вам счастья. Вы так славно прожили в этом нашем непростом мире, что счастье само в долгу перед вами, и оно призвано вернуть вам этот долг. Ордена на твоей груди не бутафорские, как у многих, они — свидетельство бесстрашия и героизма русского солдата, готового отдать свою жизнь во благо Отечества.

В своём последнем письме ты обижаешься, что я не описываю во всех подробностях происходящие

здесь события, ведь ты желаешь прочувствовать Кавказ, в том числе Закавказье. Мой дорогой друг, любые детали беспомощны высветить колорит, стремительный калейдоскоп происходящих здесь событий, так как подробности и характеристика этого края и его коллизий вовсе не однозначны. Это край героизма и одновременно лицемерия, мужества и продажности, здесь есть глубокое философское мышление и примитивное сознание, огромные культурные традиции и мракобесие, невежество. Здесь из-за понятий чести отец может прирезать кинжалом дочь, брат — сестру, сын — мать. Здесь шестнадцатилетний юнец может убить человека из-за одного матерного слова. Здесь молодая и прекрасная девушка, спрятав в складках платья маленький кинжал, способна отомстить за отца или брата. Здешние горы, леса, сады, мой дорогой друг, пленительней, чем в Швейцарии. Родниковые воды столь же чисты и прозрачны, как воздух гор, лесов и парков. С одной стороны — это сказочный мир, с другой — арена реальных и кровавых событий, далёкая от всякой романтики.

Я наконец приступил к походу на Баку и пишу это письмо тебе в палатке в Мильской степи, относящейся к Ширванскому ханству. Здесь я подхватил гнусную лихорадку — тут даже хвори настигают внезапно — но конечно же она не скажется на моей решимости и не может повлиять на мою историческую ответственность перед державой.

Я уже писал тебе, что такое для нас Бакинское ханство, и не хочу утомлять тебя снова, говоря о том, какое значение будет иметь вхождение Бакинского ханства в состав нашего государства. К сожалению, десять лет назад, по известным тебе причинам, мы не смогли остаться здесь и закрепиться. Если бы сделали это тогда, в нынешнем походе нужды бы не было и Баку превратился бы в наш основной военный и торговый порт на Каспии, удовлетворяя все наши потребности в горючем; мы экспортировали бы на весь мир нефть, которая здесь бьёт фонтаном буквально на каждом шагу.

Я использую все возможности, чтобы мы взяли Баку бескровно — путём переговоров. Правда, здешний Гусейнкули-хан постоянно маневрирует: то флиртует с Каджарами, то братается с нами, то тайно налаживает контакты с Османами, но нельзя маневрировать бесконечно, пришло время поставить точку, и я думаю, что прижатый к стене Гусейнкули-хан осознает, что у него нет иного выхода, как перейти в наше подданство. Он не станет, подобно Джавад-хану, взявшись за меч, идти на погибель, для этого у него нет ни средств, ни дерзости, да и, надеюсь, ума побольше.

Коля, я уже стал специалистом по Баку. Написал письмо директору библиотеки Академии наук го-

сподину Шуберту, прося помочь мне в получении сведений по истории Баку, он милостиво не отказал мне и прислал множество материалов. Баку в последние столетия часто переходил из рук в руки — то к Османам, то к Сефевидам — не только христиане-европейцы ведут меж собой бесконечные и жестокие войны. К сожалению, мы дважды упускали из рук Баку, и всякий раз, вспоминая это, я переживаю чувство глубокого огорчения. В 1722 году генерал Матюшкин<sup>1</sup> сумел, не проливая крови, захватить Баку, князь Барятинский<sup>2</sup> был назначен комендантом города, но Император<sup>3</sup> скончался, а к тому же тут на арену вышел Надир, и мы были вынуждены оставить город. Второй раз — этот случай ты знаешь лучше — мы захватили Баку, но после смерти Её Величества<sup>4</sup> наши войска были отозваны... Это было непостижимо, я не хочу писать об этом факте — ты и без того сам всё хорошо знаешь... Во время смуты, возникшей после Надира, во всём Азербайджане образовались независимые ханства, среди них для нас самое большое значение имеет как со стратегической, так и с экономической точки зрения Бакинское ханство.

У населения Бакинского ханства существует панический страх перед Россией, а основу этой боязни, страху положил преступник и пьяница Стенька Разин. Он со своими разбойниками напал на Апшерон — это полуостров, на котором расположен Баку, и, хотя после того набега прошло 150 лет, бакинцы до сих пор не забыли бесчинств, которые он творил. Десять лет назад — как быстро бежит время, Коля! — я сам был свидетелем страхов бакинцев, но мы, разумеется, не станем потакать чьим-то страхам и капризам. Баку будет первой нашей большой победой в 1806 году, и я сразу же отправлю тебе поздравительное письмо. На сей раз ханство навсегда войдёт в состав России. И Османы, и Сефевиды получают благодаря Бакинскому порту большую прибыль, лишь осуществляя транзит и торговлю шёлком, я ещё не говорю о нефти, соли и прочих промыслах.

Несмотря на все трудности, год в отношении Азербайджана оказался для нас удачным, весной мы приобрели, не пролив крови, такое большое и весомое ханство Азербайджана, как Карабах. Значение этого приобретения также огромно.

С востока Карабахское ханство охватывает Елизаветполь (бывшая Гянджа), а само оно — удобный

<sup>1</sup> М а т ю ш к и н М. А. — русский полководец, командующий русской армией во время «персидского» похода Петра I.

<sup>2</sup> Барятинский И. Ф. — русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф, впоследствии являлся генерал-губернатором Москвы.

<sup>3</sup> Имеется в виду Петр I.

<sup>4</sup> Имеется в виду Екатерина II.



плацдарм для захвата и постоянного удержания в руках всего Северного Азербайджана, включая Эриванское, Бакинское, Кубинское, Дербентское ханства. Взятие Шушинской крепости — столицы Карабаха, истинной обители орлов, доказало каждому азербайджанцу, особенно карликовым правителям-сатрапам, что славная русская армия непобедима и противиться её мощи невозможно. Сразу после Карабаха российское подданство принял Шекинский хан Селим, а на днях договор о присоединении к России был вынужден подписать и Ширванский хан Мустафа.

Ибрагим Халил — Карабахский хан — человек умный, опытный, как и все кавказские правители, изворотлив, хитёр, раздаёт направо-налево обещания, но, если его по-настоящему не поприжать, не выполняет ни одно из них. Не прожигатель жизни, истинно государственный человек. В своё время Каджары так надавили на него, что ради защиты ханства он выдал свою дочь Агабегим — говорят, и она прекрасная поэтесса — за Фатали-шаха. Дядя Фатали-шаха по отцу — Ага Мухаммед-шах — тот самый, что после Надира смог захватить власть и стал основателем нынешней династии Каджаров, — дважды шёл походом на Шушу. Первый раз одолеть Шушинскую крепость ему не удалось, разъярённый, он повел войска на Тифлис. Зверства, которые он там учинил, до сих пор заставляют содрогаться грузин. Во второй раз — восемь лет тому назад — в 1797 году, ему всё же удалось захватить Шушинскую крепость. Ибрагим Халил-хан бежал, но в ту же ночь, в Шуше, во время сна шах, этот свирепый властитель, был убит своими же охранниками.

Мне рассказывали удивительную историю: один из прославленных азербайджанских поэтов был визирем Ибрагим Халила, в своё время в знак почтения он отправил незабвенной императрице Екатерине украшенный драгоценными камнями — настоящее произведение искусства — посох, так вот, автором оскорбительных писем, которые Ибрагим Халил-хан посылал Мухаммеду-шаху Каджару, был всё тот же визирь. Шах ночью арестовал, бросил его в темницу, решив утром казнить, сказав при этом, что с удовольствием будет присутствовать при казни, но той же ночью шах сам был убит, а визирь остался жив.

Говорили, что заговорщики отрезали голову Мухаммеда-шаха — здесь подобные зверства случаются, хотя гильотина сюда ещё не добралась, — а Ибрагим Халил возвратился в Шушу, сел на свой трон и совершил такой дипломатический ход: торжественно отправил голову шаха вместе с телом в Тегеран. В Тифлисе мне сказывали, что одним из организаторов убийства шаха был сам Ибрагим Халил-хан, я допускаю это, здесь никому доверия нет, зав-

тра, если подвернётся случай, они отсекут и мою голову, а затем с огромной и лживой печалью и помпой отправят мои останки в Петербург.

Такие вот дела.

Всё в руках Господних.

Но на сегодня Господь возлюбил нас, и мы без потерь и кровопролития смогли обратить Карабах в одну из провинций России.

Как и во всём мире, в Азербайджане, и в целом в Закавказье, роль женщин велика.

Ибрагим Халил-хан старался обмануть нас, давая ложные обещания. Его жена Джавахир — дочь известного грузинского князя Евгения Абашидзе, выйдя замуж, она приняла мусульманство — опасаясь Каджаров, тайком прислала мне письмо, советуя решительней давить на Ибрагим Халил-хана, требуя принять российское подданство. Я отправил соответствующее требование, и в том, что мы без всякого кровопролития овладели Карабахом, видимо, сказалось немалое влияние на мужа Джавахир-ханым.

В мае этого года мы совершили церемонию приведения к присяге Ибрагим Халил-хана, Карабахское ханство приняло российское подданство, обязалось ежегодно выплачивать в российскую казну восемьдесят тысяч рублей золотом, а главное, расквартировали в Шуше российский гарнизон в 500 солдат. Взамен мы обязались обеспечивать территориальную целостность Карабахского ханства, а также сохранение навечно власти Ибрагим Халил-хана и его наследников. Но это, ясное дело, для нас пока обязательство первичного варианта. После того как под российским подданством в Карабахе установятся мир и стабильность, всё образуется само по себе. Ибрагим Халил-хан указом императора получил звание генерал-лейтенанта, а его сын — генерал-майора, вот и они пополнили ряды наших бумажных, паркетных генералов. Немного смешно, не так ли?

Я назначил майора Лисаневича — верного родине и Его величеству императору патриота и решительного офицера — командиром Шушинского гарнизона и одновременно военным комендантом города. Всё ещё сомневаясь в надежности Ибрагим Халил-хана, поручил майору быть предельно бдительным и, если понадобится, безжалостным по отношению к «генерал-лейтенанту».

Сейчас моя основная проблема — вопросы снабжения и финансы. Не хочу, чтобы наше финансовое обеспечение полностью ложилось на Санкт-Петербург. Стараюсь понемножку перекладывать часть этих забот на плечи местных правителей, но они исключительно скупы, рядом с ними венецианский Скупой и Гарпагон щедрые, расточительные моты.

Знаешь, не в моих правилах вспоминать своего предшественника всеу, но Карл Федорович Кнорринг развратил азербайджанских ханов, бесчисленных грузинских принцев и царьков, пытался, задабривая подарками, перетянуть их на нашу сторону. Они с удовольствием принимали подарки Карла Фёдоровича, похваливали, говорили о симпатии к России, но исподволь делали свои дела, как правило, направленные против России. Не мы должны задабривать их, а они обязаны платить нам дань, обеспечивать армию продуктами и гужевым транспортом.

Знаешь, сколько мне пришлось уговаривать Ибрагим Халил-хана передать нам десяток коней знаменитой карабахской породы для конюшни Его Величества? — но добиться этого не смог, пришлось приобрести их за счёт подати. То же и с шекинским ханом, и он передал нам партию замечательного шекинского шёлка и вытканые из шёлка ковры для отправки в Петербург за счёт подати. Конечно, это временное явление, пока я не хочу особо прибегать к давлению, пугать их прежде времени. Эти господа привыкли не давать, а брать. К сожалению, подобных немало и среди наших чиновников в Петербурге, но это уже предмет особого разговора.

Куда бы ни бросала меня судьба, с каким бы народом или нацией ни сталкивался, я всегда убеждался в величии и уникальности русского духа. Насколько велика территория России, настолько широко её сердце. Но, думаю, ты верно поймёшь меня: на этом диком Кавказе добиться чего-то открытостью русской души, гуманизмом русского духа, веротерпимостью невозможно. Я освободил Грузию от всех царских династий, я принёс в жертву дикарям такого славного генерала, как Лазарев, но что с того? Ты считаешь, что там царит спокойствие? Как бы не так! Почти каждый месяц раскрывается новый заговор: Османы или Каджары, отыскав какого-нибудь приبلудного принца, скрывающегося в дагестанских аулах, находящегося под покровительством горцев, стремятся посадить его на трон. Погляди, куда зашли дела, если в прошлом году один из грузинских принцев, Александр, уговаривал Фатали-шаха двинуть войска на Тифлис, примкнув к эриванскому Мухаммед-хану; собрав кое-какие силы, он пытался воевать с нами. Но генерал-майор Тучков в пух и прах рассеял этот сброд, Александр бежал как заяц, затаился где-то, теперь, мне доносят, заискивает перед Аббасом Мирзой, надеется на его помощь. Представь, другой грузинский принц, приняв мусульманство, тоже пытался действовать рука об руку с Османами.

Не знаю, слышал ли ты или нет: ряд грузинских царей приняли ислам, сменили имена, Ростом стал

Хосров Мирзой, Ираклий — Назар Али-ханом, я говорю лишь о тех, кого припоминаю. Разумеется, многие из них сделали это вынужденно, но, во всяком случае, эти факты о чём-то говорят, и мы не должны оставлять их вне внимания.

Какое-то время мы обязаны маневрировать, выжидать, но в принципе с кавказцами следует говорить только и только языком силы.

Конечно, пройдёт время, изменятся и здешние люди, всё более укрепляющиеся традиции русского просветительства скажутся и на них, и тогда они убедятся, что Россия состоит не только из генералов и солдат. Посредством России они откроют для себя Европу, воспримут европейские духовные ценности, приобщатся к культуре, науке.

Но, Коля, мой дорогой друг, не скрываю: думаю обо всём этом, но не убеждён — хорошо это или плохо? А что произойдёт потом?

Сегодня Азербайджан разбит на мелкие ханства, по инерции раздроблена Грузия, мы объединяем их в составе России, а кто может поручиться, что завтра они, встав на ноги, не заявят: отчего бы и нам не быть самостоятельными государствами? Отчего бы и нам не вступить в ряд независимых стран? Когда я думаю об этом, честное слово, не нахожу себе места.

Но, Николай, мою душу гложет и иное беспокойство, и оно, это беспокойство, связано не с Кавказом: сколько ещё войн будет вести в Европе Бонапарт? До каких пор он будет довольствоваться заключением половинчатых договоров о мире?

Не придёт ли день, когда Бонапарт поймёт, что, не одолев Российскую Империю, не раздробив её на мелкие марионеточные королевства, герцогства, полностью покорить Европу невозможно?

И что произойдёт, если, собрав все силы, он осуществит поход на нас?

Готовы ли мы к этому? Бонапарт — не Фатали-шах или Султан Селим. В то же время не уступит им в двуличии и вероломстве, ни одному его слову верить нельзя!

После Аустерлица во мне возникло определённое чувство пессимизма. Лишь бы Создатель развеял мои опасения. Лишь бы не поставил нас лицом к лицу с дерзкой заносчивостью баловня судьбы Бонапарта. Но уже сейчас мы должны иметь в виду подобную вероятность, всеми силами готовиться к ней.

Не знаю, поступил ли верно или нет, но некоторое время тому назад я написал лично Его Величеству об этих своих мыслях, опасениях. Знаю, некоторые хорошо известные и тебе чиновники в очередной раз будут шушукаться: снова, мол, князь Цицианов, поверх наших голов, обращается к императору с вопросами, не имеющими к нему касательства.

Пусть! Но я чист перед своей совестью, и, если речь идёт об интересах страны, нет вопроса, который не имел бы ко мне отношения. Ибо я — рядовой солдат державы и таковым буду всегда!

Впереди нас ожидает 1806 год, и я всем сердцем желаю, чтоб, несмотря на все трудности, он стал наиболее успешным для России. Чтоб Бог отвёл бед от нашей родины.

Не знаю, слышал ли ты или нет, но до меня дошли слухи, что Его Величество после Аустерлица подумывает отозвать меня в столицу, чтобы использовать на европейском военном направлении.

Разумеется, интересы России в Европе предельно важны, для меня было бы честью защищать их силой оружия, но с тех пор, как до меня дошли эти слухи, каждое утро молюсь, чтобы мне не была предложена самая высокая должность, пока окончательно не покину этот дикий край.

Мне кажется, что превращение на веки вечные Закавказья в часть империи — моя основная миссия на этом свете. Именно с этой целью Создатель направил меня в этот край и даст мне люфт, чтобы я в полной мере выполнил эту миссию. Аминь!

Я готов до конца жизни сражаться здесь, а также заниматься созидательными делами. Но умереть здесь не желаю. Когда-нибудь, после завершения здешних дел, я хотел бы быть похороненным в Петербурге и там с одной из его возвышенностей глядеть на эти места.

Ты всегда говорил, что тайны жизни открываются нам после того, как умрём, уйдём в иной мир. Если и вправду это так, я хотел бы, глядя из того, иного, мира на родную Россию, видеть, что она расширилась территориально, стала обладать более высокой культурой и наукой, что она продвигается навстречу будущему ещё более стремительно и мощно. И тогда, мой дорогой брат, дорогой и любимый друг, в том, ином, мире, о котором ты говорил, не будет человека счастливее меня.

Обнимаю и жму твои руки.

Прошу передать Ольге Михайловне мои самые лучшие пожелания и то, что я, как всегда, её очень люблю. Пока, до моего поздравительного письма в связи с нашей окончательной победой над Баку.

Твой

Павел Цицианов.

27 декабря 1805 г.

Азербайджан, Мильская степь».

\* \* \*

...В том, видимом, измерении была полночь...

Держа в каждой руке по пистолету, майор Лисаневич вбежал в залитый лунным светом двор летней резиденции Ибрагим Халил-хана и, открыв огонь по рас-

терявшимся от внезапности охранникам, челяди, крикнул:

— Стреляйте в них!.. Рубите!.. Этим предателям нет пощады!.. Рубите их!..

Заполнившие вслед за Лисаневичем двор солдаты, войдя в раж, расстреливали, пронзали штыками проснувшихся, мечущихся в ужасе по двору, коридорам, лестницам, молящих о пощаде мужчин, женщин, детей.

ОН не хотел слышать плач детей, вскрики женщин, но это от НЕГО не зависело, плачи, эти вскрики стали откровенно душить свободу, самостоятельность ЕГО бесплотной и невесомой субстанции, словно хотели вывести, вызволить ЕГО из этой бесплотности и невесомости. Но ОН ничего не мог поделать.

Майор Лисаневич стремительно взлетел по ступеням лестницы, ворвался на веранду второго этажа.

Вышедший из спальни в ночной рубашке Ибрагим Халил-хан оказался лицом к лицу с майором Лисаневичем.

Мелкие, серые, ещё больше посеревшие при лунном свете глаза майора, казалось, готовы были испепелить хана. «Ну, что, старый лис, — крикнул он дрожащим от ярости голосом, — это ты тайно призывал Аббаса Мирзу в Карабах? Ну и как? Думал, что я не прознаю, подлец?! Где теперь твои Каджары?! Где Фатали-шах? Отчего они не придут и не спасут тебя?!»

И майор Лисанович, не дав открыть рот хану, чьи глаза от ужаса, казалось, готовы были выскочить из орбит, одним выстрелом уложил Ибрагим Халила на землю и, глядя на хрипящего и истекающего кровью хана, сказал: «Ну, как? Как поживаешь, наш новоиспечённый генерал-лейтенант? Поглядите на этого нашего генерал-лейтенанта! Получай!» И майор Дмитрий Тихонович Лисаневич выстрелил из второго пистолета прямо в сердце Ибрагим Халил-хана...

...Затем ОН медленно вернулся (?) в свою бесплотную и невесомую субстанцию, и в ней родилась трепетная надежда, что смысл всего происшедшего проявится позже. Если какая-то сила притягивает ЕГО к себе, ОН обязательно туда (куда?) полетит, тогда там всё и прояснится. Но то, видимое, измерение не отпускало ЕГО, словно не желало, чтоб всё стало ясно, однако...

...Но только там (где?) будет ли всё ясно?..

Фатали-шах, мягко ступая, приблизился к спальне, а евнух, что стоял у входа, устремив жёлто-зелёные, напоминающие кошачьи, глаза, как всегда, ждал указаний властителя, но ещё до того, как шах открыл

рот, опыт долгих лет подсказал скопцу: шах задумчив и эту ночь проведёт один.

И правда, приблизившись к дверям, не глядя, будто и нет такого существа, как евнух Абдул Рахман, шах бросил как бы в пустоту:

— Буду спать один, — затем, чуть придержав шаг, добавив: — Пусть с утра Акбари Азербайджани будет здесь и ждёт моих указаний! — прошёл в свою спальню.

Да, таковы гримасы судьбы, вот и конец Наместнику Цицианову.

И в эту зимнюю ночь он вытащил из кармана своего шёлкового халата Коран — поцеловал, поднёс, по обычаю, книгу к глазам, положил её под подушку — этот небольшой, в ладонь, Священный Коран переписан Сеидом Мир Багиром Шабрани — любимым переписчиком Ага Мухаммед-шаха Каджара, и подарен самим шахом Баба-хану; со дня восшествия на престол Фатали всегда носил его с собой, а ложась спать, клал под подушку.

Да, мир полон подобных неожиданных поворотов, ибо сам этот мир — изначальная тайна.

В эту ночь всего полчаса назад гонцы Аббаса Мирзы привезли весть: Гусейнкули-хан организовал у ворот Бакинской крепости покушение на Цицианова и отправил отрезанную голову Наместника в Тегеран.

В Тегеран, то есть к нему — Фатали-шаху.

Шах, не раздеваясь, присел на краешек ложа.

Игра теней от свечей на столе посреди комнаты отражалась на стене, и сидящий напротив, глядя на блики, Фатали-шах никак не мог понять, как Гусейнкули-хан, человек по нраву опасливый, осторожный, как гусь, из тех, что, как говорится, обжёгшись на молоке дует на воду, мог решиться на столь страшное дело?

Весьма возможно, что Гусейнкули-хан поставлен перед фактом своими же приближёнными, но, как бы то ни было, подобное коварство — сначала объявить, что принимает российское подданство, всячески уверять Наместника в безопасности, а затем организовать на него покушение — не к лицу Гусейнкули-хану.

А где были мозги Цицианова, что он отправился за ключами Бакинской крепости один, без сопровождения? — причина конечно же не в клятвенных заверениях Гусейнкули-хана, истинная причина — в чванливости, безудержной надменности, спеси, но главное то, что Наместник глядел сверху вниз, чуть ли не с седьмого неба, чуть ли не как небожитель на все ханства по ту сторону Аракса, на грузинских принцев, дагестанских царьков, в целом на весь люд Кавказа.

Будешь глядеть сверху вниз — таким и станет твой конец!

Но что даст смерть Цицианова, неужели русские, как и тринадцать лет назад, выведут войска? — Фатали-шах улыбнулся этой простодушной мысли: за три с половиной года Наместник сотворил на Южном Кавказе такое, что хоть мир перевернётся, но Россия не станет отводить войска. Цицианов присоединил к России, можно сказать, почти весь тот берег Аракса, разве Александр такой, как его покойный отец, недоумок, чтобы выводить войска? Нет, Александр отнюдь не безумен, одна надежда, что новый Наместник окажется беспомощней, слабей, не таким хватким, решительным и дерзким, как убитый Цицианов.

В то время, ровно семь месяцев назад, в весенний день Фатали-хану сообщили, что его тесть — Ибрагим Халил-хан, приняв российское подданство, сдал Карабахское ханство Цицианову; он воспринял эту недобрую весть, как и другие подобные новости, внешне хладнокровно, чего только не происходило в последнее время, но внутренне был потрясён. Северный Кавказ, как и Грузия, уплывал из рук, принятие Карабахом после гянджинских событий российского подданства откроет настежь, без сопротивления ворота и других ханств — в этом Фатали-шах несколько не сомневался, и его предположение подтвердилось.

Не прошло и месяца, как подобострастно приняло российское подданство Шекинское ханство, безо всяких условий Мустафа-хан вручил Цицианову Ширван, и, то, что вскоре Бакинское ханство так же безропотно падет в объятия русских, было ясно Фатали-шаху как божий день: Гусейнкули-хан не станет подобно незабвенному Джавад-хану бодаться с русскими.

Разумеется, подобное малодушие и ненадежность азербайджанских ханов сказывались на Фатали-шахе, он гневался, порой даже выходил из себя, впрочем, что могли поделывать ханы? — они оказались лицом к лицу с таким исчадием, как Цицианов.

Судьба Джавад-хана чёрной горой высилась над ними — на видимую гору проводник не нужен — они видели и то, что русская армия более современна, дисциплинированна, её управляемость более совершенна, и каким способным бы ни был Аббас Мирза, в какие тяжкие ни пускался бы, ему не совладать с русской армией. Сила надломит.

Если бы эти мысли произнёс кто-то иной, Фатали приказал бы вздёрнуть его на виселице как предателя и изменника Родины, сам же всё отлично понимал... Но что делать? Вытянуть руки по швам и ждать, когда русские перейдут и на этот берег Аракса, подомнут и его под себя?

Франция и Англия схватились друг с другом не на шутку, но в отношении к России они едины: ста-

раются вовлечь его, Фатали-шаха, в войну с Россией. Будто Фатали не понимает, что и Англия, и Франция делают это не из любви к его серым глазам, всяк играет свою игру, дудит в свою дуду. С одной стороны, каждый хочет видеть в России союзника, с другой — исподволь старается перегрызть горло русскому медведю. Всё это им, Фатали-шахом, прочитывается спокойно, но что поделать, он тоже старается, используя Европу, преградить путь русской армии. Впрочем, где то вооружение, боеприпасы, снаряжение, что щедро обещали и французы, и англичане?

Правда, четыре года назад Фатали-шах, подписав договор с Англией, получил от неё немало оружия и снаряжения, якобы для противостояния афганским племенам, совершающим набеги на Индию, но русские отлично знали, что на том берегу Аббас Мирза воюет именно этим английским оружием. Верно, тем самым оружием Аббас Мирза стремится защитить интересы своего государства, но одновременно, желает того или нет, служит и интересам Англии в Индии.

Это политические игры — пусть будет так, но и оружие устаревает, выходит из строя, у Европы ныне своих проблем выше головы, она не снабжает ни оружием, ни боеприпасами, сейчас этим арсеналом европейцы уничтожают друг друга. Наполеон осыпал ядрами всю Европу, но даже если бы это было не так, он, Фатали-шах, совершенно убеждён, что европейцы не протянут настоящую руку помощи, ибо они более жадные, чем русские, сами небось зарятся на Каджарское шахство, всячески стараются втянуть Фатали в войну с Россией, чтобы ослабела и Россия, и перешибло дыхание самому Фатали-шаху.

Но и без их науськиваний у Фатали нет иного выхода, чем ввязаться в войну, а вот сё-то он явно проигрывал, и главная причина — отставание, неспособность идти в ногу со временем. Современные открытия — те, что позволяют год от года обновлять всё, начиная от ружей и пушек, кончая кораблями, создавать мощные армии, что ведут нацию вперёд, — совершались в Европе. Даже то, что когда-то было изобретено на Востоке, нынче, совершенствуясь, применяется Европой, — обо всём этом Фатали-шах размышлял с болью в сердце. Сегодня Европа, и в первую очередь Наполеон и Англия, стремятся перекроить карту мира. Англичане вслух не говорят об этом, но опасаются продвижения России на Восток, вдруг те доберутся до Персидского залива, Индийского океана, так можно потерять и Индию. Думаешь, Наполеон не мечтает о захвате Стамбула? — хотя провозглашает: «Радости и печали Османов — радости и печали Франции». Фатали-шах и тут был совершенно уверен, что на деле в планах Наполео-

на — взятие Стамбула, проникновение в шахство Каджаров, а затем и захват Индии, — об этом он ни от кого не слышал, но о многом говорила интуиция. У него и в Англии и во Франции имелись платные агенты, в основном обедневшие английские и французские аристократы, но присылаемая ими информация часто бывала ложной, недостоверной, хуже того — примитивной.

Правда, после того как Наполеон объявил себя императором, Султан Селим не только признал этот факт, но даже указом осчастливил корсиканца саном падишаха, — Фатали-шах улыбнулся одними губами, конечно, это было смешно — но что мог поделаться Султан Селим? В этом году после договора<sup>1</sup>, подписанного Османами с французами, Франция стала соседствовать<sup>2</sup> с Османами, и Фатали-шах не сомневался, что если Франция подтянет к границе войска, то Наполеон не только не защитит Султана Селима, но в любой момент может, перейдя границу, пойти походом на Стамбул. Что с того, что Селим — враг? Он человек умный, всё понимает хорошо, поэтому вынужден делать, что скажет Наполеон. Селим не случайно взялся за реформы, но чем это кончится? Бог его знает! И Осман<sup>3</sup> начинал проводить в армии проевропейские реформы, но приближённые сами свергли, бросили его в темницу Семи башен, затем, прикончив, торжественно предали бедолагу земле в мечети Султан Меджида, а те реформы пошли по ветру.

Но на свете происходят такие неожиданные события...

Фатали-шах всё сидел на краешке кровати, глядя на блики на стене от горящих в серебряном подсвечнике свечей, раздумывая, как всё же странна жизнь. Голову Наместника Цицианова, которого он ни разу не видел, но чьё имя все эти три с половиной года слышал едва ли не каждый день, везут к нему... Гусейнкули хочет продемонстрировать, доказать свою верность, но и Фатали, да и сам Гусейнкули, отлично знали, что в мире политики слово «верность» не стоит и ломаного гроша, в мире политики нет понятия верности; в политике человеку, который не знает этого и, ударяя себя в грудь, восклицает: «Я — верный!» — делать нечего.

Да, русская армия современна, дисциплинирована, имеет совершенную управляемость, но мог явиться командующий, который свёл бы всё это на нет, а мог быть прислан полководец, такой как, например, Цицианов, кто умело и с знанием дела

<sup>1</sup> Имеется в виду заключённый в 1806 году между Францией и Османской империей Пресбургский договор.

<sup>2</sup> После Пресбургского договора Хорватия и Далмация вошли в состав Франции, таким образом, Франция и Османский султанат стали соседями.

<sup>3</sup> Речь идёт о Султани Османе II.

использовал эти преимущества. В день, когда Фатали-шаху сообщили, что и Ширванское ханство приняло российское подданство, он, будучи человеком верующим, но совершенно равнодушный к любому суеверию, больше того, считающий магов и колдунов мошенниками, внезапно вспомнил евнуха Абдул Рахмана: тот рассказывал о чудесах, которые творит некий человек, преподающий в одном из тегеранских медресе, — будто никто не может противиться его колдовству, его заговоры, словно точно пущенные в цель пули, разбивают все происки дьявола, если прицелился — нет сомнений, угодит в десятку.

И Фатали-шах, сам того не ожидая, — вероятно, это было результатом внутреннего потрясения, — словно гневаясь, мстя самому себе за то, что дела в Северном Азербайджане достигли такого предела, потребовал к себе евнуха:

— Как звали того учителя, который, как ты говорил, способен на различные чудеса?

В минуты внутреннего напряжения Фатали-шах часто говорил не на фарси, а переходил на азербайджанский, вот и на сей раз задал вопрос по-азербайджански.

— Мирза Мухаммед Акбари-Азербайджани, — тоже на азербайджанском, запнувшись (у него пересохло горло), ответил евнух. Скопец хорошо знал, что подобные внезапные вызовы и вопросы часто добром не кончаются.

Фатали-шах, глядя прямо в жёлто-зелёные, напоминающие кошачьи, глаза евнуха Абдул Рахмана, приказал:

— Скажи, чтоб привели его ко мне.

И в тот же день Фатали-шах некоторое время молча разглядывал невысокого, тщедушного — кости да кожа — голубоглазого человека, преподавателя медресе, Мирзу Мухаммед Акбари-Азербайджани, затем — и на сей раз по-азербайджански — спросил:

— Говорят, своими заговорами ты способен преодолеть любые происки дьявола. Это так?

— Верно говорят! — ответил, с не соответствующей его телосложению, жёсткой уверенностью Мирза Мухаммед Акбари-Азербайджани.

Этот человек впервые в жизни оказался во дворце, впервые лицезрел сурового шаха, но ни на его лице, жёстко обтянутом кожей, ни в голубых глазах не было и намёка, что он тушует, робеет, и эта его независимость говорила: его способности — не чепуха, не вздор, на самом деле всё куда серьёзней.

Фатали-шах, как всегда, сузив глаза, ещё раз внимательно посмотрел на приглашённого.

— Как ты думаешь, — спросил, — врагом нашего государства движет воля дьявола?

— В этом не сомневайтесь! — с той же решимостью отвечал Мирза Мухаммед.

— Ты слышал имя Наместника Цицианова?

— Будь он трижды проклят! Как не слышать?

— Его... — Фатали-шах сделал паузу, словно в этот момент сам застыдил за себя и за слова, что произнесёт, добавил: — Сможешь, заговорив, устроить его смерть?

Не успел Фатали-шах произнести эти слова, как Мирза Мухаммед Акбари-Азербайджани выпалил:

— Сделаю так, что ему отрежут голову!

Воцарилось молчание, казалось, быстрые и решительные ответы и сам вид этого преподавателя бог знает какого захудалого медресе создали атмосферу какой-то растерянности, и наконец Фатали-шах спросил:

— А как ты сам ценишь собственную голову?

— Да, — снова мгновенно ответил тот. — Мне дорога моя голова.

Фатали-шах подумалось, что рука этого человека, вероятно, крепче, сильнее его хилого, тщедушного тела, и он спросил:

— Что тебе для этого необходимо?

— Мне надо сорок дней, больше ничего.

Фатали-шах, ещё больше сузив взгляд, снова испытующе глянул на Мирзу Мухаммед Акбари-Азербайджани, затем с особым ударением спросил:

— Говоришь, больше ничего?

— И ещё, пусть в эти сорок дней никто не встречается в мои дела. Я отправлюсь в город Рей и сорок дней пробуду там, в мечети Шах-Абдул-Азима. Главное, пусть никто не вмешивается в мои дела. Всё!

— Всё?

— Да, всё!

Фатали-шах снова внимательно зыркнул на преподавателя медресе:

— Знаешь, у меня хорошая память!

— И у меня тоже, — ответил Мирза Мухаммед, и в этот момент евнух Абдул Рахман, стоящий поодаль, еле удержался, чтоб не приблизиться и, потянув за подол, не сказать грубияну: «Эй ты, чурбан, сын чурбана, что себе позволяешь в присутствии самого шахиншаха?»

В ту ночь Фатали-шах спал очень беспокойно, то дремал, то просыпался, и в этом состоянии, между сном и бодрствованием, перед его глазами стояло лицо — кожа да кости — Мирзы Мухаммеда и его голубые глаза. Ещё с ранней юности Фатали-шах — тогда он еще звался Баба-ханом — пролил столько крови, по его повелению было казнено столько людей, вздёрнуто на виселице, но никогда он не переживал подобного, как в эту ночь, смятения.

Он совершенно не верил, что Мирза Мухаммед посредством магии, колдовства, заговора сможет покончить с Наместником Цициановым, и у него возникло такое чувство, будто, призвав к себе это-

го тщедушного, никчемного человечка, он совершил нечто непотребное, погрузился в какие-то нечистоты.

Тот факт, что он заказал этому голубоглазому существу смерть Наместника Цицианова, унижал его в собственных глазах. И, желая преодолеть это чувство стыда, он подумал, что через сорок дней, сказав: «Вот и всё!» — несмотря на все отговорки и оправдания этого преподавателя медресе, осмелившегося плутовать в присутствии самого шаха, прикажет вздёрнуть его на виселице, чтоб это было уроком невежественному люду, да чтобы и скопец тоже не позволял себе нести подобную ересь.

Дело не в том, что он заказал убийство Наместника Цицианова, а в том, что Священный Коран повелел: «Нельзя несправедливо казнить людей, чью казнь Всевышний сочтет за грех, будь то мусульманин или иноверец»<sup>1</sup>.

За Наместником Цициановым числилось столько грехов, что снести его голову никак не могло считаться грехом, но то, что правитель такого большого государства, самодержец такой страны — Фатали-шах прибег к помощи какого-то колдуна, проходимца, опустился до его уровня, конечно же никак не красит его.

После беспокойной ночи занялось новое утро, повседневные заботы и хлопоты государства увели в непроглядную недостижимую даль то чувство огорчения и стыда. Фатали-шах отправил евнуха к Аббасу Мирзе — никто, кроме него, не доложил бы обстоятельно о положении на том берегу Аракса, а тщедушный человечек вспомнился ему только раз, когда местные соглядатаи сообщили, что Мирза Мухаммед Акбари-Азербайджани занимается в Рее в мечети Шах-Абдул-Азима богослужением, часто удаляется в какую-нибудь келью, отрывает головы восковых фигур и из страха перед шахом никто не смеет прогнать его из мечети.

Теперь прошло не сорок, а тридцать с чем-то дней, и к нему, к Фатали-шаху, везут не самого Наместника, а его голову.

Фатали-шах встал, вышел из спальни. Увидев его, охранники вытянулись, ожидая указаний.

Иногда, особенно в последнее время, Фатали-шах мог внезапно, посреди ночи явиться из спальни, чтобы проверить бдительность охраны, но в этот раз он не вернулся к себе и, не дожидаясь утра, отправил гонцов в Рей, чтобы нашли Мирзу Мухаммеда Акбари-Азербайджани в мечети Шах-Абдул-Азима и привезли к нему.

Когда этого тщедушного голубоглазого человека снова ввели в тронный зал, от внимания Фатали-шаха не ускользнуло, что внезапный ночной вызов обескуражил Мирзу Мухаммеда Акбари-Азербайджани, тот явно был в смятении. И подобная обескураженность, смятение никак не увязывались с его уверенностью и заносчивостью во время первой их встречи.

— Ну, говори, я слушаю! — сказал Фатали-шах.

Мирза Мухаммед уже не скрывал своей растерянности:

— Ведь ещё не миновало сорока дней... — сказал он взволнованно. — Я же говорил, что результат будет через сорок дней. Прошло всего тридцать четыре дня.

Этот человек и знать не знал о судьбе Наместника Цицианова! Он и ведать не ведал, что Голову уже везут в Тегеран.

Фатали-шах помолчал и, не зная, как расценить это молчание, Мирза Мухаммед с явным страхом в голосе произнёс:

— Ещё рано!.. Я не закончил свою работу...

Фатали-шах встал с трона, сказав: «Можешь идти!..» — и покинул тронный зал.

Шах повелел не трогать Мирзу Мухаммеда, только выдворить из страны. Рассказывали, что он устроился в Самарканде и прославился там как крупный маг и чародей.

А в Тегеране люди меж собой судачили, что, опасаясь магических чар Мирзы Мухаммеда, Фатали-шах навсегда удалил его из Ирана.

\* \* \*

*Заснеженные сибирские поля окутала вьюга...*

*Ветер поднимал с земли снежную россыпь, бил в лицо вытянутых в вереницу, словно утиная стая, закованных в кандалы, одетых в тряпье узников, сопровождаемых конными конвоирами.*

*Один из узников, чьи длинные космы слились с бородой, а брови и ресницы тоже заснежены, на минуту придержав шаг, подняв голову, голосом, напоминающим волчий вой, крикнул: «Я — Аттила», и эхо его крика в том, видимом, измерении слилось с завыванием вьюги.*

*И в тот же миг подскакавший конвоир огрел его кнутом по спине: «Пошёл!.. Пошёл!..»*

*И ЕГО память тотчас конечно же узнала того узника: тринадцатилетний племянник Гусейнкули-хана, стоя в стороне, наблюдал за учёбой солдат на плацу Бакинского гарнизона, и начальник гарнизона генерал-майор Цицианов читал в глазах внимательного юнца интерес и откровенную ненависть, но, не желая обижать Гусейнкули-хана, не стал прогонять его любимого племянника — Махмуд-бека...*

<sup>1</sup> Имеется в виду 151 стих суры Корана: «Не приближайтесь к явным или скрытым худым делам. Не допускайте смерть существа, которую Аллах сочтет грехом (не казните невинно мусульман или иноверцев)».

*Закованный в кандалы Махмуд-бек снова придержал шаг, подняв голову к небу, тем же голосом, напоминающим волчий вой, крикнул: «Я — Божий бич!»<sup>1</sup> — и эхо того крика слилось с порывом вьюги заснеженных сибирских полей.*

*Едущий впереди, явно начальник конвоя, обернувшись к конвоиру, что был ближе других к Махмуд-беку, крикнул: «Заткни глотку этому безумцу!.. Слышишь?! Заткни ему рот!..»*

*На сей раз конвоир огрел Махмуд-бека по спине уже дважды: «Хватит!.. Сказано тебе — не вой!» — а в третий сзади ударил Махмуд-бека по темени...*

## 25

Баяты, что распевали на празднествах, свадьбах в Тегеране ашуги:

Живы в древних городах  
Дух Шеки, Ширвана-шах.  
Тегеран, да будь он раем,  
Краше рая Карабах.  
(Перевод Аллы Ахундовой)

Это было любимое баяты живущих в городе азербайджанцев, не только их, но и не очень хорошо владеющих азербайджанским персов, армян, курдов — словом, всех жителей Тегерана. Удивительно, почему это немудрёное баяты столь широко распространилось в Тегеране? Может, тоска в нём объяснялась не только тоской по родине, а жадой спокойствия, безопасности, уверенности в это непростое время, но, конечно, и тем, что его автором была Агабегим — старшая жена Фатали-шаха, которую жители Тегерана называли «Госпожой сестрой», и это баяты она пропела как стон, крик души.

События последних лет — возникший после убийства Надир-шаха хаос, жестокая борьба за власть в период правления Зендов — всё это осталось в прошлом: Ага Мухаммед Каджар уверенно взял власть в свои руки, наконец-то в государстве установилось относительное спокойствие и относительная безопасность. Но спокойствие и безопасность, после долгих лет гибельных потерь, нужды и страданий, не даровали жителям Тегерана любви и милосердия. У Ага Мухаммед-шаха не было супруги, в детстве он был оскроплен Зендами, у Фатали-шаха имелся гарем, а жители Тегерана обрели любовь, сострадание и милосердие в лице дочери Ибрагим

Халил-хана — Агабегим, когда, сосватанная Фатали-шахом, она прибыла из Карабаха.

Когда Ага Мухаммед-шах Каджар был убит в Шуше, вернувшийся в свою столицу Ибрагим Халил-хан со всеми почестями и приличествующими траурными церемониями отправил его останки в Тегеран.

Фатали-шах остался доволен этим поступком Ибрагим Халил-хана — карабахцы могли проявить неуважение, даже осквернить память его родного дяди — желая подтвердить прощение, он отправил в Шушу людей, сватаясь к Агабегим, о которой был много наслышан. И Ибрагим Халил-хан был вынужден отправить любимую дочь в чужие края, в Тегеран — во дворец, гнездо интриг и раздоров: что делать, следовало защитить, обезопасить Шушу и в целом Карабах от Каджаров. Тем, что останки Ага Мухаммед-шаха со всеми высокими почестями были отправлены в Тегеран, вопрос не был закрыт. И, понимая, в какой ситуации находится отец, Агабегим, всей душой привязанная к Карабаху, не смогла отклонить это сватовство.

Среди тегеранцев ходили слухи — кто знает, правда это или нет? — что Агабегим была влюблена в Мухаммед-бека, сына её дяди по отцу Мехрали-бека. И эти толки о несчастной любви внесли в отношения «сестры» с тегеранцами особую задушевность. Даже у женщин, втайне, меж собой судачивших об этой неразделенной любви, а в Тегеране и стены имеют уши, и эти пересуды могли дойти и до дворца — влажнели глаза, и они еле удерживали себя, чтобы не заплакать... Эта несчастная любовь «сестры» уже превратилась в устах тегеранцев в прекрасную и трогательную легенду.

Агабегим была опорой и надеждой простых тегеранцев, особенно женщин. Каждая, у которой в семье имелся больной, убогий, кто страдал от голода, у кого пропал сын, брошен в темницу муж, чаще обращались с прошениями к ней, нежели к шаху. Она стремилась оказывать посильную помощь всем и часто добивалась своего — шах высоко ценил её не только за красоту, но и за ум, образованность, сдержанность, рассудительность — ей удавалось отменить чей-то приговор, кому-то помочь деньгами из казны, освободиться из плена, быть помилованным; какой-то счастливчик благодаря ей избегал неминуемой казни.

Тегеранцы слышали, что ещё девушкой в Шуше, когда её отец, осерчав на что-то, в ярости приказал сбросить провинившегося со скалы Хазне в каменистую пропасть, она упростила его, спасла бедолагу от неминуемой гибели.

Она была ученицей покойного визиря Ибрагим Халил-хана — известного поэта и политика Моллы Панаха Вагифа, знавшего наизусть все до единой су-

<sup>1</sup> В Европе турецкого полководца и правителя Аттилу, создавшего в V веке нашей эры гигантскую империю от Волги до Рейна, называли «Божьим бичом».



ры Священного Корана, пишущего стихи не только на азербайджанском, но и на фарси.

Агабегим, изучив в совершенстве арабский, французский, русский языки, переписывалась с супругой Наполеона Жозефиной и Елизаветой — супругой императора России Александра. Её Величество Елизавета в одном из посланий Агабегим писала: «Моя уважаемая госпожа, Ваша одарённость — путеводная звезда судьбы шаха».

Все принцы Каджаров, да и отпрыски азербайджанских ханов, знали, что деспотичный Наместник Цицианов ни за что не хотел отпускать попавшего в плен на том берегу Аракса к русским Гасан-хана — брата Эриванского хана Мухаммеда, и только после того, как Агабегим обратилась с письмом к Елизавете, Гасан-хан был освобождён.

И о другом случае передавали из уст в уста. В Тегеране был арестован и брошен в застенки некий ботаник Андре де Форш, прибывший из Парижа. Он собирал в степях и на холмах различные цветы и растения. Его заподозрили в шпионаже, и он ожидал своей казни, но к Агабегим обратилась, по слухам, известная во Франции мадам де Сталь, она подтвердила письмом, что Андре де Форш на самом деле является известным в Европе учёным-ботаником, просила не пожалеть усилий для его освобождения. Французский посол Франсуа де Лафонжен — его родной брат Жерар де Лафонжен работал в посольстве Франции в России и был своим человеком во дворце Александра — во время встреч с шахом несколько раз покорнейше просил освободить ботаника, даже передал специальное письмо министра иностранных дел Франции, князя Талейрана. Но Фатали-шах, несколько не доверявший послу, зная, под какими личинами могут скрываться шпионы, больше года держал учёного в заточении, и этот несчастный француз — являлся ли он шпионом или нет — был освобождён после просьбы мадам де Сталь к старшей жене шаха. Выйдя из темницы, боясь открыть глаза от слепящего света, до самого отъезда в Париж учёный, плача, повторял:

— Je vous remercie beaucoup votre majeste, Agabeyim Aga!.. Je vous remercie beaucoup votre majeste, Agabeyim Aga!..

Je vous remercie beaucoup votre majeste, Agabeyim Aga!..<sup>1</sup>

С Андре де Форшом связана ещё одна занятная история: придя к Агабегим перед отъездом попрощаться, он сказал, что очарован её стихами, хотел бы издать их в Париже и будет предельно благодарен, если она передаст ему небольшую их подборку.

— Господин де Форш, — сказала Агабегим, — насколько я знаю, ваш народ любит петь, танцевать, смеяться. Не верю, чтоб мои стихи им понравились, в них они не найдут ничего оптимистичного.

— Ваше величество, осмелюсь сказать, что наш народ любит не только оптимистические стихи. Он умеет ценить истинную поэзию, и я абсолютно уверен, что ваши стихи найдут дорогу к сердцу французского читателя.

Агабегим сама сделала подстрочный перевод выбранных ею стихов, вручила ботанику и через пять-шесть месяцев получила новое письмо от мадам де Сталь, где, поблагодарив её за усилия по освобождению Андре де Форша, писательница добавила: «Ваше величество, я посылаю Вам только что напечатанные стихи Андре де Форша. Он писал эти стихи, будучи в заточении в Тегеране. Я несколько не сомневаюсь, что Вы почувствуете тонкую печаль, мастерски воспроизведённую в этих прекрасных стихах, высоко оцените их поэтичность. Прочтя в печати эти стихи, я сразу же решила послать их Вам, чтобы Вы знали, что способствовали освобождению не только большого учёного-естествоиспытателя, но и выдающегося поэта. За это я выражаю Вам свою глубокую благодарность и признательность».

Прочтя стихи Андре де Форша, Агабегим увидела, что это те же самые стихотворения, переданные ею французскому учёному, он только зарифмовал подстрочки. Агабегим не стала никому, и в первую очередь Фатали-шаху, говорить об этом, но и отвечать мадам де Сталь тоже не сочла нужным.

Во время переговоров с европейскими политиками и военными, желая многое хранить в тайне даже от дворцовых толмачей — время такое, что никому до конца верить нельзя, — Фатали-шах часто привлекал в качестве переводчицы свою жену Агабегим. Её манеры, поведение, чёткое знание иностранного языка, произношение, как правило, сбивали скрытую или явную спесь европейских посланников...

...И через пять месяцев после смерти Цицианова в один из летних дней по Тегерану разнеслась страшная весть: русские солдаты Шушинского гарнизона поздней ночью по приказу своего начальника внезапно ворвались в летнюю резиденцию отца Агабегим — Ибрагим Халил-хана, расстреляли, перебили саблями хана, его жену, сестёр и братьев Агабегим — 6, 8, 10, 12-ти лет, других близких родственников, дворцовую челядь<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Я весьма и весьма благодарю вас, Ваше величество, госпожа Агабегим» (фр.).

<sup>2</sup> 21 июля 1906 года начальник Шушинского гарнизона майор Дмитрий Тихонович Лисаневич с отрядом в 200 солдат, окружив летнюю резиденцию Карабахского хана Ибрагим Халила, удостоенного императором Александром I звания генерал-лейтенанта, в ханском саду в 4-х километрах от Шуши предал смерти хана, его жену, детей и слуг — всего 21-го человека.

Эта жуткая весть всколыхнула весь город. Люди — мужчины и женщины — группами бросились к ханскому дворцу, выражая сочувствие горю Агабегим. В этом многолюдье было столько траура, печали, сочувствия, что даже охранявшие дворец сарбазы не решились разогнать толпу. С того дня Агабегим проводила почти все время в небольшой келье склепа святого Касума в Тегеране.

Среди жителей Тегерана бытовала версия, что русские солдаты пришли в ужас от содеянного ими и позже, плача, говорили, что дьявол, околдовав Лисаневича, запер его в подвальном помещении гарнизона, а солдаты, выполняя волю дьявола, принявшего облик майора, растерзали Ибрагим Халил-хана, его жену и детей.

...После того как Гурд Керим привез и сдал Голову, которую умело покрыл воском врач Сулахеддин Сальяни, по приказу Фатали-шаха её хранили во дворце, и умеющий тоже всё просчитывать, тонкий политик Фатали-шах думал: кто знает, всякое может случиться, и наверняка придёт время, когда надо будет возвращать Голову императору Александру.

Голова тайно хранилась в одной из дальних комнат дворца, вход туда был запрещён, только лишь вернувшийся с другого берега Аракса евнух Абдул Рахман имел право посещать эту комнату, чтобы проверить, не попортилась ли Голова.

И в одну из ночей Агабегим наконец смогла увидеть Голову.

Несмотря на то, что в анфиладах дворца горели свечи, евнух Абдул Рахман двигался впереди, держа в руке подсвечник с горящей свечой, за ним Агабегим и ещё, чуть отставая, двое слуг... Приблизились к потайной комнате, и скопец сообщил сарбазам, стоящим по обе стороны от двери:

— Есть разрешение Его величества.

Сарбазы поначалу в замешательстве переглянулись, но, видимо, властный вид Агабегим, да и авторитет евнуха во дворце сделали своё дело — сарбазы расступились, и скопец, вытащив из кармана расшитого блёстками халата ключ, отворил дверь. Хотел было шагнуть в комнату, но Агабегим знаком остановила его, взяла подсвечник из рук скопца, не говоря ни слова, передала его одному из слуг, кивнула головой в сторону двери.

Слуга, войдя в комнату, поставил подсвечник на маленький столик у двери, вернулся назад.

— Я желаю остаться одна, — сказала Агабегим и захлопнула дверь перед носом Абдул Рахмана.

Агабегим скинула на плечи чадру.

Золотые пуговицы её кумачового платья сверкали при свете одинокой свечи.

Голова покоилась на серебряном подносе на круглом столе посреди комнаты. На неё был накинут шёлковый платок.

Шагнув вперёд, Агабегим сняла платок.

Голова глядела на Агабегим правым, расширенным от ужаса глазом, и левым, в муке прищуренным.

При свете свечи глаза блестели стеклянным.

Агабегим, стоя напротив, какое-то время молча глядела на Голову, затем вдруг опустилась на колени и со страстью, вырвавшейся из глубины души, подняв вверх руки, громким, мученическим голосом, так, что натянулись жилы её нежной шеи, взмолилась, нацелив палец в сторону Головы:

— О Всемогущий! Он — ни при чём!.. Он только исполнитель!.. Отомсти за Шушинскую бойню его государю! Слышишь меня?! всю свою жизнь, день и ночь буду молить Тебя, чтобы на глазах друг друга российский император был расстрелян вместе со своими детьми и женой!.. — Агабегим повысила голос — в нём больше повеления, нежели просьбы, мольбы: — И Ты это сделаешь! Ты слышишь меня?! Ты это сделаешь!

Голова, сверкая стеклянными при свете свечи глазами, глядела на Агабегим, словно желая что-то тоже вымолвить. Важное и не менее мучительное.

Агабегим поднялась с колен, взяла подсвечник и стремительно вышла из комнаты.

Покрытая воском, невысказавшаяся Голова осталась в одиночестве в этой тёмной, потайной комнате дворца Фатали-шаха.

Злодеяние, кем бы оно ни было содеяно, никогда не приносит ни удовлетворения, ни тем более счастья, ни одной из сторон — даже через века...

\* \* \*

*...В раннюю, прекрасную пору весны нежный, хрупкий, желтогрудый соловей, подлетев к раскидистому тутовому дереву, чьи тонкие, зелёные листья только-только стали прорасти, огласил своей прекрасной трелью то, видимое, измерение.*

*Впервые за всё это время видимое пространство не принесло Его бесплотной и невесомой субстанции какую-то отчужденность или некое внутреннее несоответствие. От страстных трелей того жёлтогрудого соловья по всей округе стали разливаться волны, на раскидистых ветвях тутового дерева зазмеяла пьянящая, полная радости аура. Молодые побеги, листья явно вдохновлялись этими чистыми волнами, они окатывали молодые листья — радостью.*

*А он ясно видел, чувствовал эту радость побегов, листьев тутового дерева. Чуть ниже ветви, на которой переливался желтогрудый соловей, висел еле выделявшийся на фоне листьев сжатый посередине белый кокон и, казалось, под воздействием прекрасных волн, исходящих от желтогрудого соловья, начинал понемногу шевелиться и этот только что зачатый, шелковистый кокон.*

*Нежный хрупкий соловей внезапно перестал петь и устремил глазенки на грушевидный кокон.*

*На стенке кокона — похоже, от этого взгляда — образовалась небольшая дырочка, и вылетевшая оттуда бабочка раскрыла крылья.*

*Красные, кофейные, оранжевые, голубые узоры на её крыльях, казалось, тоже излучали радость, и бабочка своими яркими узорами улыбалась видимому измерению, в котором она только-только открыла глаза.*

*Та бабочка, чье существо тоже излучало радость, решила впервые вспорхнуть, взлететь в том видимом измерении. Но в тот же миг соловей стремительно сорвался с ветки, клюнул и — проглотил её.*

*И тут же видимое измерение стало стремительно удаляться, удалось и исчезло. И ОН только позже осознал, что удаляется вовсе не измерение. Это ЕГО самого затягивает неведомая сила. То, видимое, изме-*

*рение не смогло Его удержать, у измерения не хватило сил, и ОН полетел...*

## 26

27 ноября 1811 года на основании распоряжения, полученного из Санкт-Петербурга новым верховным главнокомандующим, генерал-адъютантом маркизом Паулуччи, скорбные останки Павла Цицианова были забраны из каменистого пустыря перед Двойными крепостными воротами, перевезены в Тифлис и торжественно погребены в церкви Священного Сиона, рядом с могилой генерала Лазарева.

Останки не имели головы.

И дальнейшая судьба ГОЛОВЫ неизвестна.

*1 октября 2014 — 12 августа 2015.*

*Перевод А. Мустафа-заде*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Е. Г. Вейденбаум

Путеводитель по Кавказу, составленный по поручению командующего войсками Округа генерал-адъютанта князя Дондукова-Корсакова<sup>1</sup>

### (ФРАГМЕНТЫ КНИГИ)

Кавказ знаком русским с давних времен. Известия о сношениях с ним, мирных и враждебных, находим на первых страницах нашей начальной летописи. Под 965 г. Нестор отметил поход великого князя Святослава Игоревича против хазаров, ясов и касогов. Историки полагают, что последствием этого похода было подчинение русской власти страны Тмутаракани на берегах Черного и Азовского морей. При распределении Владимиром Святославичем уделов между его сыновьями Тмутараканское княжество досталось Мстиславу... С начала 12 сто-

летия Тмутаракань перестала принадлежать Руси и имя ее не встречается более на страницах нашей истории.

Мусульманские писатели сохранили нам много известий о грабительских набегах руссов на побережья Каспия и Закавказье в девятом и десятом столетиях... Нападения на богатые прикаспийские области повторялись неоднократно и во все последующие века. Из них наиболее известен набег, совершенный в 1668 г. Стенькою Разиным на южные побережья Каспийского моря.

Со времени монгольского нашествия знакомство Руси с Кавказом должно было существенно расширяться, так как русские люди часто посещали Орду, кочевавшую в зимние месяцы в теплых долинах Предкавказья. В летописных сказаниях, относящих-

<sup>1</sup> Первый литературный опыт систематического обозрения Кавказского края, составленный известным российским этнографом Евгением Густавовичем ВЕЙДЕНБАУМОМ (1846—1918): Тифлис, 1888.

ся к этой эпохе, встречаются первые, более или менее точные, географические сведения о различных местностях Северного Кавказа.

...Не одни только враждебные сношения имела древняя Русь с прикавказскими странами. Летописи упоминают и о браках между русскими князьями и кавказскими князьями... Нет никакого сомнения в том, что и торговые русские люди издавна посещали прикавказские страны и даже имели постоянное пребывание в некоторых чужеземных городах, расположенных на большой дороге, ведущей из Европы в Азию чрез Каспийское море... В 1470 г. тверской купец Афанасий Никитин проехал по Волге в Астрахань, а оттуда чрез Дербент и Баку пробрался на Малабарский берег в Индии.

Подчинив себе Казань и Астрахань, Россия пришла в непосредственное соприкосновение с Кавказским краем. С этих пор начинаются постоянные, то мирные, то враждебные, сношения московских царей с этим краем. Персия, Турция и Крым стремились утвердить свое господство на Кавказском перешейке. Необходимость обороны против этих могущественных в то время держав побуждала и Москву привлекать местное население в сферу своего влияния...

...Со времени Петра Великого ни одна почти война наша с Персией и Турцией не оканчивалась без присоединения к России какой-либо части Кавказского перешейка.

К концу 17 столетия край этот, вследствие смут в Персии, находился в состоянии полной анархии. Мелкие владельцы восточной половины Закавказья воспользовались этим случаем для удовлетворения своих хищных наклонностей. В 1712 г. Сурхай-хан кази-кумухский, отложившись от Персии, возмущил Дагестан и Ширван и взял Шемаху, в которой было побито и ограблено более трехсот русских купцов, основавшихся там для торговли шёлком.

Петр Первый, заботившийся так много об установлении торговых сношений с Востоком чрез Каспийское море, не мог смотреть равнодушно на такой поступок с русскими подданными. Он потребовал удовлетворения от шаха персидского, но Гуссейн сам находился в стесненном положении от афганцев и не мог ничего сделать для обуздания бунтовщиков. Оставалось наказать их русским оружием. Немедленно по заключении шведского мира Петр принял в 1722 г. из Астрахани поход для восстановления порядка на кавказском побережье... По прибытии в Дербент Петр приступил к распоряжениям о дальнейшем походе мимо Баку к устью Куры для заложения там торгового города.

...Для обеспечения за нами занятого края, на всем протяжении от Терека до Дербента были возведены полевые укрепления, а в Тарке и Дербенте поставле-

ны русские гарнизоны. На левом берегу Сулака, в расстоянии 29 верст от устья, Государь лично заложил крепость Святого Креста.

Персидский поход, впрочем, этим не кончился. Петр повелел занять прибрежные провинции Персии к югу от Дербента. В ноябре 1722 г. полковник Шипов с двумя батальонами вошел на судах в Энзелийский залив и занял город Решт под предлогом защиты его от афганцев. В следующем году генерал-майор Матюшкин взял с боя город Баку. В это же время турки завладели персидскими областями от Эривани до Тавриза и заняли Карталинию и Кахетию до границ Шемахинского ханства.

Утесненная Персия просила мира. Прибывший в Петербург посол Измаил-бек, трактатом от 12 сентября 1723 г., уступил России в вечное подданство города Баку и Дербент с их землями и провинции Гилян, Мазандеран и Астрабад. Петр, со своей стороны, обязался послать в Персию войско для восстановления внутреннего порядка.

Трактат этот, впрочем, не был ратификован шахом... Тем не менее весь занятый край остался за Россией, а трактатом от 12 июня 1724 г. русское и турецкое правительства взаимно признали сделанные ими приобретения на Кавказе и в Персии.

Но Россия не долго пользовалась благоприятно сложившимися для нее обстоятельствами. Великие предположения великого государя не нашли сочувствия в правительстве императрицы Анны Иоанновны. Обладание берегами Каспия, составлявшее заветную мечту Петра, было признано невыгодным для нас, так как содержание их стоило более, чем они давали доходов... Границей России со стороны Дагестана была признана река Сулак, а потому крепость Святого Креста брошена и обитатели ее переведены в крепость Кизляр, воздвигнутую в 1735 г. на левом берегу Терека.

...С воцарением Екатерины Второй наступила новая эпоха в нашей восточной политике... Кучук-Кайнарджийским мирным трактатом от 10 июля 1774 г. окончилась первая Турецкая война. Благоприятные для нас последствия нового положения вещей не замедлили обнаружиться. Правительство Екатерины вполне оценило выгоды такого положения дел и сумело искусно им воспользоваться для упрочения и распространения русского владычества на Кавказском перешейке.

...Вторая Турецкая война 1787–1791 гг. не дала здесь России никаких земельных приращений. Военные действия со стороны Кавказа ограничились походами против чеченцев, кабардинцев и закубанцев, поднятых против нас религиозной проповедью имама Шейха-Мансура и подстрекательством турок. Ясский мир, заключенный 29 декабря 1791 г., только подтвердил права России на Крым, Тамань, правый

берег Кубани и Кабарду. В 1792 г. в низовьях Кубани было учреждено Черноморское казачье войско.

В 1795 г. персидский Ага-Магомед-хан вторгся в Грузию и разорил до основания город Тифлис. Для наказания хищника и предупреждения занятия им прикаспийских провинций был предпринят в 1796 г. персидский поход под предводительством генерал-поручика графа Валериана Зубова. В апреле месяце действующий корпус выступил из Кизляра, 10 мая занял Дербент после краткой осады, а в ноябре был уже на берегу Куры ниже Джевада. Все ханы и владельцы восточного Закавказья спешили изъявить свою покорность главнокомандующему. Цель похода была, казалось, достигнута. Граф Зубов собирался заложить на Куре город Екатериносерб и приступить к укреплению Баку, но внезапная смерть Екатерины не дала осуществиться этим предположениям. Император Павел повелел немедленно прекратить все военные действия и возвратить войска на Кавказскую линию.

...Присоединение к России грузинского царства, состоявшееся по манифесту императора Александра Первого от 12 сентября 1801 г., и введение в Грузию русского управления изменили коренным образом наше положение на Кавказском перешейке. Став твердою ногою на южном склоне Кавказского хребта, Россия получила возможность с большими удобствами и уверенностью действовать против Турции и Персии, не перестававших вмешиваться в дела Закавказья. Весь край состоял в эпоху присоединения Грузии из множества отдельных владений... Чеченцы и вольные общества Дагестана не признавали над собою никакой иноземной власти и управлялись родовыми или выборными старшинами. Грузия, разоренная горцами и персиянами, служила поприщем для интриг многочисленных членов царского дома...

При таких обстоятельствах последовало 9 сентября 1802 г. назначения генерал-лейтенанта князя Павла Дмитриевича Цицианова главнокомандующим в Грузии. Задача, предстоявшая ему, была в высшей степени трудною и сложною: надлежало восстановить в крае гражданский порядок и одновременно с тем вести непрестанную борьбу с врагами внешними и внутренними.

Князь Цицианов, отличавшийся личной храбростью, твердостью, благоразумием и проницательностью, блистательно выполнил эту задачу в короткий период своего управления краем. Его образ действий послужил на долгое время образцом для последующих начальников в Грузии.

Военные силы наши в крае были в то время весьма незначительны: для всех оборонительных и наступательных действий князь Цицианов имел в своем распоряжении восемь полков пехоты, один кавалерийский регулярный и один донской казачий пол-

ки и 24 орудия. Первые удары были направлены против беспокойных ханств Закавказья, служивших главным очагом неурядиц и смут. Подчинение их должно было отдать в наши руки Каспийское море и обеспечить сообщение с Кизляром и Волгою, откуда закавказские войска могли с большими удобствами и верностью получать свое снабжение, чем по трудной дороге через Главный хребет.

Третьего января 1804 г. взята штурмом Ганжа и переименована в Елисаветполь в честь императрицы Елизаветы Алексеевны. Ганжинское ханство уничтожено и присоединено к Грузии под названием Елисаветпольского округа. В 1804 г. приведены к покорности и обложены данью джарские лезгины. Трактатом от 21 апреля 1804 г. имеретинский царь Соломон вступил в вечное подданство России. За год пред тем принята в подданство и Мингрелия.

...Название Баку производят от персидского слова бадкубе = удар ветра. Баку упоминается впервые под этим именем у арабских историков и географов, но можно думать, что город существовал и в доисламскую эпоху, так как выходы горючего газа на поверхность земли, наблюдаемые всюду в окрестностях города, не могли не привлечь на себя внимания сассанидских властителей, восстановивших в Персии поклонение огню.

В 1723 г. генерал-майор Матюшкин, прибыв с эскадрою, взял Баку после 4-дневной бомбардировки. Русские коменданты управляли городом до 1735 г. В персидский поход графа Зубова в 1796 г. бакинский хан присягнул России, но продолжал сноситься с Персией и грабить русских купцов. Вероломные действия Гуссейн-Кули-хана заставили князя Цицианова потребовать от него покорности и сдачи города. Появление самого Цицианова с отрядом под стенами Баку побудило хана исполнить все предъявленные ему требования: он объявил, что сдается на волю главнокомандующего.

Сдача города была назначена на 8 февраля 1806 г. Гуссейн-Кули-хан выехал из крепости с небольшою свитою, приблизился к князю Цицианову, передал ему ключи города и пригласил присесть на разложенный ковер. В то время, когда хан, по персидскому обычаю, передавал главнокомандующему трубку кальяна, некто Ибрагим-бек, приближенный хана, по заранее сделанному условию, выстрелил в затылок князю. Вслед за тем с крепостных стен был открыт огонь по нашему отряду, который в замешательстве отступил, не выручив тела своего главнокомандующего.

Тело князя было зарыто близ крепостных ворот. Отрезанную голову его бакинский хан отправил в Тавриз, где изменническое убийство грозного русского военачальника вызвало общую радость: при-

**Генеральный****директор**

Олег Болдырев

**Главный бухгалтер**

Людмила Дьячкова

**Художественный****редактор**

Татьяна Погудина

**Цветоделение****и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

**Заведующая****распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 12,0.

Заказ № 3274-2017

**Адрес редакции:**

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

**Телефоны****редакции:**

8(499) 261-84-61

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

**Факс:**

8(499) 261-49-29

**E-mail:**

roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Сайт:**

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

везший голову получил от наследника персидского престола Аббас-Мирзы звание хана, а в Тавризе была устроена иллюминация.

Осенью 1806 г. отряд генерала Булгакова двинулся из Дербента в Баку для наказания Гуссейн-Кули-хана. Узнав об этом, хан бежал. Город сдался без выстрела 3 октября 1806 г. Бакинское ханство было уничтожено. На месте убийства князя Цицианова был поставлен памятник.

...На правом берегу Куры, в Сионском соборе, величайшем из тифлиских храмов, посвященном Успению Божией Матери, погребен прах князя Павла Дмитриевича Цицианова (1754—1806), умерщвленного изменнически, по приказанию владетельного бакинского хана Гуссейн-Кули, при сдаче крепости Баку.

В декабре 1811 г., по повелению Императора, главнокомандующий в Грузии маркиз Паулуччи перенес в Сионский собор и сокрыл под монументом, как сказано было в надписи, «тленные останки генерала, коего слава переживет прах его».

**Нам пишут****«Ваш, без малейшей иронии, нелегкий труд оценят максимально объективно...»**

Завоевание какой-либо заметной премии (в данном случае речь о совместной литературной премии «Роман-газеты» и «Справедливой России») — событие, как ни крути, из числа некаждодневных. Наверное, стоит рассказать о нем хотя бы в двух словах. Или в двух абзацах. Или, если совсем кратко не выходит, в двух парах абзацев.

Начать я хотел бы с отсылки к эпизоду, произошедшему во время встречи Н. С. Хрущева с советской творческой интеллигенцией. Тогда Андрей Вознесенский начал было фразу «Как и мой любимый поэт, мой учитель, Владимир Маяковский, я — не член Коммунистической партии. Но и как...» — желая, разумеется, продолжить в том духе, что, как и Маяковский, полностью разделяет, поддерживает, не представляет жизни, и т.д. и т.п. Однако Хрущев мгновенно перебил собеседника, заявив, что никакого предмета для гордости здесь нет, и далее начал длинный бурный уничижительный монолог. Вознесенский лишь через некоторое время с трудом втиснул-таки в хрущевские словесные излияния окончание своей мысли. Ни на что это уже, конечно, не повлияло.

Письменный формат передачи информации подразумевает, что оратора так просто не перебеешь, да и аудитория сей заметки, надеюсь, чужда излишней хрущевской экзальтированности. Поэтому, сообщая: в «Справедливой России» я никогда не состоял и никакого отношения к ней не имел. При этом по итогам нескольких избирательных кампаний 2011–2015 годов отдавал голос ей и ее кандидатам. Во многом, что скрывать, из принципа наименьшего из зол (я вообще, несмотря на все большее обесмысливание партийно-политической жизни в РФ, крайне щепетильно подхожу к пометкам в бюллетенях, исходя из того, что на старости лет внуки спросят меня, за кого и почему я голосовал на выборах... (такого-то) года, и я смогу ответить, почему партия или кандидат, получившие мой голос, были, на мой взгляд, в конкретный момент времени достойны симпатии). Но и одобрение многих программных принципов, и уважение к целому ряду представляющих партию персон тоже имели место быть.

Аналогично я мог бы сказать, что никогда не имел отношения к «Роман-газете», а также к членам жюри премии, принимавшего решение о лауреатах и победителях. И все-таки не скажу, хотя сугубо формально это чистая правда. Да только какой читающий и думающий русский человек никогда не держал в руках «Роман-газету»? И — не знает таких имен, как Лев Аннинский, Владислав Артемов, Александр Казинцев, Юрий Козлов, Виктор Пронин? Так что знакомство все же было, пусть до дня вручения премии и одностороннее.

Сказанное имеет мотивом подбодрить соискателей следующих лет (кстати, прием заявок на премию 2017/2018, как я понимаю, уже начался): смелее, дорогие ровесники и единомышленники! Ваш, без малейшей иронии, нелегкий труд оценят максимально объективно, без скидок на лица, без поблажек, но и без придирок. Золотой принцип социализма (кстати, официальной идеологии СР) «от каждого по его способностям, каждому по его труду» здесь реализован целиком и полностью.

А отдельный стимул попасть в число награжденных и отмеченных — сама церемония награждения. Редко какое мероприятие такого уровня и с такими гостями проходит в аналогично теплой, почти домашней атмосфере. Опять же, прекрасное сопровождение — великолепные певцы и танцоры, гениальный пианист, доставивший колоссальное удовольствие молодой военной хор. Отдельно отмечу радость быть рядом с Еленой Драпеко, явно присутствовавшей не только из-за статуса депутата от СР, но и по зову души, и Владимиром Конкиным. Вчера ты проезжаешь с другом в вагоне метро Сокольники и вспоминаешь фразу из бессмертного фильма «В Сокольники он рвется, гад, там есть где спрятаться», а сегодня поседевший, но лишь прибавивший в боевом задоре Володя Шарапов дружески обнимает тебя и говорит паразитично теплые слова. И Лиза Бричкина тут же. Замечательные эмоции.

Спасибо, «Справедливая Россия» и «Роман-газета»! Ну, и — до новых встреч!

Станислав СМАГИН, публицист,

лауреат премии «В поисках правды и справедливости» 2016. Ростовская область

Начало см. на 2 стр. обложки.

Михаил ПЕТРОВ

(1938–2015)

### Вотчина или Отечество (отрывок)

«...Появились у нас шоу-монастыри, задуманные, вероятно, маяками нового российского православного капитализма специально для паломников среднего класса. Отделанные гастарбайтерами из Средней Азии по всем канонам туристического бизнеса, с первоклассными туалетами и купальнями для паломников, новоделом-кладбищем и даже бильярдной для неверующих благодетелей на случай, если те пожелают сгонять партейку-другую с водителем, пока монахи творят молитву в их здравие. На архимандрите ряса чуть ли не от Юдашкина, клобук обтянут чёрным шёлком, модные туфли. Как-то не вяжется всё это с уставами православных монастырей, с преданиями о том, что настоятели спали в келье в гробах, монахи носили на теле власяницы. А Серафим Саровский даже на иконе изображён в валенках и стареньком зипунишке, что не помешало ему стать святым Русской православной церкви... Кстати сказать, ни у помещиков, ни у князей, ни тем паче у крестьян усадьбы заборами не обносились, сельские батюшки так те вообще жили в крестьянских избах, архитектурой усадеб никогда не выделялись...»

Анатолий БОГАТЫХ

(1956–2015)

\* \* \*

Меня в бессоннице настиг  
один случайный миг видений:  
созвучен мне чужой язык,  
близки чужих преданий тени.

И — нелюбимое дитя  
в изгнание дальнем и сладимом,  
земле оставленной не мстя,  
живёшь не пасынком, но сыном.  
И забываешь сушь и зной,  
и муку зим, и снег степной.

...И понял я,—  
под чуждым небом  
нам не найти чернее хлеба  
и горше горького вина —  
неволи, выпитой до дна,  
познав свободу неземную,  
а на земле и воли нет.

Лишь на Руси единой свет.

Светлана МАКСИМОВА

### ПРЕОБРАЖЕНИЕ — АВГУСТ 2014

Другу поэту, который ушёл на войну  
в степи, где я выростала  
пацанкой упрямой,  
верю ли я? А кому ещё верить? Кому?!  
Как пережить невозможную эту вину —  
то, что я здесь, ну а мама моя...  
Ну, а мама...

...В праздник пресветлый Фаворского  
света звоню  
старенькой маме, чтоб голос  
хотя бы услышать.  
«Преображение нынче», —  
я ей говорю.  
Слышу в ответ — рёв снарядов  
над крышей.

Татьяна ШЕХАНОВА

\* \* \*

...Как прокисшими щами —  
По перстам, по челу:  
«Вы пошто обнищали?  
Так бедны почему?!»  
Кипятком — по ланитам,  
Да кнутом — по очам:  
«Что ж — повадно вам, битым,  
Вышивать по ночам?  
Ишь, такие-сякие!  
Петь вам!.. Хрясь-перехрясь!»  
Непоклончивы выи  
Об камень — да в грязь.  
Только крестик наперсный  
Прилепился к щеке

Да заветная песня  
Доплеснулась к реке.  
Замутились струи,  
Потемнела волна,  
В небо вынесла струги,  
Горяча и вольна.  
А со стругов-то — песня  
Всё про златно шитьё,  
Медный крестик наперсный,  
Золотое житьё...

Луиш Вай де КАМОЕНШ

\* \* \*

Когда я утомлён и мне невмоготу  
Дневной тревоги длить мучительное  
бденье,  
Ночные сны тогда ко мне приводят ту,  
Что наяву казалась сновиденьем.

В полях нагих, где обмирает взгляд,  
Я к ней спешу, но жадная пустыня  
Её уносит вдаль, не отдаёт назад,  
Свои пространства мёртвые раскинув.

— Не убегай, возлюбленная тень!  
Ответом мне, невинен и спокоен,  
В глазах отказ. Молить я не устану,

Но зов прервёт неумолимый день  
И скажет мне, что я не удостоен  
И грёз пустых минутного обмана.

(Перевод Нина ГЕРРА)

Геннадий КАЛАШНИКОВ

### Из сатирического цикла «Бродячий самурай»

Видела всё наперёд  
Бабка родная моя.  
Ох, и лупила меня!  
Бросила дева меня.  
Любо теперь ей с другим.  
Брошу и я выпивать.  
Пью ли на шумном пиру,  
Дрыхну ли ночь напролёт —  
Меч — мой кормилец — не спит.  
Бродишь, бывало, в горах  
В компании верных друзей,  
Страшно — не хватит сакэ.  
Солнечных пятен узор  
На одинокой тропе,  
Как иероглиф — живи.  
Думал — кота заведу,  
Женщину выбрал себе,  
Когти — что там, что здесь.  
Часто — не раз и не два  
Смерти смотрел я в глаза.  
И не запомнил их цвет.





